



И. А. Любич-Кошуров  
В МАНЬЧЖУРСКИХ СТЕПЯХ  
И ДЕБРЯХ

ЛИЧНАЯ БИБЛИОТЕКА ПРИКЛЮЧЕНИЙ



# ЛИЧНАЯ БИБЛИОТЕКА ПРИКЛЮЧЕНИЙ



ПРИКЛЮЧЕНИЯ • ПУТЕШЕСТВИЯ •  
ФАНТАСТИКА

XXII

Leo  
2017

И.А. Любич-Кошуров

# В МАНЬЧЖУРСКИХ СТЕПЯХ И ДЕБРЯХ

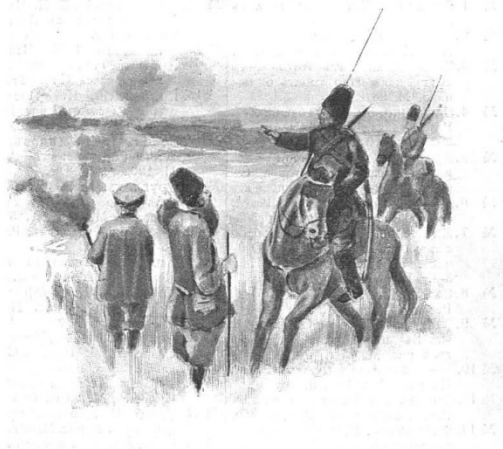
Приключенческая повесть и военные  
рассказы



**В Маньчжурских степях  
и  
дебрях**



# Въ маньчжурскихъ степяхъ и дебряхъ.



## I.

Петька Чужих прислонил свой карабин к дереву, приложил руки ко рту рупором и крикнул громко, что было силы:

— Гоп-гоп!

И через секунду опять:

— Гоп-гоп!

Потом опустил руки вдоль тела и прислушался.

Кругом было тихо.

Только гудели комары. Где-то далеко стучал дятел.

Ровный однообразный шум шел над лесом в верхушках деревьев.

Гоп-гоп! ... Гоп-гоп!

Но в ответ только этот однообразный шум деревьев.

Дятел перестал стучать, потом застучал ближе резко, громко.

Ствол дерева, где стоял Петька, скрипел чуть слышно, и когда Петька прислонился к нему спиной, он почувствовал, будто дерево дышит, тоже тихо, почти незаметно, в такт своему скрипению.

Опять он крикнул:

— Гоп-гоп!

„Рип-рип“, рипит дерево... Шумят вверху листья...

Дятел, кажется, застучал еще громче, еще чаще, с дробными переборами словно вдруг рассердился...

Зеленым морем стелется кругом заросль между деревьями...

Кустарники стоят неподвижно... Сюда не доходить ветер.

Тут тишина... Мягкий, зеленый сумрак окутывает гущу кустов.

Только кое-где солнечный свет золотится на ветках и листьях.

Тихо...

И вдруг в кустарниках что-то хрупнуло глухо и слабо...

А Петька в это мгновение, с напряженным вниманием насторожив слух и затаив дыхание, ждал ответного голоса на свой голос...

И ему уже казалось даже, будто он слышит где-то далеко-далеко какие-то голоса сквозь шум листьев, такие же смутные, неопределенные, как шум листьев, немолчный, монотонный, у него над головой.

Голоса словно летели к нему с этим шумом и в этом шуме...

Летели и не могли долететь, потому что ветер разносил их с собою по всему лесу, всюду вокруг над всем необъятным зеленым простором.

И они замирали в листьях, и вспыхивали опять, и опять замирали.

Звук, раздавшийся в кустах, откликнулся в сознании у Петьки неясно и смутно... Но через мгновение точно электрическая искра пробежала у него по телу и ударила в мозг.

Что это? ... Откуда это тот звук?

Весь он замер.

Листья над головой перестали шуметь, стук дятла оборвался сразу...

Петька вспомнил о диких зверях, с которыми приходится иногда встречаться охотнику в этих местах.

Может-быть, это тигр крадется...

Он схватил карабин.

Руки у него дрожали... Во рту стало холодно. Холодок пробегал и по зубам и охватывал сердце.

Карабин у Петьки был малокалиберный, но под сильный патрон Винчестера.

Обыкновенно Петька стрелял свинцовой пулей...

На всякий случай, однако, он брал с собой три, четыре патрона с пулей в мельхиоровой полуоболочке.

Такой пулей можно было убить быка. Она действовала как разрывная.

Патроны с пулей в полуоболочке он держал, чтобы не спутаться, когда они понадобятся, отдельно от других патронов в кармане своих шаровар.

Не сводя остановившихся, широко открытых глаз с чащи кустарников, он отвел затвор карабина книзу и переменял патрон.

Потом закрыл затвор и вскинул карабин к плечу.

Только один раз коротко мигнули его веки, и сейчас же глаза опять широко открылись и словно застыли, как стеклянные, глядя поверх ствола все в одну точку, в чащу кустарников.

На лбу выступили капли пота, и во рту опять стало холодно... Потом во рту и в горле сразу пересохло словно изнутри пыхнуло жаром.

Что это? ... Откуда это тот звук?

Весь он замер.

Листья над головой перестали шуметь, стук дятла оборвался сразу...

Петька вспомнил о диких зверях, с которыми приходится иногда встречаться охотнику в этих местах.

Может-быть, это тигр крадется...

Он схватил карабин.

Руки у него дрожали... Во рту стало холодно. Холодок пробежал и по зубам и охватывал сердце.

Карабин у Петьки был малокалиберный, но под сильный патрон Винчестера.

Обыкновенно Петька стрелял свинцовой пулей...

На всякий случай, однако, он брал с собой три, четыре патрона с пулей в мельхиоровой полуоболочке.

Такой пулей можно было убить быка. Она действовала как разрывная.

Патроны с пулей в полуоболочке он держал, чтобы не спутаться, когда они понадобятся, отдельно от других

патронов в кармане своих шаровар.

Не сводя остановившихся, широко открытых глаз с чащи кустарников, он отвел затвор карабина книзу и переменял патрон.

Потом закрыл затвор и вскинул карабин к плечу.

Только один раз коротко мигнули его веки, и сейчас же глаза опять широко открылись и словно застыли, как стеклянные, глядя поверх ствола все в одну точку, в чащу кустарников.

На лбу выступили капли пота, и во рту опять стало холодно... Потом во рту и в горле сразу пересохло словно изнутри пыхнуло жаром.

Что, если тигр?

Будь у него штуцер, он успел бы при первом промахе или неловком выстреле пустить в зверя вторую пулю из другого ствола.

Но у него только одна пуля.

В случае неудачи ему все равно не успеть перезарядить карабина.

Тогда он погиб.

Эти мысли промелькнули мгновенно в его мозгу, как одна мысль словно все мысли о штуцере, о тигре, о промахе слились в одну мысль.

И его страх перед страшным зверем вдруг словно сгорел в этих мыслях... Или ушел куда-то далеко... Опустился глубоко-глубоко...

Но душа стала спокойна...

Точно была буря в душе, и потом наступило затишье.

Он держал под цевьем карабина в левой руке запасной боевой патрон. Но он не помнил, как и когда очутился у него в руке этот другой патрон.

Он только сейчас ощутил его на ладони.

У него всегда была такая привычка—стрелять по дичи с запасным патроном в левой руке, чтобы, в случае промаха, быстро перезарядить карабин.

И ему, правда, удавалось иногда догонять вторым выстрелом дикую козу или волка.

Конечно, тигр—не волк.

Тигр от него не побежит...

Но он выпрямился, прислонился к дереву и стал ждать.

Его брови были сдвинуты.

Коротенькая морщинка легла на лбу между бровями вверх от переносицы.

И вдруг он почувствовал, как кто-то схватил его сзади за руку около локтя крепко и больно.

Душа словно застыла... Мурашки побежали от шеи по затылку.

Он хотел крикнуть, хотел повернуться, но голос, этот готовый сорваться с губ крик ужаса, будто потух в гортани.

Глаза открылись широко, широко. Он чувствовал, как уходят его силы.

В ногах под коленями пробежала дрожь, и ноги подгибались сами собой.

## II.

—Бросай ружье! ...

Чьи-то сильные, твердые, как деревянные, пальцы забегали у него по руке от локтя вверх к плечу, нащупывая то тот, то другой мускул...

И вдруг остановились.

Крепкие ногти надавили больно на какую-то жилу под мышкой...

— Бросай! ...

Правая рука, державшая карабин около шейки приклада, разжалась у него сама собой.

Он чуть не вскрикнул от боли.

Карабин кувыркнулся в левой руке прикладом книзу и ударился с легким бряканьем задком о землю...

Какой-то человек, невысокого роста, сутулый, бородатый, в кожаной черной куртке выскочил из-за спины и схватил



карабин.

Должно-быть, карабин его интересовал больше, чем Петька...



Он отошел с карабином в сторону и стал рассматривать его, поворачивая то так, то этак, с очень озабоченным видом,

сосредоточенно хмуря брови и шевеля усами.

Потом вскинул глаза на Петьку и сказал:

—Эге, молодчик! ...

И, скосив глаза сейчас же в сторону, в глубину леса, мотнул головой и присвистнул:

— Фю-фю-фю.

Затем повернул карабин боком, поднял его немного и склонился над ним совсем низко, почти касаясь ствола усами...

Внимание его, очевидно, привлекла теперь прицельная планка...

Лицо у него снова стало сосредоточенное.

Брови сдвинулись, кожа на широком, красном, почти кирпичного цвета лбу собралась в морщины, глаза сощурились...

Он еще ниже наклонил голову и, держа карабин в левой руке, поставил большой палец правой ногой на прицел сбоку, возле второй зарубки...

Потом передвинул палец до четвертой зарубки...

Еще глубже, еще резче стали морщины на его лбу, брови сошлись совсем.

Вдруг он поднял голову и остановил глаза на Петьке.

—Пять и ноль—это сколько? —спросил он.

Голос у него был хриплый и грубый.

—Петька уже успел немного придти в себя.

—Как? —спросил он, в свою очередь.

Он не совсем хорошо понял, о чем его спрашивают.

—Пять и ноль... я говорю, пять и ноль...

И человек в кожаной куртке покрутил указательным пальцем над затвором карабина.

—Ну? ...

Затем нахмурился и добавил, мигнув веками:

— Тут отчеканено.

—А, — сказал Петька, догадавшись, наконец, в чем дело, —это пятьсот...

Человек в кожаной куртке снова поднес карабин к глазам

и через секунду снова глянул на Петьку из-под густых черных бровей.

— Пятьсот?

— Пятьсот... Только вы, дяденька, зачем? ... Вы мне ее отдайте, винтовку.

Человек в куртке опустил карабин к ноге и сейчас же, едва карабин коснулся о землю углом приклада, отстранил его от себя и потом оглянул его сверху вниз от конца ствола до приклада.

— Хе, — сказал он, — винтовка. Какая это винтовка?

Снова он бросил короткий взгляд по карабину и снова остановил глаза на Петьке.

— Так на пятьсот?

Человек в кожаной куртке, очевидно, не был злой человек...

Правда, он говорил насмешливо и несколько пренебрежительно, но Петька видел, что в душе он ничего не имеет ни против него, ни против его винтовки.

Может-быть, он только не доверял цифрам, выставленным на прицеле винтовки.

— Отдайте дяденька... .

Петька протянул к нему руку.

— Чего? ...

Человек в кожаной куртке шевельнул бровями... Чуть-чуть обозначились на разгладившемся теперь лбу лёгкие морщинки.

— Я говорю, зачем она вам...

Петька все держал руку протянутой...

— Да на! ...

И человек в куртке двинул было винтовкой в сторону Петьки... Сейчас же, однако, он задержал винтовку...

Даже немного нагнул ее к себе...

— Заряжена!

— Заряжена... и курок поднять.

— Можно стрелять?

—Можно, —сказал Петька хмуро и опустил руку.

Человек в куртке оглянулся кругом, поднял потом карабин к плечу и прицелился в молоденькую березку, толщиной вершка в полтора...

Он потянул за спуск, потом отпустил спуск, потянул опять и опять отпустил.

Небольшой вороненый курок сзади затвора оставался неподвижен...

— Что же это? —сказал человек в куртке, повернув лицо в Петькину сторону, и потом потрогал спуск...—Ви! ... не действует.

—Она с отказом, —проговорил Петька по-прежнему хмуро.

Он все более переставал бояться человека в куртке.

—Как с отказом? ...

— Сперва спуск идет слабо, как на ниточке, а потом, как упрется, тут и спускай...

На лице человека в куртке изобразилось недоумение.

Несколько секунд он смотрел на Петьку молча, потом произнес, вздернув брови:

—Ф-э...

И выставил между зубами кончик языка.

Потом крякнул и сказал:

—Теперь чую...

Вскинул карабин, прицелился и выстрелил. Березка вздрогнула и медленно с легким треском повалилась в кусты, как подрезанная.

Петька даже сам не ожидал такого эффекта.

До сих пор ему еще не приходилось стрелять из своего карабина разрывными пулями...

Громко, почти с отчаянием он крикнул:

— Отдайте, дяденька! ...

Но человек в куртке взял карабин под мышку и пошёл прочь, не особенно торопясь и не взглянув больше ни разу на Петьку, будто он никогда его и не видел, будто Петьки тут и

не было.

Он шел и говорил, качая головой:

— Ну-ну...

Казалось, это он не у Петьки отобрал винтовку, а купил ее в магазине, попробовал и теперь несет домой чтобы повесить на гвоздик у себя над кроватью.

### III.

—Дяденька! ...

Человек в куртке шел впереди Петьки также неторопливо, не оборачиваясь, и продолжал рассуждать сам с собою:

—О-о.... Да... Это точно... Это можно сказать...

И качал головою.

Вдруг он остановился.

Взглянув через плечо на Петьку, он спросил:

—Ты чей?

—Чужих, —ответил Петька...

Человек в куртке пошел дальше.

Сделав несколько шагов, он опять остановился.

—Так Чужих?

—Чужих.

—Гм... А откуда?

Петька назвал свою станицу.

—Гм, —опять сказал человек в куртке.

Петька видел, как он крепче прижал карабин под мышкой.

—Дяденька! ...

Даже слезы навернулись на глазах у Петьки. Не отрываясь, он смотрел на рубчатый изящный задок своего карабина...

—А дяденька!

—Ну?

—Отдайте.

Человек в куртке повернулся к нему совсем.

—Значит... значит, —заговорил он и вдруг широко открыл глаза и уставился, не мигая на Петьку...

Глаза у него были большие, серые... Теперь глаза выкатились; зрачки точно сжались с боков и вытянулись немного кверху поперек белков...

Он снова вздернул брови.

—Далеко ж ты, молодчик!

И он присвистнул...

—Дяденька, — снова начал было Петька, но голос у него пресекался... Испуганно, быстро он поднял глаза и остановил их на человеке в куртке...

—Как далеко? ...

Говорил он с запинкой точно заикаясь.

Человек в куртке сдвинул брови и пристально посмотрел в глаза Петьке.

—А ты не врешь?

—Чего вру?

Человек в куртке подумал немного.

—А ты где ночевал?

—В лесу...

Значит, ночи три ночевал? ...

— Четыре...

Голос у Петьки был все такой же пресекающийся. Также испуганно глядели его глаза...

—Теперь шабашь! —сказал человек в куртке. — Не выйти тебе отсюда до второго пришествия.

Он помолчал немного и заговорил опять:

—Заблудился... да... понимаю... Я сам так раз заблудился вроде тебя...

Он все двигал бровями... Усы у него тоже шевелились. Морщины на лбу то разглаживались, то собирались снова.

—Охотник?

И он крикнул и пристально поглядел в глаза Петьке.

— Охотник, —ответил и Петька.

Человек в куртке опять крикнул.

—На охоту ушел?

—Да.



—За козой?

—За козой.

—А ружье потихоньку стащил?

—Потихоньку.

Человек в куртке мотнул головой.

—Знаю... все знаю...

Снова он двинул бровями.

—У отца стащил?

—Нет, у дяди.

—Ну, а я у отца... Гм...

И закрутив ус вокруг он оттянул его в сторону, потом книзу...

И сейчас же вслед за усом наклонилась, и его голова будто он притянул ее за ус.

—Гм... да... Что ж ты теперь будешь делать?

Он вскинул глаза на Петьку.

—А?

И закрутил другой ус.

—Не знаю, —сказал Петька.

Человек в куртке глядел на него исподлобья, немного искоса. Распустив и расправив ус, он закрутил его опять вокруг пальца...

—Чего?

—Не знаю, —повторил Петька, —вы говорите, далеко?

—Не далеко, а опять заблудишься... Верст около ста.

—Сто верст! —воскликнул Петька.

Человек в куртке повернулся к нему спиной.

—Пойдем ко мне.

— Дяденька! ...

—Сказано, пойдем....

И человек в куртке шагнул в кусты.

— А винтовка!..

И Петька увидел опять, как человек в куртке поплотней прижал его карабин под мышкой.

Немного погодя, человек в куртке сказал:

—Хорошая штучка...

—Вы меня проводите домой? — спросил Петька.

— Провожу — ответил человек в куртке, шагая по кустам.

Петька шел за ним. Ветки хлестали ему в лицо, сухие корявые сучья задевали за платье. Но он не замечал этого.

„Унесет, —думал он, —ой, унесет и бросит! “

Человек в куртке несомненно не был разбойником.

Но кто он был?

Петька понимал только одно: человеку в куртке понравилась его винтовка и он кажется намеревался завладеть ею.

Что тогда будет делать Петька?

И потом, куда его ведет человек в куртке?

Он говорит: „пойдем ко мне» ... Стало-быть, он тут живет где-нибудь недалеко... А кругом лес, тайга...

Петька вспомнил про нож, который он всегда держал за голенищем.

Но он не вынул ножа.

Он чувствовал себя совсем беспомощным... Отчаяние опять охватило его... Слезы навертывались на глаза...

Ему хотелось бросить человека в куртке, убежать от него. Но он продолжал идти за ним, глотая слезы и плохо видя за слезами, куда он идет...

А человек в куртке все бормотал что-то про себя глухо и невнятно, плевался и кричал. И все шел, шел. Все дальше, дальше, перепрыгивая через пни, через повалившиеся деревья, через колдобины и рытвины.

#### IV.

—Ну, вот и дома!..

Человек в куртке остановился и оглянулся на Петьку.

—Я тут живу... да... Тут у меня землянка... Петька напрасно искал землянку. Как и раньше, кругом него было непроходимая чаща кустарников.

Человек в куртке раздвинул ветки густого орешника и

шагнул вперед.

Согнувшись потом и все продолжая придерживать руками ветки орешника, он крикнул:

— Сигай сюды!

Затем выпустил ветки и спрыгнул куда-то вниз.

Петька слышал, как глухо стукнули его сапоги... Он тоже нагнулся, развел ветки и увидел прямо перед собою высокий бугор, сплошь заросший диким виноградом.

Аршина полтора кверху бугра чернело четырёхугольное отверстие, очевидно, вход в землянку.

Чтобы земля не обваливалась, в эту узенькую мрачную дыру была вставлена деревянная рама, сколоченная из толстых деревянных брусьев оструганных довольно чисто.

Дверь отворялась внутрь...

— Сигай, сигай! — крикнул опять человек в куртке, показываясь в полумраке входа по грудь. Затем он схватился руками за порог и высунулся немного из своей берлоги.

— Эй, молодчик!..

И закивал Петьке головою.

Губы его расплылись в улыбку.

— Сигай, не бойся!..

Внутри бугра раздалось глухое урчанье...

Человек в куртке скосил глаза и крикнул грубо:

— Ну, ты! Эй!..

И застучал внизу ногой...

Затем он опять обратился к Петьке:

— Иди, говорят тебе...

— А это у вас что там?

Подняв над головой руки, Петька держался за ветки и чуть-чуть колыхал ими.

На человека в куртке он смотрел недоверчиво и мялся на месте.

— Медведь, — сказал человек в куртке, — только он ручной и совсем в роде как собака.

А как бросится?..



— Не бросится...

Что-то темное, косматое появилось рядом с человеком в куртке... Рядом с его руками на порог легли две лапы... Лапы заскребли по порогу. Послышалось кряхтенье...

Петька видел, как толстые когти вцепились в край

порога...

— Пошел на место! — крикнул человек в куртке. — Ну! говорят тебе...

Когти разжались, лапы сползли с порога...

— Пошел, пошел! ...

Петька шагнул вперед и остановился.

— А у вас там темно?

— Чего темно! У меня окно...

— И он не тронет?

— Сказал, не тронет!.. Он меня боится.

Петька, наконец, решился...

— Ладно, — сказал он, — пустите.

И совсем близко подошёл к порогу.

— Пустите. Прямо сейчас вниз?

— Прямо вниз; тут три порожка.

Продолжая держаться руками за порог, человек в куртке откинулся назад... Сразу он пропал в темноте... Только руки его белели на пороге.

Потом он разжал пальцы и гулко стукнул, спрыгнув вниз.

Петька стал спускаться по порожкам. Один, другой; внизу смутно видит третий...

А дальше—тьма...

Пахнет землей, сырой овчиной, дымом...

— погоди, — слышится голос человека в куртке, — я открою окошко...

Что-то скрипит в глубине землянки.

— О, чорт! — опять доносится снизу его грубый голос. Слышно, как он дергает за веревку: веревка глухо звучит отрывистым, гудящим звуком.

— О, чтоб тебя!..

Опять гудит веревка, еще резче. .

Человек в куртке кричит снизу:

— Забухло, чтоб его!

И вдруг блеснул свет...

Землянка осветилась сразу...

Прежде всего Петька увидел хозяина землянки. Он стоял посреди землянки с головой, поднятой кверху, держа в левой руке веревку, спускавшуюся с потолка.

Сейчас же он бросил веревку и повернулся к Петьке.

— Теперь видно?

— Видно...

Петька глянул кругом и потом вниз. Ступеньки обрывались сразу, круто... От последней ступеньки до полу было около аршина.

— Ну, прыгай!

Петька спрыгнул...

Что-то завозилось в глубине землянки в углу около сложенной из сырцового кирпича маленькой в роде кухонной плиты печки.

Там было темно...

Только стенка печки едва заметно белела с одного края.

И вдруг по краю печки неясно проползла какая-то тень, и затем в освещенном пространстве показалась большая голова с острыми ушами и короткой острой мордой...

Человек в куртке сделал свирепые глаза и крикнул, круто повернувшись к печке:

— Васька!.. Ну!

И топнул ногою...

Голова скрылась.

— Это он? — спросил Петька.

— Он...

И, подняв руку, человек в куртке погрозил указательным пальцем в угол около печки.

— Я т-тебя, каналья!..

— Молодой он?

— Три года...

Человек в куртке подошел к выходу из землянки и запер дверь, подперев ее толстым дубовым колом.



## V.

—Дяденька!

— Ну? .

—А вы кто будете?..

—Охотник, —ответил хозяин землянки и спросил в свою очередь: —ведь ты охотник?

— Охотник...

—Ну, и я охотник. Тебя как звать?

—Петром.

—Ну, а меня Семеном...

— Вы тут так постоянно и живете?..

—Гм, — сказал хозяин землянки.

—Бывает и уходите?

—Все бывает...

—А домой вы меня проводите?

— Сказал, провожу...

Петька повел глазами на карабин... Карабин теперь уже висел в головах над сколоченными из досок козлами, застланными вместо матраца козьими шкурами.

— Дяденька... Дядя Семен... А ее как же?..

И Петька кивнул головою на карабин.

—Кого ее?..

Глаза у хозяина землянки вдруг словно наполнились мраком.

Голос зазвучал хрипло и отрывисто.

— А винтовку... Дяденька...

Семен крикнул, опустил глаза, помолчал немного и, потом опять подняв глаза, проговорил:

—Уморился, небось?

—Чего?

Петька все смотрел на карабин.

—Уморился, говорю, небось!

— А что?

Спать бы ложился...

И, подойдя к койке Семен присел перед ней на корточки. Неожиданно вдруг он повернулся к Петьке лицо и произнес вопросительно:

— А?..

— Я ничего, —сказал Петька.

— А мне показалось, будто говоришь. Спать хочешь?

Он сунул руку под койку и пошарил там, бормоча что-то; потом выдернул из-под койки связку козьих шкур.

Опять он повернул к Петьке лицо.

—На...

И еще немного подпихнул рукой связку по направлению к Петьке.

—Это тебе постель.

Потом повел головой в бок, в угол возле двери.

—Там стелись...

И через секунду добавил:

— Я тоже лягу.

Петька взял шкурки и стал их развязывать.

Семен поднялся с пола, занес руки за голову, за затылок и, переплетя на затылке пальцы, потянулся всем телом.

— О Господи, Господи!..

Затем хрустнул пальцами.

Петька развязал шкурки и разостлал их на полу. Одну шкурку он положил в голова.

—А есть не хочешь?

Петька отрицательно качнул головой.

—Нет, не хочу.

—А то у меня есть фазан.

—Не хочу, —сказал опять Петька.

—Ну, как хочешь...

Семен подошел к печке.

— Васька! — крикнул он, отступил на шаг и хлопнул ладонью по коленке.

Потом свистнул

Порядочной величины медведь поднялся тяжело и

медленно и подошел к нему.

Семен потрепал его по голове, взял затем за загривок и подтолкнул легонько другой рукой сзади.

Пошел на сторожку.

Переваливаясь и ступая ровным, размеренным шагом, медведь приблизился к двери, постоял здесь немного, опустив голову, и потом опустился на пол сразу всем телом.

Он протянул перед собой передняя лапы и положил на них голову.

От Петьки он был всего на расстоянии шага.

Покосившись на Петьку, он сейчас же перевел глаза на дверь.

Петька смотрел на него молча, не смея шелохнуться.

Он видел, как медведь закрыл глаза.

— Дяденька! ...

В голосе у Петьки слышались слезы... Прямо в глаза он уставился Семену.

— Боишься? ...

— Да ведь, дяденька, зверь...

— А еще охотник! ...

— Да ведь как же без ничего...

— Не тронет, сказано...

И, нахмутив брови, Семен проговорил протяжно, повернувшись к медведю:

— Ва-а-сьсс-ка...

И погрозился медведю пальцем.

Вторую половину слова он произнес с каким-то присвистом и особенно энергично тряс при этом пальцем перед самым своим носом.

— Чтoб у меня смирно, — закончил он, — слышишь?

Медведь опять покосился на Петьку.

— Не буду я с ним спать! — крикнул Петька и отошел в сторону.

Семен опустил голову, склонив ее немного к плечу, и дернул себя за ус.

— Чего? ...

— Не буду, — повторил Петька.

Его уже начинала раздражать злость против этого человека, распорядившегося с ним, как с своей вещью.

—Мудруйте над вашим медведем, — сказал он, — а меня не трогайте.

Семен пристально глядел на него и молчал.

Наконец, он заговорил:

—Если ляжешь с Васькой, то я тебе подарю винтовку...

Да... подарю винтовку...

И с последним словом, он вскинул голову и подбоченился.

—Ну?

—А какую? —спросил Петька.

—Какую! Известно какую... Вот эту.

Он указал на Петькин карабин.

— Ей Богу?..

Лицо у Петьки просветлело.

Семен мотнул головой.

— Сказал, значить так...

Петька закусил нижнюю губу... На лбу собрались морщинки.

Минуту он молчал, потом проговорил отрывисто:

—Ладно!

И сейчас же лег на свою постель.

## VI.

В землянке раздавалось только храпенье Семена.

Он лежал навзничь, заложив руки под голову, вытянувшись во всю длину койки и растопырив ноги.

Рот был полуоткрыт.

Краешки белых широких зубов виднелись из-под верхней губы.

Петька видел, как раздуваются тихо его широкие ноздри, заросшие короткими черными волосками.

Всю землянку наполняло его храпенье и сопенье.

Спать Петька не мог...

Он уже успел освоиться немного со своим положением. Он чувствовал себя не совсем спокойно в соседстве с медведем, но медведь, пока что, лежал смирно...

Должно-быть, он задремал. Глаза были закрыты, голова свесилась с лап на сторону к полу. Из-под носа от дыхания то и дело летели какие-то шерстинки, пыль...

Дыхание было ровное и тихое.

Иногда, когда Петька закрывал глаза, ему казалось, будто около него дышит человек...

Но Петька все равно не мог уснуть.

Что с ним будет дальше?

Вот он сейчас лежит рядом с медведем, а против него на койке растянулся этот охотник. Над ним высокий бугор, шумит тайга... А до дома далеко... Верст сто, может-быть, больше...

Семен обещает его проводит до дома.

А как он врет?

Разве можно верить таким людям...

Он вспомнил о беглых, скрывающихся в таежных дебрях...

Вот он лежит...

Руки раскинул, запрокинул голову... Хранить... И ничего не боится, потому что чего ему бояться, когда медведь у него вместо собаки?

Может-быть, у него и тигр где-нибудь привязан на цепи, либо барс, либо рысь.

Свиснет—и будь здоров...

Потуда и видели...

А главное—для чего он отобрал винтовку? Ведь у него—своя...

Да еще говорит: „подарю“.

Опять в нем закипела злоба... Храпенье Семена его раздражало... Несколько раз ему хотелось крикнуть Семену что-нибудь обидное, выругать его... Ненавистно ему было и

то, что Семен лежит так спокойно, и самая поза, которую принял Семен, была ненавистна...

Как растянулся...

Голые ступни ног выставились кверху... От мозолей на пятах—твердая желтая корка, точно к пяткам прилип воск.

На полу стоят его сапоги, большие на сборках. Грязные портянки висят на сапогах...

Спит себе все равно как на печке в деревне.

Небось, и сон какой-нибудь видит... Небось хороший сон...

Иш, зачавкал губами...

Ох, Господи, Господи!..

Медведь вдруг завозился, открыл глаза, поднял голову и потянул носом...

Петька приподнялся на локте.

Что он, чует что-нибудь?..

Он поглядел на медведя... Ноздри у медведя так и ходят—точно их ветром раздувает изнутри... Шерсть на загривке поднялась...

Вот он привстал на передняя лапы...

Потом как-то боком поднялся совсем, на все четыре ноги.

Точно что-то заклокотало в его мохнатой груди.

Вверх смотрит...

Блеснули белые зубы... Щеки около зуб сморщились над клыками... Точно судорога пробежала вдоль губ... Морщины стали резче; губы над клыками вздернулись... Два клыка выставились из-под них... Ярко покраснели десны...

И опят глухо-глухо угрожающим звуком заклокотала богатырская грудь...

В землянке внезапно потемнело... Сверху посыпалась земля...

Петька поднял голову и прямо над собой увидел в окошке большую круглую голову...

Два глаза блеснули ему сверху, как два зеленых круглых стеклышка.





Петька вскочил и бросился в противоположный угол. Он прижался в углу к стенке крепко, плотно всем телом; даже ладони прижал, широко растопылив пальцы...

И, подняв голову, он смотрел вверх, не шевелясь, не двигаясь, почти не дыша...

—Дяденька!..

Он повернул голову в сторону койки, и его взгляд упал на

висевший на стенке карабин...

Почти не помня себя, он схватил карабин, открыл затвор, выкинул стреляную гильзу, вставил новый патрон и опять задвинул затвор.

Карабин сверкнул ему в глаза своим наполированным затвором, и этот блеск словно подсказал ему, что нужно делать...

Словно электризовал его.

Он поднял карабин и прицелился...

Вон эта голова страшного зверя... Прямо между глаз стала тоненькая мушка...

Он совсем перестал дышать, повел спуск и потом нажал на него.

Гулко хлопнул выстрел.

Землянка наполнилась дымом... Дикий рев был ответом на выстрел.

Потом все стихло...

Только медведь глухо рычал и царапался в дверь.

— Васька назад! — крикнул вдруг Семен, поднимаясь с койки.

Он поглядел на Петьку и сказал:

— Подранил...

И закачал головой.

— Эх, ты...

— А разве вы не спали?

— Стало, проснулся...

— Чего же вы...

Петька не договорил... Он подумал, что, пожалуй, Семен, обидится, если он прекнет его, зачем он не стрелял, когда видел зверя.

Семен сел на койке, свесив ноги.

— А ты чего лез—загорчал он—когда тебя не спрашивали... Шкуру только вздрагнул ему на затылке.

Петька хотел было возражать, но промолчал опять.

Он сообразил в эту минуту, что стрелял по тигру не

разрывной пулей... Верно, он перепутал патроны... Густой дым продолжал еще клубиться в землянке, черный, смрадный... А патроны с разрывными пулями были у него снаряжены бездымным порохом...

## VII.

Медведь продолжал ворчать и царапать в дверь.

Несколько раз он поднимался на задние ноги и, опершись о дверь передними обнюхивал ее, водя носом по доскам.

Семен крикнул на него еще раз:

— Васька, назад!

Медведь поворотил к нему голову.

— Назад! — крикнул опять Семен и топнул босой ногой по полу.

Медведь тяжело улегся на прежнее место возле двери. Но он не спускал глаз с двери и от времени до времени с шумом втягивал через ноздри в себя воздух.

Семен стал одевать сапоги.

— Дяденька, — окликнул его Петька.

Натягивая сапоги за ушки Семен глянул на него снизу-вверх, не поднимая головы исподлобья одним глазом.

— А?

— Стало, она тут еще, тигра.

— Известно, туто...

Семен натянул сапог совсем, встал и притопнул им по полу, согнув спину и продолжая держать за ушки.

— В кустах, небось!

— Под дверью лежит.

— Под дверью?

— Теперь хоть до вечера сиди тут, не уйдет, — сказал Семен, опять сел на койку, разостлал с краю на койку портянку, поставил на нее ногу пяткой в один угол, а пальцами в другой, и стал обертывать портянку вокруг ноги. Потом сунул ногу в сапог, охватив ее левой рукой возле щиколотки.

Он опять поглядел на Петьку.

—Ты видал, когда, как кошка сторожит мышь?

Петька кивнул головой.

— Сколько раз.

— Так оно и тут. Тигра—кошка, а мы с тобой мыши... А это нора...

Он повел глазами по землянке.

—И значит, мыши забились в нору, а кошка сидит и ждет. Как чуть что, сейчас и будь здоров... К себе утащить. Чуешь?..

— Чую, —сказал Петька.

Семен встал с койки, завязал ремешки вокруг сапог и, снова повернувшись к койке, поставил ногу коленом на край койки и потянулся рукой в угол.

В углу, почти совсем скрытая козьими шкурами, служившими ему подушкой, стояла его винтовка. Виден был только конец её ствола, когда-то вороненого, но теперь от времени, потерявшего окраску и блестевшего тускло и неровно мутным серым металлическим блеском.

Он достал винтовку.

Винтовка оказалась берданкой военного образца, с длинной прямой почти по самое дуло ложей, схваченной со стволом железными кольцами, с стойкой для штыка; ложа вся тоже слиняла, лакировка сошла и весь приклад был покрыт цапинами и царапинами.

Затем Семен снял со стены широкий кожаный самодельный пояс с пришитыми к нему гнездами для патронов.

— Солдатское, —сказал Петька.

Семен метнул глазами в его сторону и ничего сначала не сказал, а потом пробормотал:

— Моя, брат, не выдаст...

Отер ствол рукавом своей куртки и, отодвинув затвор, вставил патрон.

Патрон легко вошел только до половины.

Видно, он уж не один раз служил Семену и его сильно раздуло.

Охватив берданку одной: рукой возле казённого, снизу, другой рукой Семен стал вгонять дальше патрон затвором.

Затвор защелкал, залязгал...

Экстрактор цеплялся за заплечки патрона и отскакивал опять.

Патрон туго подавался вперед.

Наконец, Семен, с силой ударив затвором в последний раз, поставил рычаг затвора на должное место.

— Готово, — сказал он; отвел ударник на предохранительный взвод и положил берданку на койку.

— И вы всегда так? — спросил Петька.

— Чего?

По лицу Семена пробежала тень... Он покосился на Петькин карабин и стал еще мрачнее.

— Чего?

— Я говорю... как же это у вас патроны? Вы их, небось, никогда не меняете?

— А чего их менять!.. Оно так лучше берет, потому что он как влипнет...

— А если мимо...

— Мимо, — сказал Семен и осклабился, — у меня не бывает мимо...

Он закачал головой.

— Ни в жизнь, ни разу не было... У меня бой мертвый. Как навел, так и готово.

— С одного разу?

Семен сделал рукою движение в сторону берданки:

— С этой-то!

И опять усмехнулся:

— Хе...

Он скривил губы при этом и посмотрел на берданку каким-то странным взглядом, будто видел ее в первый раз и в первый раз разглядел её недостатки.

Улыбка сошла с его губ медленно, будто нехотя и будто потухла в густых нависавших над губами усах.

— Оно, брат, не балует, — заговорил он, — да и не выдаст. Пуля-то во!

И он показал Петьке свой корявый толстый короткий указательный палец, приложив к нему около первого сустава большой палец.

— Не то, что твоя... У тебя что? ... У тебя шпилька.

В эту минуту медведь с быстротой, которой от него трудно было ожидать, вскочил на ноги и, сейчас же встав на дыбы, уперся передними лапами о вторую от порога ступеньку...

Близко, близко протянул он к двери свою огромную голову.

Слышно было; как что-то стучит о дверь снаружи размеренным ровным стуком.

— Это он хвостом, — шепнул Семен, и вдруг схватил Петьку за плечо...

— Стой... молчи!

Больно он надавил ему на плечо.

— Молчи! ... Стало, он видит что-нибудь... Повернулся...

В землянке стало тихо.

Петька слышал, как дышит Семен, как сопит и фыркает медведь.

Резкий, трещащий выстрел раздался вдруг за дверью и вслед за выстрелом яростный хриплый рев.

Снова хлопнул выстрел...

Рев повторился, но уже более глухо...

## VIII.

Семен опять надавил пальцами Петьке на плечо.

— Не пикни мне,

Потом он оставил Петьку, подбежал к печке, где у него вместе с ухватом стояла небольшая сосенка с обрубленными ветками и заостренным толстым концом, схватил ее и приставил к окошку.

Ветки на сосенке были обрублены не вплотную. Толстые

корявые сучки торчали во все стороны, и по ним можно было легко взобраться вверх, как по лестнице.

Проворно, как обезьяна, Семен вскарабкался по сосенке к окошку и выглянул наружу.

— Дяденька!..

Но Семен, не оборачиваясь, сделал движение рукою назад, точно отталкивал кого-то, кто был у него за спиной, и через секунду затем подняв ногу, двинул ею от себя, тоже будто спихивая кого-то со своей необыкновенной лестницы.

Спустя минуту, он осторожно спустился вниз.

— Ну?

И, мигнув бровями, он уставился на Петьку и сейчас же сдвинул брови.

Говорил он шепотом, но рот открывал широко, будто дышал на Петьку. Он вытянул шею и лицо его было совсем близко от Петьки.

— Что там? — спросил Петька.

Но Семен в это время думал, вероятно, о чём-то совсем другом, что интересовало его больше Петькиных расспросов.

Он прикрыл нижнюю часть лица провед ладонью по усам и бороде и, отвернув лицо в сторону, произнес также шепотом, пригибая бороду к шее:

— Н-да...

И повел шеей.

Затем опять повернулся к Петьке и опять нахмурился.

— Чего тебе?

Заметно было, что он сильно озабочен. Он только на одну секунду взглянул на Петьку; через мгновение глаза его скользнули мимо Петьки куда-то в сторону, в угол.

— Отзовите медведя. — шепнул Петька.

— Чего!

— Я говорю, отзовите медведя.

Семен поглядел на медведя и затем на Петьку.

— Зачем тебе? ...

Петька взял его за рукав и зашептал, заглядывая ему в

лицо и дергая его за рукав вниз, будто приглашая его этим нагнуться к нему поближе:

— Вы послушайте-ка... Слушайте, дяденька, — он опять дернул за рукав. — Видите, светится... Около скобки. Пуля-то в дверь... Ей Богу...

Он повернулся в сторону двери и тихонько хлопнул себя ладонью по коленке.

— Васька... Васька!..

И несколько раз кивнул медведю головой.

— Поди сюда... и то, — сказал Семен.

Он действительно рассмотрел теперь маленькое круглое, светленькое пятнышко как раз под дверной скобой.

— В роде твоей, — шепнул он Петьке, — маленькая...

Он подошел к медведю, взял его за шерсть около затылка и потянул к себе.

— Ну, пошел ты!.. Пошел на место!

Медведь поднялся

— Пошел, пошел!..

Семен легонько толкнул его ногой.

Медведь отошел в сторону, медленно, лениво, постоял немного, опустив голову, словно подумал и потом также медленно направился в угол к печке.

Семен стоял против двери, забрав свою бороду в горсть, и смотрел на дверь, на то место, где светлела возле скобки маленькая дырочка.

— У меня тридцать второй калибр, — шепнул Петька, — а эта меньше...

Опять он дернул Семена за рукав.

— Дяденька! Дайте поглядеть.

Семен молча отодвинулся назад.

Петька взобрался на ступеньку и прильнул к дырочке глазом.

— Да ведь, небось, ничего не видать? — сказал Семен. — Кусты ведь...

И, помедлив секунду, спросил:



—Ничего не видно?  
Петька обернулся. .  
— Ничего.  
Он сошел со ступенек.  
—Там манза, —сказал Семен, —китаец.  
И указал, подняв руку, на окно.  
— Оттуда видно... На дерево взлез. Должно, боится, как бы тигр не прибег опять.  
Петька смотрел на него, широко открыв глаза. Семен вдруг поднес руку ко лбу и ударил в лоб концами пальцев.  
—Только откуда у него такое ружье?..  
Он задумался, опустив голову.  
— Ружье модное, —сказал Петька.  
Семен бросил на него короткий взгляд.  
—То-то, что модное...  
— Может, хунхуз?..  
Семен отрицательно качнул головою и потом вскинул глаза на Петьку.  
— Зачем хунхуз пойдет в лес?..  
Он вздернул плечи.  
— Может еще откуда?..  
—То-то вот откуда... Я знаю тут всех ихних охотников...  
И, занеся руку за шею, он заскреб пальцами по затылку.  
— Дяденька...  
— А?  
— А он не сбежит?..  
— Куда там! Нет... Испугался, небось, теперь до утра не слезет...  
Опять он вздернул плечи и развел руками.  
— Главное—пуля... В жизни я не видал у них таких ружей...  
— Небось, и в оболочке, — заметил Петька, вопросительно взглянув на Семена...  
Через секунду он спросил:  
— Вы когда видели новые пули?..

И пояснил сейчас же, не дожидаясь ответа:

— Внутри свинец, а снаружи этак в роде серебра, только тверже.

Немного он покраснел. Он видел, как Семен вдруг омрачился. Конечно, откуда Семену знать о новых пулях? И, конечно, ему это неприятно, что он не знает. А откуда он может знать! Он, может, всю жизнь прожил в лесу.

— Ладно, — сказал Семен. — А ты вот что, ты лезь-ка к окошку и сиди там, сторожи... Как что заметишь, станет слезать или еще что, сейчас мне... Ну, валяй!

И он скользнул глазами снизу-вверх по лестнице-сосенке.

— Ну, живо!

Петька вскарабкался по сосенке и высунул в окно голову.

— Видишь? — шепнул снизу Семен.

— Вижу.

— Не очень высовывайся... Слышишь?

И Семен носком сапога ударил тихонько под конец сосенки.

Затем он оставил Петьку в покое.

Он опять лег на койку навзничь, заложив руки за голову, вытянувшись во всю длину койки.

Затаив дыхание, смотрел Петька из маленького прорезанного в толще бугра окошка...

По скату бугра зеленели кусты орешника и дикого винограда. В их зелени утопали темные стволы вековых кедров и дубов. Высоко по стволам взбегали плети повилики, захлестываясь цветными гирляндами, точно выброшенная из зеленого моря розовая пена...

Снизу Петьки хороши были верхушки деревьев. Тихо колыхались ветви, чуть-чуть дрожали листья.

Немолчный шум шел над лесом.

На одном из дубов довольно высоко от корня Петька рассмотрел и маленького человечка с желтым лицом в синей с золотыми пуговками кофте и синих же широких штанах.

Человек сидел верхом на толстой ветви, прислонившись

спиной к стволу дуба. Около него висело на сучке его ружье.

Ружье Петьке было плохо видно. Его почти совсем закрывали листья. Только ствол ружья в нескольких местах поблёскивал между листьями. И потому, как поблёскивал ствол в зелени листьев переливным, то синим то серебристым блеском, Петька догадался, что ружье качается...



Китаец, или как назвал его Семен манза, вероятно, повесил ружье только сейчас.

Светлыми пятнами лежали на синей: кофте солнечные блики.

Листья вверху и ветки колебались, и от того светлые пятна то расползались, то суживались опять, скользя по кофте по рукам, по желтому лицу.

Два или три раза лицо осветилось все ярко и светло, точно выставилось вдруг из зелени...

И Петька невольно в оба эти раза подался немного назад, пряча голову в углублении окошка.

Он понимал, конечно, что китаец не может его видеть и не подозревает о его присутствии, но ему даже жутко стало, когда он увидел это лицо в рамке зеленых листьев, залитое солнечным светом, и потому казавшееся совсем плоским, с плохо различаемыми чертами, точно расплывшееся в лучах солнца.

Кругом тишина...

Только шумят деревья... Неподвижно сидит китаец в зеленых листьях. Блестит его ружье сквозь листья.

Петька видит, как блестящий ствол тихо колеблется и точно тянется, точно синее пламя пробегает по нем.

Из зеленой мглы, кажется Петьке, прямо на него глядят сверху большие темные глаза... И когда Петька вглядывается в них, он только и видит их одни. На лица, ни фигуры не видит, только одни глаза... Будто это сам лес смотрит на него из зелёного своего царства.

А кругом тихо-тихо...

Вот опять светлые пятна задвигались, поползли наискось по листьям, захватили края синих рукавов, скользнули по золотым пуговицам, вспыхнули на щеке и на подбородке.

Черные глаза потухли, ушли куда-то в глубину...

Желтое, все залитое светом, выплыло лицо из зеленого сумрака листьев.

## IX.

Петька вздрогнул. Что-то знакомое почудилось ему в этом

лице.

Он по-прежнему плохо различал черты, но на одну минуту ему показалось, будто в них мелькнуло что-то, что давно затерялось в его памяти, и сейчас вспыхнуло опять и загорелось в сознании слабо и смутно...

И он весь замер и затаил дух.

Пристально смотрит он в лицо китайцу и видит, как лицо стало рябым от набежавших опять на него солнечных пятен...

Пятна движутся, скользят по лицу и точно прячут за собой лицо.

Точно занавеска из света и теней колыхнется против лица.

Что-то болезненное, мучительное, тоскливое затрепетало у него в душе.

Нет, видел он где-то раньше этого человека!

Но где?.. Когда?..

Какие-то образы родятся в душе, неясные, далекие...

Будто и в душе тоже пробегают светлые и темные пятна, ширятся, пропадают снова, снова вспыхивают...

И на сердце тоскливо-тоскливо...

Будто что-то сосет сердце...

Точно сейчас рядом с ним притаилось что-то нехорошее, страшное и неведомое... Точно что-то схоронилось внутри этого китайца и не хочет показать себя, пока не настало время...

Тогда Петька все увидит и все узнает... И он ждал этого момента с трепетом, с мукой и болью...

И вдруг словно волна подкатила ему к сердцу...

Крепко схватился он обеими руками за верхушку сосенки...

Вот оно! Вспомнил! ...

От сердца отхлынуло. Холодок пробежал по телу.

Торопливо стал он спускаться вниз.

— Ты что? — окликнул его Семен, подымаясь с койки.

— Сейчас, — прошептал Петька.

Он спрыгнул с последнего сучка на пол и подошел к

Семену...

Он не совсем хорошо различал теперь Семена...

В землянке словно потемнело.

Семен казался ему каким-то черным с темным лицом, будто и он потемнел тоже.

— Ну? — услышал он опять его голос.

— Дяденька! ... Я его знаю, этого манзу...

Голос у Петьки пресекался...

— Знаю, — повторил он.

Глаза у него широко открылись и остановились на Семене с неопределённым растерянным выражением...

— Знаю, — сказал он еще раз, не отводя глаз от Семена...

Глаза, казалось, стали у него еще больше и заблестели лихорадочным блеском. Красные пятна выступили на щеках.

— Почему знаешь?

Семен встал с койки и остановился против Петьки...

— Я видел его, — зашептал Петька, — видел, ей Богу!..

— Где видел?

— В Харбине...

Казалось, Петьке что-то мешало говорить... Словно клокотало у него что-то в груди и гасило слова, едва они срывались с губ.

— Давно? — спросил Семен.

— Весною.

— Может, он и то хунхуз?

— Не! ...

И Петька энергично несколько раз потрянул отрицательно головой.

— Гм... Не хунхуз?

Семен прямо в упор уставился ему в лицо... Брови у него зашевелились.

— Не хунхуз?

Петька открыл рот, вобрав в себя воздух, словно дышать ему было тяжело, и произнес, опять потрянув головой:

— Не... шпион...

Потом добавил:

— Японский лазутчик...

— Японец, значит?

— Японец...

— А ты откуда знаешь, что шпион!

— Как не знать... Вы, знаете, дяденька...

Петька схватил Семена за руку.

— Вы знаете... За ним следил один офицер... А он дал ему свою папироску...

Снова голос у него оборвался. Крепко надавил он пальцами на руку Семена.

— Дал покурить... Нате, говорит, хороший табак... Тот покурил и сейчас — хлоп без чувств...

На минуту он умолк, словно устал говорить... Потом так же, как перед тем, тяжело перевел дух и продолжал:

— А сам бежать... Тут ему навстречу один хохол, а он его по горлу бритвой...

Он взглянул на Семена.

— Ведь он цирюльник...

— Ну?

— Прямо бритвой... За городом, видите, говорят было... И куда потом девался, неизвестно....

Петька замолчал.

Молчал и Семен... Потом он спросил:

— А ты-то его где видел?

— С дядей... В Харбине мы были... Свиной дядя продавал и зашел бриться... Потом оказывается, этот самый. Говорят, бумаги после него нашли... Сжег бумаги, да кое-какие остались, не сгорели...

— То-то я гляжу, — заговорил Семен, — гляжу, ружье у него... опять-же с лица будто китаец, а чего-то не хватает... Будто недоделанный... Да...

Глаза у него блеснули холодным блеском.

Он вперил их в Петьку и сказал:

— Нужно его поймать...

Петьке стало как-то и жутко и весело от его взгляда и от его слов...

Сердце у него замерло совершенно так, как замирает сердце, когда катишься с высокой крутой горы, или взлетев на качелях высоко кверху, удержишься там на мгновение, чтобы со всего размаху ринуться вниз...

Хотелось зажмуриться. Но он взглянул прямо в лицо Семену, и губы его повела улыбка долгая, трепетная... Глаза загорелись...

С Семеном он ничего и никого не боялся.

Семен сказал: „надо его поймать“...

Значит, это для него пустое дело.

Лицо у Семена, когда он говорил это, стало как каменное. Ни один мускул не дрогнул...

Он поймает японца.

Он сильный, он ловкий... У него пальцы как железные клещи... Он весь как железный...

— А как поймать, — произнес Семен, захватил ус в пальцы и сунул его в рот. — Да, эта штука...

Несколько волосков завязли у него между зубами; он фукнул на них, отдув губы с одного края, разгладил потом усы, качнул головой из стороны в сторону и повторил опять:

— Н-да... штука...

Петька видел, как он покосился на его карабин...

— Вот что, слушай-ка...

И он мигнул Петьке глазами и кивнул ему головой.

— Слушай, я сейчас вылезу из землянки в окошко и подползу к нему по кустам...

Тут он взял Петьку за пуговицу его пиджака и слегка потянул к себе.

— Чуешь?... Подползу, а ты...

Он чуть-чуть двинул бровями.

— Ты знаешь, как свистит подкрапивник?

Петька внимательно смотрел ему в лицо. Он кивнул головою и ответил:



— Знаю.

Так вот... Ты слушай...

Он опять потянул его за пуговицу.

— Как свиснет подкрапивник три раза, это значит, я дополз... Тут ты и стрели... Только гляди не в него... Ни Боже мой... Чтoб только спугнуть. Чуешь?..

Петька не совсем хорошо понимал, для чего он должен спугнуть японца.

Но он ответил:

— Хорошо...

Голос, однако, звучал у него неуверенно, выражение недоумения проскользнуло по лицу и в глазах.

И, вопросительно взглянув на Семена, он произнес все также неуверенно:

— Так, значит, не в него?

— Ни-ни! Мне что нужно?.. Пусть бы он только соскочил с дерева, а уж в кустах я с ним расправлюсь... Понимаешь теперь? В кустах-то он меня не разглядит второпях... Я уж притаюсь, знаю, как...

Семен разом оборвал свою речь... Он словно вспомнил про что-то...

— Разве вот что, — через секунду зашептал он снова, прищулив один глаз, словно прицелился в Петьку, — ты видел, как он приладил ружье?

— Видел.

— Оно у него на сучке... Так ты вот что. Ты трафь прямо в сучок... Собьешь сучок—хорошо, не собьем—не нужно...

И вдруг словно испуг загорелся у него в глазах...

— Петька!..

И сейчас же, подняв руку, он погрозил Петьке пальцем.

— Только гляди у меня, парень, не попади вместо сучка в приклад либо в затвор.

Строгое-строгое стало у него лицо... Даже будто посерело немного...

— Слышь?..

— Ну вот, —сказал Петька.

— Лучше промахнись...

Он подошел к сосенке, поставил ногу на нижний сучок и опять повернулся к Петьке.

— Лучше промахнись... Слышь?.. А то, ну тебя к Богу!..

## Х.

Петька притаился в амбразуре окна и ждет.

В руке карабин...

Кругом по-прежнему тихо.

— Неужели промахнусь? —думает он.

Тревожно бьется сердце... Вон он, японец. Теперь ружье его висит неподвижно. Отчетливо виден сучок, на который оно повешено.

Петька на глаз прикидывает расстояние до сучка.

Сколько тут?.. Шагов двадцать, двадцать пять...

Больше не будет...

Ему вспоминается лицо Семена, когда он грозил ему пальцем, и его слово: „лучше промахнись“...

Семен, верно, не хочет, чтобы он испортил японскую винтовку...

А лучше было бы бить по затвору: тогда бы японец уж ничего не сделал бы с Семеном...

В глазах у него начинает рябить...

Рядом с сучком выплывает другой сучок, совершенно такой же...

Он прищуривает глаза, открывает их опять...

Зелень листьев становится вдруг словно ярче...

Резче обозначаются контуры отдельных листиков... .

Словно он смотрел сквозь мутное окно с мутными стеклами, а потом сразу открыл окно.

Листья так и блеснули ему в глаза.

Нет, не нужно смотреть так пристально...

Но глаза, помимо воли, останавливаются опять на сучке...

Листья сливаются в одно расплывчатое мутно-зеленое

пятно.

Только сучок виден точно черная черточка.

Желтеет что-то посередине сучка. Это—ремень. Вон и пряжка. Заостренный кончик ремня торчит кверху из-под пряжки.

Умышленно сосредоточивает он внимание на ремне ниже сучка.

Но и ремень вдруг неожиданно пропадает из глаз, превращается во что-то бесформенное серо-желтое, что уплывает книзу под сучок, и перед глазами снова сучок.

Тихо, слабо закричал где-то подкрапивник...

В первое мгновение этот крик словно пронесся мимо него. Он остался неподвижен.

Но потом он вздрогнул.

Сердце стукнуло и остановилось... Теперь крик подкрапивника точно прошел его насквозь, в грудь и в сердце.

Ведь это не подкрапивник, это Семен.

Все его внимание ушло в слух, и глаза в эту минуту, казалось, потеряли способность видеть. Живая сила, проникавшая зрение, ушла из глаз, перелилась на другое чувство; зрение словно замерло.

Опять закричал подкрапивник...

Он положил карабин на земляной подоконник и прицелился.

Карабин на подоконнике держался как на прицельном станке...

Снова кричит подкрапивник.

„Эх, лучше б уж молчал!..“

Он навел мушку. Твердо стоит мушка, словно застыла. Точно черненькое маленькое пятнышко село прямо на желтый ремень, охватывающий сучок поперёк...

Он нажал на спуск.

Выстрел...

Он слышал, как вслед за выстрелом что-то глухо стукнуло впереди или внизу в кустах.

Клуб дыма медленно расплывался между деревьями в листьях.

В дыму по веткам дуба, где сидел японец мелькало что-то синее, быстро скользя вниз, то скрываясь за стволом дуба, то появляясь опять...

Дым редел с каждой минутой, уходя кверху, словно расплываясь и расплываясь вверх, подтягивалась легкая газовая кисея...

Японец теперь был отчетливо виден.

Торопливо соскакивал он с ветки на ветку, хватаясь руками за верхние ветки, извиваясь между ветками, где они были особенно густы, появляясь то с той, то с другой стороны ствола.

Он был без ружья.

И на ветках ружья тоже нигде не было видно.

Петька не промахнулся.

Японец, наконец, прыгнул в кусты.

В ту же минуту в кустах мелькнуло что-то большое, темное... На одно мгновение между веток показалось лицо Семена и сейчас же опять скрылось. Потом кусты зашумели, затрещали ветки... Послышался сдавленный крик.

Из кустов кверху взвилась черная сумка с оборванным ремнем, затем еще какой-то предмет...

Петька знал, что у Семена не было такой сумки...

Значит, Семен повалил японца на землю и обрывает с него его вещи...

Хрипло вдруг прозвучал голос Семена:

— Петька! веревку!.. Ремень у меня висит над кроватью.

Петька спустился в землянку, разыскал ремень и, взобравшись опять к окошку, выскочил через него наружу...

Схватив свой карабин, он побежал с бугра вниз по зарослям...

— Где вы, дядя Семен?

Очутившись в кустах, он сразу потерял направление... Он точно опустился на дно озера... Не было видно ни деревьев, ни

бугра... ничего не было видно... Густо зеленела вокруг него частая заросль.

На минуту он потерялся.

— Здесь я! — крикнул Семен, совсем от него недалеко.

Он повернул на голос...

Кусты вдруг зашумели впереди него, раздвинулись, и мимо него, согнувшись и протянув вперед руки, мелькнула фигура в синей кофте...

Фигура сейчас же исчезла, точно нырнула в заросль, на самое дно, в самую её глубину...

Петька остановился неподвижно...

Он слышал, как шумел куст теперь уже позади него и гораздо тише, и глуше.

Он стоял, насторожив слух в ту сторону, откуда доносился до него этот шум, все ослабевающим звуком...

— Дядя Семен! — проговорил он, наконец, тихо. — А дядя Семен!..

Что-то дрогнуло у него в лице. Нижняя губа отвисла. Он мигнул веками и повторил опять трепетным голосом:

— А дядя Семен!..

Шум в кустах позади совсем затих... Только хрустнуло что-то раз или два далеко, смутно и невнятно.

Закусив губу и широко открыв глаза, он стал пробираться вперед между кустами.

Его охватил ужас...

Он чувствовал, как к горлу подкатывают слезы, и все кусал губу...

Смутно различал он сквозь слезы, заволакивавшие глаза, куда он идет...

Что-то зачернелось в кустах впереди него.

Он остановился и закрыл глаза.

Теперь ужас проник его всего... Казалось ему, дыхание у него остановилось. Ужас, пробежавший горячим огнем в душе, точно сжег в себе дыхание...

Семена уж он больше не считал живым...

И он задрожал весь, когда открыл глаза, и раздвинув ветки, заглянул между ними...

Вот он Семен... Сидит согнувшись, опираясь одной рукой о землю, а другую приложив к груди...

Голова опущена, рот полуоткрыт.

— Дядя Семен!..

Семен шевельнулся...

Тихо слышится его голос:

— погоди, дай передохнуть... Стой тут и как увидишь, прямо бей... У него ничего нет.

Видно, что ему тяжело говорить... Он словно давится каждым словом.

— Это он меня ладонью, — хрипит он опять, — прямо по горлу под подбородком... Ладонь на ребро взял, значит, вразрез...

## XI.

Понемногу Семен оправился.

Он встал, пощупал у себя горло тремя пальцами, сложив их щепотью и немного запрокинув голову.

— Думал совсем шею сломал, — сказал он Петьке. — Спасибо зацепил за подбородок, а то бы тут мне и конец.

Он опять ощупал горло...

И когда он стоял так с откинутой немного головой, бегая пальцами по всему горлу от подбородка вниз и опять назад к подбородку, тонкая улыбка чуть-чуть тронула его губы.

Полуприкрыв глаза, он покосился на Петьку и проговорил уж без хрипоты и совсем чисто:

— А ведь небось думает убил, анафема...

Потом спросил:

— Ты его видел?

— Видел, — ответил Петька, — только он пропал сразу...

— Стрелял бы...

— Говорю же вам, сразу... А то бы...

Петьке стало досадно на себя.

Почему он, правда, не стрелял в японца?

Правда, видел он его всего только одно мгновение, но все равно нужно было ему пустить пулю вслед...

Он передернул губами, отвернул лицо в сторону, и опять с одного уголка у него дрогнула верхняя губа и дрогнул маленький мускул около носа...

Он опустил глаза...

— А ружье ты сбил ловко...

На щеках у Петьки разлился румянец.

Он вспомнил как он целил по сучку...

— Это хорошо, это что же... Ловко наметил... Я это лежу, вдруг слышу хлоп, потом дыр-дыр-дыр... Гляжу, нет ружья и сучка нет...

Петька чувствовал, как из души у него словно поднимается что-то горячее, широкое... Будто и слезы, и радость... Будто слезы закипели в радости...

Его губы складывались в улыбку, он чувствовал эту улыбку. Тоже помимо его воли она выплывала откуда-то изнутри, и раздвигались его губы, и тоже помимо воли на глаза набегали слезы... Слезы тоже выплывали откуда-то вместе с улыбкой.

Он поднял глаза на Семена и сказал:

— А я думал... дяденька... Я думал, удавил он вас, либо ножом...

Необыкновенно дорог стал для него Семен в ту минуту.

Ведь и правда, японец мог его убить.

Он мигнул веками.

Глаза у него заискрились и сразу стали необыкновенно ясные и чистые. Точно они омылись слезами.

— Как это он вас? — спросил он.

— Ладонью-то... А очень просто...

Петька видел, как Семен стиснул зубы и потом оглянулся по сторонам...

— Попадись он мне еще раз, уж не вырвется...

Семен говорил так, будто разгрызал эти слова между

зубами.

Весь он выпрямился, вытянулся, сжал кулаки...

— Вы сказали, ребром...

— А это у них уже такая ухватка, — договорил Семен. —

Когда бы я его так ударил, я бы ему голову снес.

И отступив на шаг, он стал рядом с Петькой.

— Вот гляди.

Он занес правую руку на левое плечо, вытянув и соединив плотно пальцы.

Потом глянул на Петьку через плечо.

— Гляди... Если я так ударю с размаху с плеча...

И, он плавно повел правой рукой, разгибая постепенно ее в локте...

— Видишь... Держи ладонь ребром и прямо бей... Сразу убить можно, если попадешь в горло.

— Значит, он вас так? ...

— Так, да не совсем. Я тоже сразу сметил... Подбородок подставил... А то бы—смерть...

— Вишь ты, — сказал Петька.

— Ну да шут с ним!.. Все равно, далеко не уйдет... Я с него все оборвал: сумку, патронташ...

— Поискать? — продолжал Петька.

— Да тут не далеко... Сумка то, кажется, зацепилась на ветках, а патронташ, не знаю...

Он оглянулся кругом.

— Должно, тоже недалеко.

— Поищу.

— Валяй, брат...

Петька шагнул было в куст и вдруг остановился.

— А винтовка?

— Э, — сказал Семен, — винтовка далеко. Я ее, первым делом, сейчас шварк в кусты...

И повернувшись к Петьке спиной, он раздвинул густые переплётшиеся ветки винограда...

— Вон она там... Шагов, должно-быть, с десяток...



Он опять оглянулся на Петьку.

— Ты, брат, пошарь тут насчет сумки и прочего.

И вошел в кусты.

Ветки винограда колыхнулись и, дрожа, сомкнулись за ним.

Через минуту Семен крикнул из кустов:

— Ты, брат, не бойся, он не вернется, потому что с чем ему вернуться?

И вдруг он захохотал громко, раскатисто.

Этот смех, как эхо, откликнулся у Петьки в душе... И самому ему стало сразу необыкновенно легко и весело.

— Дядя Семен! — крикнул он.

— А? — откликнулся Семен.

— Ничего, это я так, — сказал Петька.

Он и, правда, не знал, зачем он сейчас позвал Семена...

В нем вдруг почему-то явилось это желание крикнуть громко, полною грудью...

Ему долго пришлось полазить по кустам, пока он, наконец, разыскал большую кожаную сумку, замкнутую на замок и затянутую двумя ремешками, и потом патронташ.

Патронташ оказался полон патронов.

Патронташ был особенный, из мягкой кожи, с широкими карманами, специально под патроны в обоямах.

Петьке даже стало немного завидно, когда он открыл патронташ.

Патроны в обоямах... Значит, у японца была магазинка... А он слышал, что японские магазинки одни из лучших в мире...

Магазинку-то, конечно, Семен возьмет себе.

— Дядя Семен, где вы?

— Здесь я!

Зашумели кусты...

Петька почти столкнулся с Семеном.

В руках у Семена была винтовка, маленькая, с коротким стволом, необыкновенно чисто сработанная.

— Все нашел? — спросил Семен.

— Все.

— А патронташ?

— Вот он.

— Давай сюда.

Петька подал ему патронташ...

Семен вскинул винтовку, на руку.

Легкость-то какая!

— Магазишка, — сказал Петька.

Глаза у Семена округлились и стали словно выпуклей; брови чуть-чуть поднялись.

— О? — произнес он и, повернув свой трофей сначала на одну сторону, потом на другую, остановил глаза на том месте, где, по его предположению, должен был находиться магазин.

Потом поднял глаза на Петьку.

— Магазишка?

— На пять патронов, — проговорил Петька. Семен сел на землю, положил магазинку на колени и, склонившись над ней, осторожно потянул за небольшой рычажок с боку затвора... Потом потрогал скобу и опять вскинул глаза на Петьку.

— Как же это? ...

Петька чуть-чуть отодвинулся.

— Да вы глядите, дядя Семен, — сказал он, — еще неровно выстрелит...

Им пришлось порядочно-таки повозиться с винтовкой пока, наконец, они освоились с её механизмом. Семен смотрел на винтовку и качал головой.

— Чудеса, — говорил он, — прямо чудеса!.. Значит, сейчас раз-два и готово, стреляй опять.

Потом он открыл патронташ.

Патронташ оказался полон патронов.

В особом карманчике патронташа он нашел отвертку, масленку и запасной ударник, тщательно завернутый в бумажку...

— Ремень только попортил; да ничего, я сам стачаю, — сказал он Петьке и поднялся.

— Ну, пойдём...

— А сумка-то? ...

— Сумку разберем дома...

Семен сделал несколько шагов и вдруг остановился.

Петька видел, как он что-то нащупывал на земле ногой...

Он тоже остановился, подойдя к Семену почти вплотную.

— Что вы, дядя Семен?

В эту минуту Семен нагнулся.

Когда он выпрямился и повернулся к Петьке, в его руке был серебряный портсигар.

Он показал его Петьке.

— Его, небось, тоже?

— Серебряный, — сказал Петька; — конечно, его, а то чей же...

Семен нажал пружину с боку портсигара. Крышка отскочила.

В портсигаре было штук двадцать папирос, очень тоненьких, из желтоватой прозрачной, так что сквозь нее хорошо был виден табак, бумаги...

— Бросьте вы их, дядя Семен...

Петька даже немного отодвинулся назад.

— Чего?

— Папиросы, говорю, бросьте... Мало ли что!.. Может, это те самые... Помните, я говорил.

— Это что в Харбине? С ядом?

— Кто ж его знает.

Семен закрыл портсигар.

— Ну, нет, брат, шалишь, — сказал он, опуская портсигар в карман...

— Курить будете? — воскликнул Петька, глядя на него во все глаза.

Семен повернулся к нему спиной и зашагал по кустам.

— Кто-нибудь за меня их покурить, — проговорил он на ходу.

## XII.

Семен и Петька опять сидели у себя в землянке.

Они разбирали вещи, находившиеся в сумке.

Ключа, чтобы отомкнуть замок, при сумке не оказалось.

Пришлось замок взломать.

Семен отстегнул ремни, подвел потом ладонь под крышку сумки, надавил на крышку сысподу, и замок отлетел сам собой.

— Наша баба пуговицу крепче пришьет, — сказал он при этом.

В сумке было множество отделений и, так же как в патронташе, множество больших и малых карманчиков, запиравшихся каждый ремешком с пряжкой.

В главном, самом большом отделении сумки оказалось несколько слесарных инструментов: коловорот, великолепно сработанный из стали с так называемым „универсальным“ американским патроном для зажимания сверл, набор спиральных в роде буравцов сверл, маленькая в разобранном виде точилка с наждачным точильным кругом, штук пять ножовочных пилок для резки железа, отлично станок для этих пилок, стальные небольшие тиски, французский гаечный ключ, молоток, сильные стальные кусачки, несколько клещиков разной величины и фасона, отвертка и еще кое-что.

— Слесарь, что ль, он? — вопросительно заметил Семен, выложив все эти вещи на стол...

— Тащите дальше, что там еще, — сказал Петька; — вот вы увидите, что у него есть непременно бритва. Он цирюльник.

Семен продолжал разгружать сумку.

На столе один за другим появились: ящик с чертежными принадлежностями, обшитый коричневой мягкой кожей другой ящичек—аптечка, занятый пузырьками с сигнатурками, приобретенный японцем, очевидно, в каком-нибудь русском городе, судя по надписям на сигнатурках, и наконец действительно три бритвы, ножницы и несколько гребешков.

— Вот видите! —воскликнул Петька.

— Это значит, —проговорил Семен, —что, как куда придет, сейчас, дескать, вы не извольте сумлеваться, я цирюльник. Ловко!

Он открыл одну бритву, сдвинул к локтю рукав своей рубашки и, послунявив черные, довольно длинные волосы, покрывавшие его руку от запястья до самого локтя, провел по ним бритвой.

Бритва брила отлично.

Семен вытер ее осторожно подолом рубахи и потом, поднеся к губам и повернув плашмя, дыхнул на нее.

— Стальная, —сказал он.

Петька усмехнулся.

— Известно, стальная.

— Ишь, ишь, —продолжал Семен, указывая пальцем на матовое пятнышко, появившееся на поверхности бритвы в том месте, на которое он дыхнул.

Матовое пятнышко быстро уменьшалось в размерах, будто таяло.

— Ишь, ишь...

Семен осторожно закрыл бритву и положил ее рядом с другими бритвами.

— Ну, дальше...

И опять склонился над сумкой.

Он порылся в сумке и выложил на стол коротенькую довольно толстую, приблизительно около вершка, трубку.

С обоих концов в трубку были вставлены круглые стекла.

Трубку по середине охватывало железное кольцо с прикрепленными к кольцу на железных же мочках двумя ремешками, из которых один оканчивался медной пряжкой.

Петька быстро схватил трубку.

— Что это? —спросил Семен.

Петька повертел трубку в руках, потом приставил ее к глазу.

— Я знаю! —крикнул он.

— Ну?..

— Вы даже и не поверите! Дайте-ка вашу винтовку...

— Берданку?

— Нет эту, японку...

Петька протянул к нему руку и пошевелил в воздухе пальцами, словно подгребал к себе что-то.

— Ну, давайте, давайте... Это от ней.

— Как от ней!

Не сводя широко открытых глаз от Петьки, Семен потянулся за винтовкой...

— Ведь это, — сказал он, — подзорная труба, только я не знаю, зачем тут ремешки... На!

Он подал ему винтовку.

Петька пристегнул к винтовке сверху ствола около прицела трубку, вышел на середину землянки и прицелился в окно.

Потом отнял приклад от плеча, передвинул трубку несколько дальше по стволу и опять приложился.

— Дядя Семен!

Он снова отнял винтовку от плеча и смотрел на Семена, подзывая его к себе глазами.

— Пойдите-ка сюда. .

Семен подошел.

— На-те-ка.

И Петька протянул ему винтовку.

Прицельтесь... Только глядите прямо в стекло.

Он отступил на шаг и стал позади Семена...

Семен вскинул винтовку к плечу.

Через минуту он опустил винтовку стволом вниз и повернулся к Петьке.

Он ничего не мог сказать Петьке... Только открыл рот и потом присвистнул:

— Фью!..

П выпучил глаза.

Трубка оказалась особым оптическим прибором,

увеличивающим почти вдвое и сильно приближающим предмет, по которому целят.

Семен осторожно отстегнул прибор и поставил винтовку в угол.

— Это значит, — обратился он к Петьке, — давай мне мышь, я и в мышь попаду на сто шагов...

Он заложил руки за спину и стал смотреть на винтовку и качать головой.

Затем подошел опять к койке где лежала сумка.

— Нет ли тут еще чего?

Сел на койку и взял сумку на колени.

Но он уж не мог больше спокойно исследовать содержимое сумки.

Он передал ее Петьке.

— На, ты...

И взяв в руки свою волшебную трубку, принялся разглядывать ее внимательно и сосредоточенно.

В сумке нашлось еще несколько вещей: электрическое огниво, походная чернильница, два куска мыла, нитки, иголки...

Затем из самого большого кармана Петька вынул небольшой портфель из мягкой кожи.

В портфеле оказались какие-то бумаги, чертежи и планы, три стопки русских золотых, рублей на триста, и кожаный мешочек, наполненный, по-видимому, каким-то порошком, необыкновенно тяжелым для всякого порошка, который знал Петька.

Петька развязал мешочек.

— Дядя Семен, гляди-ка!

Семен, уже оставивший свою удивительную трубку и занимавшийся подсчетом золотых, поднял голову, продолжая высчитывать:

— Два по десяти рублей, да еще два по десяти, да три по пятнадцати...

Он умолк, уставившись в одну точку.

— Петька, сколько это?

И вдруг его взгляд упал на мешочек, который показывал ему Петька.

Он вытянул шею и спросил:

— Что это?

Мешочек до верху был полон желтоватым порошком в роде мелких медных опилок...

Семен протянул руку и схватил Петькину руку около кисти.

— Петька!

Глаза его так и впились в содержимое мешочка. Он тряхнул Петьку за руку.

— Петька! да ведь это золото!

Мешочек был действительно с золотым песком.

### ХІІІ.

На другой день Семен сказал Петьке:

— Петька, золото-золотом, а я того все-таки так не оставлю.

И, затаившись из коротенькой трубочки, он пустил в лицо Петки целую волну дыма...

— Ты не старовер? ...

— Нет, — сказал Петька.

Семен опять затаился и выпустил также дым уже одновременно и через рот, и через ноздри тремя синими клубившимися на концах струями. Синие струи словно разбивались о воздух.

— Я того не оставлю... Нет, шалишь, это дудки... А то еще подумает, дескать, получили золото и довольны, не погонятся...

Он пыхнул еще раз.

— Я его найду... И знаешь, что я тебе скажу... Он кивнул Петьке пальцем, согнув палец крючком...

— Ты пойд-ка сюда.

Но Петька сидел с ним рядом. Ему не куда больше было



подвинуться.

— Что вы? ...—спросил он.

— Я то? ... я, брат, знаю, что... Вот ты говоришь, он цирюльник.

— Конечно. Видели бритвы?..

— А песок?

— Какой песок?

— А золотой... Э-э!..

Он значительно поднял вверх указательный палец и потом приставил его к кончику носа.

— Чуешь?..

Петька молчал.

— Понимаешь, чем тут пахнет?

И, отняв палец от носа, он приставил его ко лбу, но и от лба отнял сейчас же.

Он только едва коснулся им лба.

— О, это, брат, штука!.. Это значит, мы его разыщем. Да и еще кое-кого вместе с ним... Я тут слышал про одно место. Манзы золото моют... Около одной речки. Он, видно, там был, да туда, видно, и пошел.

Он сунул в рот полупотухшую трубку и стал ее раскуривать, пыхтя и отдувая щеки.

А когда раскурил, затянулся, выпустил дым опять через нос и губы и сделал перед собой круглый жест рукой.

— Тут ведь сколько угодно золота... Только ковырни...

— А вы знаете, как пройти?..

— На ихнюю заимку-то?..

— Да, где эти манзы.

Лицо у Семена омрачилось.

— Говорят, оно заколдовано, это место. Один здешний шаман заколдовал... Да это все враки.

Семен стал еще мрачнее.

Мигнув на Петьку глазами, он спросил:

— А ты как думаешь?

— Конечно, враки...

— Я, видишь, ходил раза два... Да думаю, мало ли что... Заколдовано, не заколдовано, а как придешь один, а их там десятеро... А теперь нас все равно что шестеро...

Он выразительно поглядел на Петьку.

— Чуешь?

И, подогнув на левой руке указательный палец под большой, произнес, шевельнув усами:

— Во-первых то у меня был один патрон в ружье, а теперь пять патронов... Значит, пять?.. Так, теперь дальше...

И при этом он указательным пальцем правой руки надавил на следующий за указательным на левой и пригнул его к ладони.

— Второе—ты... Выходит шесть. Да еще труба... Она одна стоит трех. Значит, как раз десяток... И значит, теперь можно... Да еще Ваську захватим. Васька один десять сломает. А?

— Конечно.

— Пойдем, значит?

— Найдем ли только?

— Ну вот, найдем...

— Погодите, где эта сумка?

Петька вспомнил о бумагах, заключавшихся в портфеле.

— Там были какие-то планы...

Сумка висела на стене.

Петька снял ее, раскрыл, достал портфель и из портфеля вынул бумаги...

Внимание его сразу остановил небольшой кусок бристоля с нанесенным на нем чертежом...

Петька учился три года в железнодорожном училище и умел чертить карты...

Он разобрал сразу на чертеже лесные пространства, горы и реку, извивавшуюся среди леса в узкой полосе низменности.

Надписей он, разумеется, не мог прочесть...

Надписи были японские.

Но ему бросился в глаза на правом берегу речки, в среднем её течении, неправильный четырёхугольник,

закрашенный золотой краской...

— Слушайте, дядя Семен, что это речка, где промывают золото, куда течет?

— Куда течет?.. Еще в одну речку.

— А та?

— А та в море.

— А откуда она течет?

— Какая? Которая в море или маленькая?

— Маленькая.

— Маленькая... Гм... Маленькая от их. Вон туда...

И Семен махнул рукой в сторону двери.

Петька уткнулся опять носом в карту. Потом он повернул карту так, что низовья неведомой реки, изображенной на карте, приходились против двери.

— Дядя Семен!

— Ну...

— Вы хорошо знаете эту речку, где золото?..

— Ну вот, как же не знать!

— Знаете, как она течет?.. Где и как поворачивает, где есть болота, где горы?..

— Знаю порядочно.

— Ну, хорошо; станьте теперь лицом, куда она течет.

— А зачем?

— Да уж тогда узнаете...

Семен крякнул.

— Опять что-нибудь?..

Он взглянул через плечо. Петьки на разложенные перед ним бумаги.

— Нашел, что ль, что?

— Да уж вы не спорьте... Это еще лучше трубки, может, будет. -

Семен встал и повернулся лицом к двери.

— Ну-ка...

Петька поставил палец на карту в месте истока реки.

— Значит, — начал он, — вы стоите сейчас лицом, куда

течет речка?

— Так, — сказал Семен.

— Теперь слушайте... Речка начинается из болота?

Семен оглянулся на него.

— Ну, из болота... Знаю.

— Потом она течет прямо, потом тут такая дуга—лукой загибается?.. Так?

— Так...

Голос у Семена изменился сразу, словно ослабел.

Потом заворачивает направо, — продолжал. Петька. — Верно?

Семен быстро повернулся к нему.

— Да ты что ж это!..

Глаза у него выкатились. Медленно поджал он губы, прижав нижнюю губу верхней, и молча смотрел на Петьку.

Водя по карте пальцем, Петька продолжал:

— Потом идет опять прямо... потом будет с боку озеро?..

Семен шептал за ним почти беззвучно:

— Прямо... да... а потом озеро...

Петька уже не требовал от него подтверждений...

— А за озером, — почти крикнул, — сейчас на правом берегу и есть это самая заимка.

Семен согнул спину и хлопнул себя обеими руками по ногам около коленей...

— Ах ты Господи! — произнес он. — Ведь, должно, там и есть эта заимка; я так и сам думал.

Он тихо подошел к Петьке, спрятав руки за спину, и указал глазами на карту.

— Что ж это?

— Карта, — ответил Петька.

— Значит, план?

— Да, план.

— И на нем все видно?

— Все... очень хорошая карта.

— А как же это?

— Погодите, дядя Семен.

Петька что-то очень внимательно рассматривал в правом уголке карты.

— Ну-ну, — сказал Семен и отступил назад, все держа руки за спиной.

Постояв молча минуту, он подался корпусом вперед и проговорил тихо, вытягивая шею:

— Что еще нашел?

— Погодите...

— Ну—ну--

Семен опять замолчал.

Петька, наконец, поднял голову от карты.

— Тут, дядя Семен, — проговорил он вдумчиво, — я еще хорошенько не разобрал... А тут, кажется, еще показано, как пройти на эту заимку с берега. Прямо, кажется, надо по ручью. Ручей тут как раз течет в реку.

— Ну, этого я не знаю, — сказал Семен. — Туда я не заходил. Обаполо бродить бродил, а около самой заимки не был. Не знаю.

— Не были?

— Не был...

— Ну, теперь пройдем.

— Давай Бог... А уж он непременно туда наладился... а?.. Ты как думаешь?

— Думаю, что туда... Где ж ему тут...

— То-то и толкую. Куда ни подайся, везде лес, глушь... Зверье бродит.

Петька стал укладывать бумаги обратно в портфель. Потом замкнул портфель, положил его в сумку и застегнул на сумке ремни...

— Хитрый народ, — сказал Семен, когда Петька, встав коленями на край койки вешал сумку на прежнее место, на стенке.

Петька взглянул на него через плечо.

— Японцы-то, — пояснил Семен, опасаясь, вероятно,

чтобы Петька не принял его слов на свой счет. —О, мы что, мы простые...

#### XIV.

В этот день Петька с Семеном легли спать раньше обыкновенного.

Семен решил завтра чуть свет подняться в поход. Еще с вечера он приготовил все нужное для путешествия: запаковал в кусок мягкой козьей шкурки козьего же сушеного мяса, смазал винтовку и сапоги и тоже посоветовал сделать и Петьке...

И когда все было готово и в землянке стало темно, хлопнул себя по лбу ладонью и сказал:

—А главное-то я забыл... мне нужно обриться.

— Разве вы бреетесь?..—спросил Петька.

Это, разумеется, был не совсем умный вопрос, и Семен только крикнул и ничего не ответил Петьке.

Петька сейчас же и сам сообразил, что мог бы сказать Семену что-нибудь другое.

— Я не про то, — проговорил он, —я говорю, для чего вам бриться?

— Как для чего?

И Семен хлопнул громко себя ладонью по коленке.

— Глуп ты, вот что!..

Впрочем, он сейчас же поправился.

— То-есть не глуп, а не понимаешь...

Он опять крикнул...

— Ведь он меня в бороде видел? Ну?..

Он помолчал минуту.

— Японец? —спросил Петька.

—А то, кто же! Ведь в бороде?..

—В бороде.

— И, значит, сейчас в случае чего: „а, дескать, голубчик, это ты!..“ Небось ведь приметил. То-тои дело... А сниму я бороду, тогда-то ещекогда догадается... .

На это Петька ничего не мог возразить.

Семен продолжал:

— Идем мы с тобой, скажем, по лесу, а он этак...

И Семен кивнул головой кверху.

— На дереве... Да... Или в кустах, или еще где... Увидал, значит... Стой, голубчик! Вот они... И тут, недолго думавши, сейчас к своим... А ты видишь, какой они народ; вокруг пальца окрутят... У них вот и трубы и все...

— Это так, — сказал Петька.

— То-то и дело!.. И потому я решил: обреюсь! Они хитры, да и я не в кулак свищу! Я, брат, свое дело знаю...

— Да ведь как же вы теперь будете бриться? Темно...

— То-то что забыл... Плошку нужно зажечь.

На полке у него стояла глиняная плошка, наполненная каким-то жиром, с плавающим в ней фитилем, закрепленным в круглом пробковом поплавке.

Он поставил плошку на стол, зажег и, в ожидании пока разгорится фитиль, разложил на столе ножницы, бритвы, мыло.

Когда он остриг бороду, а потом выбрил начисто подбородок и щеки бритвой и повернулся к Петьке, Петьке показалось, что перед ним сидит совсем другой человек.

— Ни в жизнь не узнает! — воскликнул он.

— Гм, — сказал Семен, — а усы?

Он закрутил кончики усов в стрелки и провёл ладонью сначала по одной щеке, потом по другой... Потом погладил подбородок.

— Помолодел?..—обратился он к Петьке.

— Все равно, как и не вы!

— А усы сбрить?..

— Усы зачем?..

— Усы не надо, — сказал и Семен; — так вряд ли узнать?

— Совсем нельзя...

— Гм... Я так и знал. А теперь нужно спать. Стелись, Петька.

Петька разостлал, как раньше, козьи шкуры на полу около входа, разделся и лег, одевшись двумя сшитыми вместе козьими же шкурками...

Свою винтовку он положил рядом с собой.

Семен тоже разделся, лег на койку и потушил плошку.

В землянке стало темно.

Через минуту Петька слышал, как Семен смурывает спичечной коробкой. Потом он чиркнул спичкой... Спичка вспыхнула, осветив на мгновение руки Семена, и потухла.

Что-то слабо затлелось красным огоньком в темноте, где лежал Семен. Запахло махоркой. В освещенном огоньком пространстве заструился синий дымок.

Семен закурил...

— Дядя Семен! — окликнул его Петька.

Семен засосал трубкой. В трубке заклокотало и захрипело, будто в чубуке набралась вода...

Красный огонек разгорелся ярче, осветив усы и кончик носа... Синие струи дыма словно выросли, вытянулись... Волнуясь и колеблясь, они расплывались в красноватом отблеске, дрожавшем в воздухе...

— А?.. — отозвался Семен.

Должно-быть, он отнял ото рта трубку; из темноты выступил его подбородок, слабо и смутно... Опять чуть-чуть осветились его руки.

— А тепло ж у вас под шкурками.

— Чего лучше...

Петьке спать не хотелось, и по тому, как ответил ему Семен, по тону его голоса и по той поспешности, с какой он ответил, казалось ему, что и Семен тоже не хочет спать.

— Много их тут по лесам?..

— Стадами ходят...

— Стадами?!

Петька знал, что козы пасутся стадами, но сейчас ему не подвертывалось никакого вопроса, а говорить хотелось.

Точно он держал у себя кончик разговора, и Семен



постепенно, перетягивая к себе этот кончик, и мог оборвать сразу...

— Они все стадами, — сказал Семен и опять пыхнул трубкой.

— А еще есть тут какие звери?

— Да мало ль... Кабарга, олень, рысь есть, россомаха...

Опять же тигр, медведь...

— Соболь, — добавил от себя Петька.

— Ну, соболь... Теперь его мало стало.

— Выбили?

— Выбили.

— А вам случалось бить?..

— Доводилось... В прошлом году убил пару, в позапрошлом три.

— Продали?..

— Продал... хорошие деньги взял... Да...

— Дядя Семен, — перебил его Петька, — а вот тоже панты...

— Продавал и панты... китайцам. Чудной народ... Теперь вон тоже наши разводят оленей на дому. Все равно ведь олень—он всегда олень, а скажи на милость!.. Добудь ты ему рога с дикого оленя—одна цена; это, говорит, точно панты, настоящие, а как узнал, что с домашнего, своей выводки—сейчас и цена другая.

— Дешевле?..

— На половину почти.

— Говорят, они из них лекарство делают...

— Из рогов?.. Как же! В роде как бы волшебный порошок, от всяких болезней.

— Небось, не помогает?..

— Кто их знает... А должно, что нет. А то б у них и болезней не было,

Семен замолчал.

Петька опять не знал, о чем еще спросить у него... Голова словно опустела... Он чувствовал, что время уходит, и каждую

минуту Семен может зашуметь, заворочаться у себя на койке, поворачиваясь к стене и укрываясь своим одеялом.

— Дядя Семен!

— Ну?..

Какой-то вопрос вертелся у Петьки на языке, но вопрос этот вдруг словно испарился мгновенно, растаял, улетел куда-то, не оставив после себя ничего в мозгу.

— А куда вы денете свою бороду, — проговорил он совсем неожиданно для себя и для Семена...

## XV.

Опять тайга...

В узкой низине бежит небольшая речонка...

Густо по берегу зарос камыш, густо за камышом, дальше по прибрежным тоням, засела осока.

Точно синие брызги блестят в осоке незабудки, группами и в одиночку пестреют желтые и белые лилии.

По ту и другую сторону—лес, вековой, непроходимый на многие десятки верст...

Гигантские ветви гигантских кедров и вязов, дубов и елей тянутся далеко над самой осокой, незабудками и лилиями...

Синяя тень лежит от них на осоке. Неподвижны их ветви, корявые, толстые, поросшие изжелта-зеленым мхом.

Только в верхушках идет тихий шум, неумолкаемый постоянный, как шум синих струй внизу в чаще камышей...

Будто кто-то что-то шепчет, непонятное, неведомое, сам неведомый и невидимый, схоронившийся в темной чаще леса, в зеленой чаще камышей...

Звонят комары, кричат, свистят и гогочут птицы в ветвях, в лозняке и камышах...

Но тому, кто шепчет что-то непонятное из зеленой чаще леса и из глубины камышей, чужды и, далеки эти голоса суетливой жизни...

Эти голоса, кажется, заглушают таинственный голос тайги... Но вслушайтесь, вслушайтесь!

Слышите?..

Торжественно, простираясь в ширь и в глубь, наполняя всю тайгу, широкими волнами льется над ней её тихий, но могучий голос.

И чем больше вслушиваешься в него, тем больше мощи чудится в нем...

Он крепнет, растет, погружая сознание в сон, и, кажется, уж гремит над вами, заглушая все, как стройный многоголосый хор...

Стороною вдоль речки идут Семен и Петька.

Близко возле речки идти нельзя: там топь, камыши, осока.

Они пробираются лесом.

Семен идет вперед, с ним рядом его медведь, за ними Петька.

Семен то и дело останавливается, прислушивается.

— Что там? — шепчет Петька сзади, тоже останавливаясь и начиная оглядываться.

— Ничего! — говорит Семен громко и шагает дальше.

Над рекой свистят кулики, в камышах кричат и хлопают крыльями дикие утки...

Что-то плещется в воде, под берегом.

Иногда утки срываются с воды и вылетают из камышей совсем внезапно и неожиданно и летят низко над водой, чуть не задевая по воде крыльями, молча и быстро...

Все дальше идут Семен и Петька...

Осока стала реже, точно придвинулась к камышам...

Из леса выползли кусты дикого винограда, лозняка... Мелкая зеленая поросль тянется дальше к воде по мшистым кочкам...

В её зеленом потоке только кое-где теперь мелькают лилии...

— Теперь недалеко, — говорит Петька, — совсем близко...

Он останавливается.

— А, дядя Семен?

Семен остановился тоже, повернулся к Петьке.

— Ну?..

— По-моему: пришли...

— Пришли?..

Семен быстро оглядывается... Потом подходит к Петьке.

Под ногами у него хлюпает вода.

Потом вода перестает хлюпать. Тихо...

Слышно только, как что-то урчит и будто сосет у него под сапогами.

Будто маленькие струйки перебегают около сапог, и будто зыбкая почва всасывает их в себя или выгоняет наружу, как губка, когда ее сожмут.

— По-моему пришли, — опять говорить Петька.

— По планту выходит?

— Да, по плану...

— Ну, давай подождем. Иди сюда.

Он отступает в сторону, широкими шагами переходит мокрое место и останавливается, только выбравшись за деревья...

Там сухо... Толстым слоем лежит у корней деревьев прошлогодний лист и хвой...

Звенят и толкутся столбом комары...

— Садись, — говорить Семен и садится сам.

К нему подходить медведь и ложится около.

Лапы у медведя в грязи; на брюхе, на шерсти тоже налипла грязь. Он раза два попадал в колдобины...

— Ишь изгваздался, — говорить Семен, переводить глаза на свои ноги и, разыскав сухую палочку, начинает счищать грязь с сапог... Они у него тоже запачканы...

Он слышит, как Петька хлюпает недалеко сапогами, направляясь к нему.

Какая-то тень, должно-быть от Петьки, серая, расплывчатая на сером фоне хвой, протянулась по земле к его ногам, наползла на ноги...

Сразу будто потемнело немного.

Он поднимает глаза. Перед ним Петька.

— Ты знаешь, — говорить Семен, проводя своей палочкой вдоль сапога по краю подметки, — был тут один охотник в роде, скажем, меня... Да...

И он стучит палочкой о носок сапога, чтобы стряхнуть с неё грязь...

— И пошел этот охотник на охоту... Ходил, ходил... Ноги в грязи, тоже не хуже нас с тобой... Взял, сел... Да... стал счищать грязь...

Он опять стукнул палочкой о сапог, теперь уже о каблук...

— Да... глядь, а у него на щепке золотая крупка... Конечно, глупый человек, может, сколько верст исходил... Значить, если так сказать: где к нему прилипла эта крупка! Неизвестно... А он, говорят, около того места, где сидел, землянку себе построил... Да... давай копать, давай копать... Конечно, нет ничего... А он все копает... Так его там тигр и задрал... Ну, давай закусим, — закончил он неожиданно, подобрал под себя ноги и скинул висевший у него через плечо на сыromятном ремне сверток с провизией.

Петька сел против него.

— Дядя Семен, а мы не опоздаем?

— Чего?..

Семен перестал развязывать кулек и, держа руки на пряжке стягивающего кулек ремня, поглядел на Петьку исподлобья, почти не подымая головы. Но он все-таки хотел посмотреть прямо Петьке в лицо, и от напряжения весь лоб у него покрылся морщинами.

Он совсем не понял, что хочет сказать ему Петька.

— Что ты бормочешь?

— Да ведь уж поздно...

— Чего поздно?..

Наконец, он догадался.

— На тощий желудок, — сказал он, — тоже не хорошо... Нужно заправиться как следует.

— Я не буду, — сказал Петька.

Ему, действительно, не хотелось есть.

— Я пойду, — продолжал он, — похожу тут, погляжу...

Он взял винтовку и встал.

— Если по карте, так мы как раз на ихней стороне... Дядя Семен, вы слышите?

Семен, в это время распаковав кулек, разрезал мясо...

— А?.. — откликнулся он.

— Я говорю, надо оглядеть... Может, мы уж совсем близко...

Семен сунул в рот порядочный кусок.

— М-угу, — промычал он, кивнув головой, и сейчас же, прожевав мясо, повернулся к Петьке и сказал:

— Валяй... Со мною тут Васька пока побудет...

Петька ушёл в лес. Лес в том месте был сравнительно редкий. То и дело попадались подгнившие повалившиеся деревья...

Почва под ними была топкая и зыбкая... Должно быть, не глубоко была и вода... Вода не выступала наружу только, может-быть, потому, что сверх земли толстым слоем лежали листья и хвой.

Несколько поваленных деревьев еще зеленели... Их, должно-быть, совсем недавно постигла грустная участь...

Петька заметил, что не только сердцевина в этих рухнувших гигантах сгнила, но и самая древесина почти вплоть до коры была гнилая...

Значить, они гнили еще на корню...

Сырость из почвы просасывалась им внутрь и постепенно год за годом разрушала сердцевину и потом ствол...

Только снаружи они казались полными силы жизни...

Внутри схоронилась смерть...

И они свалились от тяжести ветвей или от другой какой причины...

Может-быть, оттого, что какая-нибудь рысь, спасаясь от преследования или подстерегая добычу, избрала их местом своего убежища или своей засады...

Вдруг Петьке попался небольшой пенушек с явными следами пилы.

Он остановился.

Значить, он не ошибся...

Японская карта не обманула. Он был недалеко от золотоносной заимки.

Теперь оставалось только разыскать ручей, где, очевидно, манзы производили промывку золота.

Тут дело значительно осложнилось.

Ручей, очевидно, скрывался где-нибудь в камышах, в лозняке, в топиях.

Петька захватил с собой карту. В уголке карты в увеличенном масштабе, вероятно, был начерчен план самой заимки и карта окрестностей...

Но как ее разыскать среди болот, среди непроходимых зарослей, топей, оврагов, буераков? ...

До сих пор по пути не попалось ни одного ручья...

## XVI.

— Нашел!.. Дядя Семен!

Семен, успевший уже закусить и опять запаковать свою закуску, вскочил.

В лице его появилось вопросительное выражение, рот полуоткрылся. Но он сейчас же крикнул, отдувая щеки:

— Чего орешь?

И, сообразив, вероятно, что сам он крикнул громче, чем следует, он прикрыл свой рот ладонью и на мгновенье замер в этом положении, глядя куда-то в бок выпученными глазами.

Потом он отнял ладонь от рта и сказал:

— И то правда, чего мы разорались... Говори, Петька, тише... Чего искал?

— Пень, — сказал Петька.

Семен опять выпучил глаза...

Петька говорил торопливо, отрывисто и все оглядывался по сторонам.

— Какой пень?

— Пилой спилен.

Семен опять приложил ладонь к губам.

— Э-э, —протянул он и щелкнул языком.

— Спилен?

— Видно, что пилой резали. .

— Далеко?

Он оглянулся по сторонам, затем махнул рукой в чашу леса.

— Туда?..

— Там, — ответил Петька.

— Значит, недалеко... Ну, теперь, Петька, того, теперь, чтоб ушки на макушке... Пойдем...

Но Петька не шевельнулся.

— Да куда мы пойдем то! — произнес он с ударением.

— Как куда? ... Где пень...

— Так ведь пень-то вон где, а они вон где.

Петька сделал неопределенный жест.

— Как их искать?.. Вон на карте ручей показан, а где ручей?

— Молод ты еще и глуп, —проговорил Семен и свистнул медведя:

— Васька пойдем.

И сейчас же опять обратился к Петьке:

— Веди. А там уж не твое дело.

Петька молча пошел вперед.

Семен двинулся за ним.

Шел он почти не слышно, мелко ступая по пересохшим или перегнившим сукам и ветвям, листьям и хвоем.

Зорко глядел он по сторонам, держа винтовку наготове.

Пень он увидел первый, раньше, чем Петька подвел его к нему.

Он обогнал Петьку, ступая все также легко и не слышно, подошёл к пню, окинул его быстрым взглядом и потом тщательно осмотрел местность вокруг него.



Петьке он велел не двигаться с места.

— Не мешай! — сказал он ему.

Через минуту он поманил к себе Петьку.

— Видишь?..

Он указывал ему на что-то вниз, шагая вперед от пня.

— Тут протащили дерево... и протащили вон куда...

Выпрямившись, он ткнул рукой в воздух в чашу леса...

— Вон она борозда-то, — продолжал он, присаживаясь на корточки. — Гляди! Ви?..

И он провел пальцем вдоль борозды, которую Петька, однако, никак не мог рассмотреть.

— Не видишь?.. Ну, а я вижу. Теперь стой... Теперь нужно дальше.

Он поднялся и пошел, немного согнувшись, опираясь руками около коленей, боком, двигаясь очень медленно и пристально вглядываясь вниз.

— Так...—заговорил он через минуту, —так-так... вот она.

Вдруг он порывисто шагнул и что-то поднял с земли.

— Тут, — сказал он с уверенностью, показывая Петьке какой-то желтый лоскуток. —Видал ты это?.. Должно, от штанов либо от кофты...

Он бросил лоскуток, нагнулся опять и все так же боком стал подвигаться дальше.

Петька шел за ним, покрикивая на медведя:

— Васька, назад! Васька, стой!

Несколько раз Семен останавливался, замахивался на Ваську и кричал вполголоса, иногда понижая голос до шёпота:

— Назад, анафема!

Васька щурил глаза, будто Семен собирался выстегать ему глаза хворостиной, пятился задом, и наконец, пошел рядом с Петькой...

Стали попадаться смятые кусты, поломанные ветки...

В одном месте, в низине отчетливо видны были следы нескольких человеческих ног.

Семен сосчитал следы.

— Четверо, — сказал он Петьке. — Вчетвером тащили.  
Еще прошли они около сотни шагов.

Где-то, скрытый за кустами, звенел глухо, как под землей, ручей.

— Стой теперь, — сказал Семен. — Тише, Петька...

Осторожно опустил он винтовку прикладом вниз и оперся о ствол.

Кругом было тихо.

Вдруг где-то внизу, за кустами не было видно, где, отчаянным взвизгивающим лаем залилась собака.

В ту же минуту, прежде чем Петька успел придти в себя от неожиданности, медведь скрылся в кустах...

Потом Петька опять его увидел: глухо ворча, он поднялся на задние ноги.

В кустах что-то блеснуло.

Собака продолжала лаять визгливо, звенящим переливчатым лаем.

Яркая тонкая огненная полоса сверкнула из кустов... громко бухнул выстрел.

С яростным ревом медведь опустился опять на четвереньки и, ломая ветки, как солому, двинулся вперед.

Петьке видна была только его спина. По обе стороны отгибались влево и вправо, смыкаясь опять позади его, тонкие виноградные лозы.

Медведь вдруг как-то сразу всем своим грузным телом подался вперед.

Страшный, почти не человеческий стон донесся из кустов... Что-то хрустнуло, слабо и глухо... Снова послышался стон... Но теперь стон был тише и глуше и пробежал по кустам каким-то умирающим звуком...

Потом все стихло.

— Васька, назад! — крикнул Семен, кидаясь в кусты...

У Петьки мелькнула мысль:

„Вот оно, началось самое страшное“.

Он тоже побежал за Семеном.

Семён остановился и повернулся к нему.

— Стой, тут обрыв!

Но Петька все-таки сделал еще несколько шагов вперед.

Перед ним, действительно, был обрыв, крутой, совершенно голый, лишенный какой бы то ни было растительности.

На краю обрыва вниз лицом лежал человек в китайской одежде—бумажных кофте и юбке.

Около валялась длинная черная блестящая коса, забрызганная кровью.

Затылок несчастного представлял одну сплошную рану... Пятна крови проступали и на воротнике кофты и на левом рукаве, разодранном до самого плеча.

Обрыв спускался почти отвесно саженей на пять в узкую долину.

Из-под большого коричневого, почти красного камня посреди обрыва бил фонтаном ключ и водопадом падал вниз, образуя у подошвы обрыва широкий полноводный ручей, катившийся вдоль обрыва...

Какие-то две маленькие человеческие фигурки бежали через долину, перепрыгивая через рытвины и ямы, покрывавшие сплошь берега речки. В их руках Петька заметил ружья.

Он направился к обрыву.

Еще две фигурки стояли поодаль на другой стороне долины, опираясь на лопаты.

Издали сверху они казались совсем маленькими, точно Петька смотрел на них сквозь уменьшительное стекло.

Долина раньше, вероятно, была руслом реки: она сплошь вся краснела и желтела от покрывавшего ее песка и глины.

Ярко, отчетливо вырисовывались на красно-желтом фоне тени от бежавших и стоявших неподвижно фигур в желтых и синих кофтах и юбках.

## XVII.

Ложись! Что ж ты стоишь! —крикнул Семен и дернул Петьку за край пиджака.

Петька присел.

— Еще увидят, —шепнул Семен.

Семен лежал на животе, широко расставив ноги.

Он готовился стрелять по бегущим.

В руках была винтовка.

Верхняя часть туловища немного приподнялась.



Поставив левую руку локтем на землю впереди себя, он откинул кисть руки почти под прямым углом. Винтовка свободно лежала у него на ладони; только чуть-чуть придерживал он ее сбоку большим пальцем. Правая рука, поставленная тоже локтем на землю, плотно охватывала шейку приклада...

Указательный палец он держал на спуске и чуть-чуть шевелил им спуск, то прищуривая, то снова открывая левый глаз...

Вдруг весь он как-то съежился и подобрался.

Палец не трогал больше спуска, подведя его к отказу... Левый глаз прищурился, образуя мелкие, расходящиеся к виску морщинки в уголке глаза...

Тррах!..

Маленькая фигурка в желтой кофте выронила ружье, кувыркнулась головой вниз и осталась неподвижна...

Семен даже не шелохнулся, не оглянулся на Петьку, не посмотрел вниз, где на желтом песке еле заметно желтела неподвижная, словно нарисованная, маленькая фигурка...

Крак-крак, — слышится лязгающий звук магазина.

Винтовка опять готова к выстрелу.

Снова он замер.

Петька видит, как другая маленькая фигурка бежит назад.

Снова выстрел...

Словно лопнуло что-то над ухом у Петьки. Первую минуту он ничего не видит, не видит ничего и во вторую минуту...

Только потом различает близко друг от друга две небольших, неподвижных фигуры внизу на песке...

Он оглядывается на Семена.

Семен переставляет прицел.

Переводит глаза опять вниз... Там пусто. Нет никого...

— Пошел назад, — звучит голос Семена, резкий, отрывистый, как лязг его магазинки.

Крак... крак.

Семен снова прицелился.

Что-то треснуло по ту сторону долины—точно раскололся один из красных камней, нагроможденных там по буро-желтому откосу... Странный тонкий писк прорезывает воздух над Петькиной головой.

Писк сейчас же обрывается, словно он впился в воздух позади Петьки и заглох сразу.

Семен опять выстрелил и вместе с выстрелом и с лязганьем затвора и магазина Петька слышит его голос:

— Сторонись, по нас стреляют.

Так вот что это треснуло за рекой. Значит, манзы там на откосе...

— Гляди, вон твой цирюльник еще с одним бегут к лодкам.

— Бей по ним, — опять врывается ему в уши голос Семена.

Где лодки? Кто бежит? Кого нужно бить?..

Петька различает, наконец, две фигуры, бегущие вдоль ручья... Вон и лодки. Одна побольше, другая маленькая.

Петька прицелился...

А над головой опять: „пи-и-и“, словно камень пустили рядом с ним из праща.

Громко раздается Петькин выстрел. У него патроны с черным порохом. Клубится белый дым. Из-за дыма пока ничего не видно...

Но вот дым рассеялся.

Петька промахнулся. Фигуры уж близко около берега... Вот одна прыгнула в лодку... Торопливо отпихается веслом от берега.

Другая фигура вскакивает в воду по колени, схватывается руками за борт, тащит лодку.

Петька выстрелил еще раз... Опять промах.

А лодка уже плывет...

Быстро ее уносит течением.

—Дядя Семен!

— Погоди... догоним...

Голос у Семена глухой, словно надорванный.

Он опять целится... Только не по лодке.

Выстрелил и встал.

— Готово!..

Теперь Петьке видно, как с гребня откоса катится какой-то комочек. Он различил на мгновение кувыркнувшиеся в воздухе ноги... потом опять все слилось, смешалось и спуталось... Комочек затянуло пылью.

— Двое их там было, — говорит Семен. — Обоих... А и хитры ж... Схватись они со мной все разом, может, ни один бы не ушел... А теперь самый-то главный поминай, как звали... Да, небось, и золото унес.

— Да вы бы по нем стреляли, — говорить Петька.

Семен смотрит вдаль, в сторону откоса, молча, нахмурившись.

— Нда—говорить он, —а с откоса-то в меня. Сперва их было нужно, а этих мы догоним. Я думаю так: они только на откосе для того и засели, чтоб дать этим уйти...

Он крестится, пробует ногою край обрыва, потом осторожно заносит ногу. вниз...

Из-под ноги сыплется песок, мелкие камешки, земля.

— Не сверзнитесь! —кричит Петька.

Семен опять крестится... Медлить некоторое время и выбирается снова на берег обрыва.

— Небось, у них есть тут дорожка, сами-то ведь как-нибудь лазили же ведь?..

Он вопросительно взглядывает на Петьку.

— Надо поискать.

И идет по краю оврага.

Дорожка, действительно, нашлась и совсем недалеко... Обрыв здесь был не так крут и спускался книзу уступом. Отсюда уже добраться до реки не представляло большего труда... Порядочно пришлось только повозиться с медведем, потому что он ревел, упирался и ни за что не хотел сразу

переместиться с одного уступа на другой...

Все время его пришлось понукать, подталкивать, дергать за шиворот.

Кое-как, наконец, добрались до ровного места.

Под ногами была глинистая почва, словно нарочно засыпанная сверху мелкими разноцветными камешками...

Камешки визгливо гремели и скрипели под ногой.

В нескольких шагах бежал ручей, скорее речка, очень полноводная и довольно широкая.

Вода была почти наравне с берегами и хлестала в берега, перекатываясь временами через край. Река словно дышала. Словно её синяя грудь вздымалась в бурном порыве. Словно ей было тесно в берегах...

Белая пена неровными клоками плыла посередине... В некоторых местах ее прибивало к берегам, и она собиралась у берегов легкими хлопчатыми клочьями, подобными белому гусиному пуху...

Большая, на несколько человек, лодка с веслами в уключинах, наполовину втащенная на берег, чуть-чуть колыхалась под напором воды...

Тихо скрипели уключины.

Около весел и под кормой вздутыми хлопьями медленно крутилась пена. Иногда ее отрывало от кормы, и она, кружась, плыла дальше по течению, разрываясь на более мелкие клочки...

Опять началась возня с медведем... На этот раз он сопротивлялся более энергично... Отправиться в плавание он, очевидно, не имел ни малейшего желания...

Семен решил плыть без него.

— Пусть он идет берегом!

— А догонит? —спросил Петька.

— Ну вот!.. Еще лучше... В случае если чего, так даст знать в роде как давеча.

Семен сел на весла, Петька на руль.

Лодка поплыла по течению быстро и легко, так что весла



пришлось оставить...

Семен поднялся и стал звать медведя:

— Васька! Васька!

Но медведь, войдя по брюхо в воду, только ревел, смотря ему в след...

— Васька, Васька!

Медведь, наконец, сообразил. Выбрался на берег и в припрыжку смешно и неуклюже, однако, довольно быстро, побегал вдоль берега, около самой воды, все не спуская глаз с Семена.

Скоро он нагнал лодку, снова попробовал было войти в воду, но сейчас же оставил это намерение и, затрусил берегом.

В лодке Семен нашел несколько небольших мешков с рисом, топор, пилу, узелок с бельем.

Золотоискатели, очевидно, уже готовились покинуть заимку...

Семен пошарил еще под сиденьем на корме и вытащил оттуда пучек смоляных факелов.

Эти факелы особенно привлекли его внимание.

Он показал их Петьке, встряхнул ими перед самым его носом и сказал, значительно надвинув брови:

— Видал?

И опять тряхнул факелами.

— Знаешь, что это?

— А что? — спросил Петька.

— А знаешь, что такое „гнус“?

Про гнус Петька слышал... Против них бессилён тигр, медведь и иногда даже человек...

Тигр—царь тайги, гнус—царь азиатской степи...

Гнус нападает скопом... Тысячами и миллионами собираются на необозримом степном просторе оводы, комары, мошки и накидываются яростно на путника, на зверя, на лошадь, на полевую мышь, на степного шакала...

От гнуса нет спасения...

Обезопасить себя от него можно только огнем и дымом...

И если человек, пустившись в глубину степи, не позаботится захватить с собой факела, особенным образом приготовленного, горящего долго и медленно и страшно дымящего, он погиб...

Гнус убьёт его, как муравьи убивают мышь, попавшую в муравейник...

— Гнуса, я знаю, —сказал Петька.

— А я, —проговорил Семен, нагибаясь и опять пряча факелы под сиденье, —знаю теперь, где искать твоего цирюльника... В степи отсюда одна дорога...

## XVIII.

— Петька, стой! К берегу!..

Семен схватился за весла и загреб ими, тормозя лодку.

Под веслами закипела вода. Весла изогнулись, как тростинки. Лодка сразу пошла тише.

Петька повернул руль...

В несколько взмахов Семен подогнал лодку к берегу.

— Они, —шепнул он, повернувшись к Петьке.

— Где?..

— И то, —сказал Семен, —так ничего не видно...

Он опять налег на весла, действуя ими теперь уже в обратную сторону.

Лодка кормой назад отошла немного от берега.

— Вот они...

И, схватив Петьку за рукав, Семен потянул его к себе, указывая вдаль вниз по течению.

— Видишь?

— Вижу, —шепнул Петька.

Беглецы были шагах в четырехстах... Издали, казалось, их лодка еле ползет по речке... Вдруг она совсем остановилась и через секунду вырисовалась ясно во всю длину.

Они тоже причаливали к берегу.

— Нам их только бы тут не упустить, —заговорил Семен, —а там уж я знаю. Правь вон к тем кустам.

Недалеко в реку вдавался небольшой мысок, поросший лозняком...

Два, три удара веслом—и лодка врезалась носом в лозняк, дрогнула, отошла немного назад, но Семен уже бросил весло и схватился обеими руками за ветки лозняка...

Лодка опять дрогнула и остановилась.

Семен выскочил на мысок...

Шумя лозняком, к нему подбежал медведь, но он на него цыкнул и замахал руками.

Медведь попятился, постоял немного, глядя то на Семена, то на Петьку, втаскивавшего лодку на берег, и лег.

Семен повернулся к Петьке.

— Вылезли!..

Петька закрепил лодку и подошел к нему...

— Вылезли?

Не поворачиваясь, Семен кивнул головой.

Через минуту он зашептал, все стоя к Петьке спиной:

— Надо идти за ними... Берегом пошли...

И, перепрыгнув через медведя, он побежал по мысу между кустами, немного согнувшись и балансируя винтовкой, так как под ноги постоянно попадались кочки и камешки.

Выбравшись на береговую полосу, он присел на корточки и, защитив глаза рукой от струившихся прямо ему в глаза солнечных лучей, глянул вдоль по берегу...

Золотоискатели были отчетливо видны. Беглым шагом они шли берегом речки; за ним двигались их тени, лиловые на прибрежном песке.

Долина здесь значительно расширялась. Потоки солнечного света лились на нее сверху. Река вдали в перспективе красных, желтых и коричневых падей сверкала и искрилась.

Семен махнул Петьке рукой. Потом, когда Петька подошел к нему, шепнул:

— Факелы захвати...

Петька сбегал за факелами.

— Теперь идем...

И он двинулся вперед, все также согнувшись, прячась за чахлый лозняк, попадавший на каждом шагу среди глыб камней, кочек торфяника и свалившихся с крутизны обрывов стволов деревьев.

Вслед за ним, в точности повторяя каждый его шаг, прыгал через кочки и камни его медведь...

Петька шел позади медведя.

Так в полном молчании подвигались они вдоль реки, друг за другом, не остановившись ни разу, не замедлив шага.

Прошло полчаса, час...

Солнце уж скрылось за деревья... Стало темнеть. Веяло сыростью.

Семен вдруг остановился и присел.

Тоже сделал и Петька.

— Должно, на ночлег стали, — шепнул ему Семен. — Слышь, Петька?..

Он повернулся и подпрыгал к Петьке на корточках, смешно выворачивая ноги.

— Мы так и пойдем за ними, — зашептал он; — может, у них тут еще где есть причал...

Беглецы, действительно, остановились на ночлег...

Но они не развели огня, вероятно, из опасения, чтобы огонь не привлек внимания погони...

Они, разумеется, могли ожидать, что погоня будет... Им, конечно, не было известно, чем окончилась перестрелка Семена с их самоотверженными товарищами...

Но, вероятно, они рассчитывали, что Семен был один и также охотился в лесу, как охотился один из них, несчастная жертва. Несомненно, они слышали Васькин рев и должны были предположить, что их товарищ наткнулся на медведя, которого выслеживал какой-то русский.

А потом русский стал стрелять в побежавших на выручку...

Было мало вероятного, чтобы один погнался за двумя... Но

они были осторожны...

По людям, сидящим у костра, так легко стрелять ночью...

Я не стану описывать всех трудностей пути, которые пришлось испытать Семёну и Петьке, и их косолапому спутнику в следующие пять-шесть дней,

Скажу только, что Семен ни на час не упускал из виду беглецов...

Он шел за ними по пятам.

Он не подходил к ним ни разу ближе четырехсот пятисот шагов, но всегда имел их на виду впереди себя.

В этом ему много помог его оптический прибор для стрельбы по дальним мишеням...

На шестой или седьмой день лес остался позади...,

Вокруг шумело и волновалось травяное море...

Вот она степь... до самого горизонта...

Трава еще далеко не достигла полного роста и сверкала пышной яркой зеленью.

Только вдаль она принимала голубоватый оттенок.

Зеленые волны перекачивались кругом... Издали навстречу плыли голубые волны.

Белые облака бежали по синему небу, и вместе с облаками скользили по земле их лёгкие тени, волнуясь на гребнях изумрудных волн...

Воздух был сырой и теплый.

От земли поднимались испарения; колыхалось и дрожало в горячей атмосфере над горизонтом трепетное марево...

В низинах кричали гагары, свистели чибисы, кулики.

Стройная косуля грациозно и легко, подняв острую мордочку и насторожив уши, пробиралась осторожно к озеру... Не колыхнется вода в озере... Озеро дремлет. Звенел ключ, скрытый в траве...

И казалось, зазвенит хрустальная гладь озера, если косуля коснется его ногой.

Кругом ни жилья, ни деревца...

Только на востоке на горизонте синее лес...

## XIX.

Требовалось много ловкости, много умения воспользоваться малейшими выгодами местности, чтобы идти по степи незамеченным по пятам двух людей, несомненно очень осторожных, очень отважных, проводших многие годы, полные опасных приключений и всяких случайностей в таежных дебрях.

Но Семен был травленный волк.

В степи он держался еще дальше от намеченной жертвы, чем в лесу.

Да здесь и не требовалось быть особенно близко к беглецам.

Степь не успела еще как следует зарости травой. Трава не поднялась. Человека видно было за версту.

Петьку Семен оставлял обыкновенно позади себя версты на полторы, пробираясь один со своим медведем в густой траве, по буеракам, руслам, ручьев, мелким кустарникам, попадавшимся кое-где по степи в низких местах.

Иногда он забирал далеко в сторону, пускался в брод через мелкие озерца, через болота.

Но ни на минуту он не упускал из глаз беглецов.

Петьке издали он представлялся совсем маленькой точкой, и он шел за этой точкой, тоже, как Семен, переходя в брод речки и озерца, сворачивая в сторону там, где в сторону сворачивал Семен...

Он тоже ни на секунду не упускал из глаз Семена...

Иногда на него нападало отчаяние.

„Да когда же, наконец, все покончится? “

Ноги у него болели. От пота и от грязи рубашка под пиджаком расплзлась и на швах, и на „живых“ местах... Давно немазанные сапоги ссохлись, загрубели и стали как деревянные...

По вечерам, когда японец и его спутник останавливались

на отдых, останавливался и Семен.

Тогда к нему под защитой сумерек подползал Петька.

Они закусывали все тою же сушеной козой и провизией, захваченной Семеном в лодке вместе с факелами, и спали поочередно.

Сперва Петька, потом Семен, потом опять Петька.

Утром Семен оставлял Петьку на месте ночлега, а сам шел дальше.

Петьке он приказывал сниматься только тогда, когда он Петьке едва будет виден...

Так прошло два дня.

Наступил третий день.

Петька тащился, напрягая последние силы и мало заботясь о том, видит ли его проклятый цирюльник или не видит.

Раза два, проходя небольшим болотцем, где только что прошел Семен, он увидел следы его ног:

С каким-то ожесточением пошел он по этим следам, словно давил их своими ногами...

Слезы набегали на глаза от усталости, от сознания бесцельности всех их блужданий с Семеном, от досады и невольной злобы против Семена.

Может, правда, эти манзы пойдут к себе в Китай или Японию...

Что же, и им туда идти, что ль?

И вдруг его кто-то крепко схватил за ногу.

—Стой!..

Из осоки, густо засевшей по краю болота, поднялся Семен.

— Стой! —крикнул он сдавленным голосом, и вцепившись изо всех сил в Петькину ногу, так как Петька, не сообразив сразу, в чем дело, то же изо всех сил рвался в сторону.

— Это я... Чорт!

Петьке, наконец, перестал вырываться.

Семен заставил его сесть.

— Отдохни малость.

Он принес ему из болота воды в шапке и велел умыться и намочить голову.

Петьке стало лучше.

Он даже улыбнулся Семену.

— Что вы, дядя Семен, ругаетесь?

— Теперь легче?

— Легче...

— Ну и ладно!.. Гляди-ка вон туда.

И он протянул руку по направлению к горизонту...

— Вон-вон... видишь... белеется...

— Вижу.

— Это—фанза... Мне-то в трубу хорошо видно... Они туда нырнули... Я видел... И оттуда не выходили...

— Что ж нам теперь нужно делать? —спросил Петька.

— Ждать, —сказал Семен.

— Чего ждать?

— Ночи...

Петька кивнул головой.

— Будем ждать, — повторил Семен. — Долго ждали, теперь немного.

Можно было подумать, что он сожалеет, что больше уж, может-быть, не представится надобности вставать чуть свет, идти, все идти, выбирая не ту дорогу, которая нравится, а, по-звериному, ища место, где можно было бы устроиться так, чтоб тебя никто не видел.

— Значит, будем сидеть тут до вечера? —спросил Петька.

Семен мотнул головою снизу-вверх.

— Ну вот, для чего? Посидим тут маленько и пойдем потихоньку, чтоб как солнышко на покой, и мы уж, слава тебе Господи, сидим под забором...

Он внимательно поглядел на Петьку.

— Ты не боишься?

— Нет, —сказал Петька.

— Может, стрелять будут.



— А мы разве не будем?

— Ну, молодец!..

Семен поджал ноги по-турецки и стал набивать трубку.

— Дядя Семен!

— А?..

— А потом что мы с ними сделаем?

— Потом...

Он подумал немного...

— Потом, известное дело, сейчас руки за спину...  
Пожалуйте-с. По начальству доставим. Ха! Разве я не знаю.  
Прежде вон при батюшке городничие были, а теперь—  
областному начальнику...

Петьку начинало клонить в сон. Глаза слипались.

— Сосни, — сказал Семен. — Ложись на коленку.

Петька положил голову на коленку, подложив ладонь под щеку.

Засыпая, он спросил:

— А у вас отец жив?

— Не знаю, — ответил Семён—я уж тут в лесах лет сорок... Должно, жив. С чего ему умирать?

Петька заснул.

Ему снился цирюльник-японец, какой-то старик, который называл себя Семеновым отцом и говорил, что раньше он был городничий, а теперь областной начальник...

И еще что-то снилось, какие-то манзы, какой-то ни то дом ни то гора...

— Вставай, — услышал он сквозь сон и потом опять более громко:

— Вставай!

Он открыл глаза. Наступал уже вечер. Большое красное солнце стояло низко над горизонтом. Короткие лучи впились в легкий туман, уже белевший чуть заметно над степью.

Опять они идут с Семеном по степи.

Впереди Семен, за Семеном медведь, а за медведем

Петька.

Семен верно рассчитал время.

Едва они сделали несколько шагов, солнце ушло за горизонт.

Кровавая заря пылала на западе.

Скоро и заря потухла. Стало совсем почти темно...

— Стой—шепчет Семен и оглядывается по сторонам. —  
Господи Иисусе Христе!..

Он крестится.

Тихо. Петька слышит только шуршанье Семеновой кожаной куртки, когда он крестится...

— Заблудились, — снова доносится до него голос Семена.  
— Петька, слышь?

Семен дергает его за рукав...

— Ах ты Господи!..

Петька вздрагивает.

— Ой, дядя Семен!

Он прижимается к Семену плечом. А кругом тихо, тихо...

Тихо и темно...

Семен берет влево, вправо, приседает, приглядывается, всматривается в непроглядную темь...

Ничего не выходит.

Заблудились!

Проходит минута, другая. В степи по-прежнему тихо.

— Петька!

— Что вы? —шепчет Петька.

— А ты еще говоришь...

Голос у Семена обрывается... Он молчит секунду... Но эта секунда кажется Петьке вечностью.

Может Семен услышал что-нибудь?.. Что-нибудь сообразил?

— Нет не без того, что этот твой проклятый цирюльник сделал...

И опять тишина.

Что такое сказал Семен?.. Про что он говорить? Что

сделал цирюльник?..

Томительная пауза...

Петька вдумывается в Семеновы слова, хочет проникнуть в их смысл... Но слова улетели... Их больше нет. Вместо них тишина...

— Он напустил... Он наколдовал.

Голос у Семена дрожит.

— Господи, —шепчет он, — Господи Создатель мой...

Он крестится.

Опять шуршат рукава его куртки.

Но Петька не верит в колдовство.

— Враки, — говорить он. —Враки!

И теревить его за рукав.

— Дядя Семен!

—Чего ты?

— Что вы, будет вам...

Семен молчит...

— Неужели вы верите?..

Семен с сердцем отдергивает руку.

— А чтож это? По-твоему, я виноват!

Снова он крестится.

— О, Господи, а может...

Так они и уснули в степи.

А утром их ждала большая неприятность...

На них напал „гнус“...

Пока они разжигали факелы, миллионы насекомых, всех видов, всех пород *жалящих*, облепили их черным слоем...

В глазах стало темно от окружившего их живого облака.

Солнце, казалось померкло...

Мгновенно кожа на лице, на руках покрылась волдырями... „Гнус“ жалил и через одежду, даже через кожаный пиджак Семена...

Даже в густую шерсть медведя забрался, и бедный зверь с ревом сначала встал на задние ноги, потом опустился на четвереньки и, наконец, стал кататься по траве, царапая

лапами искусанную морду.

Наконец, факелы запылали.

Густыми клубами повалил от них черный удушливый дым...

„Гнус “стал ослабевать... Потом и совсем отстал.

Но на Семена и Петьку страшно было смотреть... Лица их представляли один сплошной волдырь... Гнус забивался и в сапоги, и ноги у обоих так распухли, что трудно было снять сапог, чтобы осмотреть ноги...

Спина, грудь, руки, ноги, — все вздулось и распухло...



— Эй, земляки! что затеяли!

К ним подъезжал казачий разъезд, привлеченный дымом от факелов.

Они объяснили, сообщив, между прочим, и о „цирюльнике “...

Их отправили на пункт.

Оправившись от ран, нанесенных гнусом, Семен и Петька поступили охотниками в один отряд.

Собственно, Петьку подбил поступить в охотники Семен, который и нападение гнуса и то, что заблудился тогда ночью, приписывал колдовству и в глубине души решил, что такие вещи прощать нельзя.

## XX.

Необозримая песчаная равнина...

Далеко назади остались благодатные степи Уссури и восточное побережье Амура...

Кругом дико и неприятно. На горизонте синее гряда невысоких гор.

Переходя с места на место с отрядом, куда они зачислились, Петька и Семен очутились, наконец, в самой глуши этих почти бесплодных диких степей...

Теперь они и от своего отряда далеко.

Они вызвались, вместе с одной еще отчаянной головой, пробраться в тыл передовым японским разведочным отрядам.

Новый их товарищ, бывший горнозаводский рабочий, слесарь, Кузьмин, худой, длинный, как жердь, с плоской грудью и острыми плечами; он почти одного роста с Семеном, но он кажется выше его.

Шея у него тонкая, головка с кулачок. На ходу он все поводит шеей снизу-вверх и вместе с тем вперед.

Маленькие с красноватыми веками и редкими ресницами глазки пристально вглядываются вдаль. Идет он какой-то раскачивающейся походкой; длинные руки болтаются беспорядочно по сторонам тела, как у бумажного дергуна.

Все—и Семен, и Петька и Кузьмин—одеты по-китайски: в китайских куртках и юбках.

Сзади из-под соломенных шляп висят черные блестящие косы.

В таком наряде их трудно, почти невозможно, отличить от китайцев.

Они уже имели несколько встреч с китайцами...

Несколько раз уже Петька считал свою жизнь на волоске,

свою гибель неотвратимой.

Но все обошлось благополучно.

Семен великолепно говорил по-китайски. Кузьмин тоже отлично понимал китайский язык.

А про Петьку они говорили:

— Немой.

Петьке так и приказано было, чтобы он сказывался немым...

При первой же встрече с китайцами Кузьмину показалось, что это, пожалуй, мало, что Петька немой, и он добавил от себя сверх уговора:

— И глухой.

— Отчего? —спросили китайцы.

— С перепугу.

И Кузьмин стал объяснять дальше...

— Слышал тут не далеко недели две назад была драка? ...

Хунхуз напал...

— Знаю, была драка... Ночью?

— Ночью.

— Как же знаю...

— Его и напугали... Из ружья в него стреляли. А он... где ему! Он мальчик... Так сразу оглох и онемел.

В другой раз китайцы, не удовлетворившись этим объяснением, вздумали было „мало-мало“ попытать Петьку...

Но китайцы были безоружны, и их было всего трое.

В крайнем случае кто-нибудь, Семен или Кузьмин, мог вытащить из широчайших рукавов своей кофты револьвер.

—Что-о? —сказал Семен, выступив вперед и сжимая кулаки, —он мой племянник.

И, подступив к китайцу вплотную, он поднес свой кулак, величиной, пожалуй, с небольшой арбуз, к правому своему глазу и, прищулив левый, словно прицелился из-за кулака правым.

— Ты видел это? ...

Потом повторил опять внушительно:

— Племянник он мой, вот что.

— Племянник, — сказал и Кузьмин, тоже выступая вперед и становясь впереди Петьки. Подумав минуту, он кашлянул в ладонь и, протянув затем перед собой руку, поманил китайца пальцем.

— Ну-ка ты...

— Ну? — сказал китаец и уставился на Кузьмина, хмуро сдвинув тонкие черные брови.

— Ты за него?

Китаец скользнул глазами в сторону, отворачивая в то же время лицо от Кузьмина. Сразу лицо у него посерело, точно тень набежала на лицо.

— То-есть как за него? — крикнул другой китаец.

— За русских? — спросил Кузьмин.

Китаец молчал.

— То-то видно, что за русского, — продолжал Кузьмин; — нас и без тебя русские разорили, а ты еще пытаться собираешься.

Китаец попятился.

Кузьмин поднял руку, согнув ее в локте, и потряс кистью руки в воздухе, выставив указательный палец вверх.

— Знаю я тебя! Гляди...

Теперь уж и все три китайца попятились разом и разом замахали руками.

Потом один сказал:

— Мы думали, он—русский.

И ткнули пальцем вперед в сторону Петьки.

— Говорят тебе — племянник! — крикнул Кузьмин. — Вон его племянник.

— Мой племянник, — проговорил Семен.

— А вы не хунхузы? — спросил китаец.

Семен поглядел на Кузьмина, а Кузьмин на Семена.

— Гм, — сказал Семен.

— Гм, — сказал Кузьмин.

Потом они оба разом взглянули в лицо китайцу, сдвинув брови, и разом же крикнули:

— Что-о?

Они понимали друг друга с одного взгляда и решили по молчаливому соглашению держаться с китайцами так, чтобы китайцы могли, пожалуй, только, подозревать в них хунхузов и ни в каком случае не быть уверенными что перед ними действительно стоят хунхузы.

Они знали, что китайцы, как и те, что на стороне русских, так и те, что помогают японцам, одинаково боятся хунхузов.

— Вот дойдем до японцев, — заговорил Семен, — так они вам покажут, как пытаться.

Щеки у него побагровели.

— Я вас... погоди только!

— Кто мы, — сказал Кузьмин, — это до тебя не касается.

Он принял важный вид.

Китайцы снова замахали руками и стали кланяться.

Потом один спросил:

— Вы за японцев?

— А ты за кого? — в свою очередь, спросил Кузьмин.

Китаец потупился.

Тогда выступил вперед Семен.

— Я вижу, — проговорил он, — что ты умный человек. Ты меня не знаешь, а я тебя... Так?

— Так, — сказал китаец.

Семен повернулся вправо и махнул рукой в ту сторону.

— Там—русские.

Затем махнул рукой влево.

— А там японцы... Так?

— Так.

— А мы посередине.

— Посередине, — повторил за ним и китаец.

— И не знаем ты меня, а я тебя... Так?

— Не знаем...

— И значит, ты умный человек, когда молчишь. Китаец снова опустил глаза.

— А я....



И тут Семен подбоченился.

— А я умней тебя, потому что знаешь, что? Китаец исподлобья взглянул на него.

— Что? — произнес он нерешительно.

— Я! — ни за кого! Пусть их дерутся.

И, повернувшись к китайцам спиной, он сказал Кузьмину:

— Пойдем...

Потом, взяв Петьку за плечо, слегка толкнул его в плечо ладонью...

## XXI.

Экспедиция Семена и его товарищей в тылу неприятельских позиций продолжалось около недели.

На третий или на четвертый день им пришлось иметь стычку с хунхузами...

Это было первое серьезное дело, в котором Петьке довелось встретить смерть лицом к лицу.

Все трое только что расположились на отдых в неглубоком овражке, заросшем чахлым корявым кустарником.

Кузьмин стоял настороже, спрятавшись между кустами на краю обрыва, Семен и Петька закусывали. Потом Кузьмина должен был сменить Петька. Ночью вызвался сторожить Семен.

Закусив, Семен расположился на отдых, намереваясь уснуть часа два, пока не стемнело еще, а Петька, сидя возле него, осматривал свой револьвер, ожидая, когда Кузьмин, простояв известное, время кликнет его на смену...

Вдруг к ним торопливо, сторбившись, вобрав голову в плечи, держа револьвер в одной руке, а другой придерживая на голове соломенную китайскую шляпу, подбежал Кузьмин.

Но взглянув на Петьку, он направился прямо к Семену и схватил его за плечо.

— Семен!..

Он тряхнул его за плечо...

Чтобы не беспокоил шум ветра и свет солнца, Семен

надвинул на голову с затылка воротник курмы и закрыл полями шляпы лоб и глаза.

Когда окликнул его Кузьмин, он сдвинул шляпу кверху и глянул на Кузьмина из-под шляпы одним глазом.

— А? — сказал он.

— Хунхузы, — проговорил он оперся рукой о землю и, закусив губу, поглядел через плечо назад вверх по берегу оврага, в сторону, откуда прибежал.

Семен вскочил.

— Где?

Но Кузьмин с силой сейчас-же дерну, его за подол юбки.

— Что ты! — зашептал он, вдруг съежившись, подняв плечи и еще более вобрав в плечи голову.

Он опять дернул Семена за юбку.

— Садись. Они тут недалеко.

Петька, поднявшийся было вслед за Семеном, присел опять, как сидел раньше—на корточки. Затаив дух, он уставился на Кузьмина.

Семен тоже присел.

— Не далеко? — обратился он к Кузьмину.

— Вон тут...

И Кузьмин махнул рукой неопределенно куда-то в сторону и вверх...

— На бугорке сейчас, — добавил он.

Семен махнул головой.

— А знаю...

В степи около них только и был один бугорок.

— На бугорке, — повторил Кузьмин, — я это смотрю, едут...

— Много? — спросил Семен.

Семен, поднявшись, также сгорбившись, глянул поверх кустов, вытянув шею; потом чуть-чуть выпрямился.

— Пятеро, — шепнул он.

Семен приподнялся тоже, так же, как Кузьмин, согнув спину и вытягивая шею...

И сейчас же вся его коренастая фигура словно осела вниз, словно сократилась.

— И то пятеро.

Он поглядел на Кузьмина.

— Как быть! — произнес Кузьмин...—А?..

— Сюда едут...

— Прямо на нас.

Семен обернулся к Петьке.

— Петька! не боишься?..

— Нет, — сказал Петька.

Он уже слышал глухой топот лошадиных копыт.

— Нет, — повторил он.

По спине у него побежали мурашки. Сразу во рту стало сухо, будто изнутри пыхнуло жаром и будто, потому что во рту было сухо, язык ворочался с трудом. Кровь стукнула в виски.

Но страха, того, чтобы сейчас броситься бежать, он не испытывал.

И он повторил опять:

— Нет.

Еще слышней затопали копыта.

— Ползи за нами, — сказал Семен.

Кузьмин тоже через плечо взглянул на Петьку.

— Поспешай.

И согнувшись, между кустами стал взбираться вверх по откосу оврага...

Семен шел рядом с ним, как он, согнувшись, вытаскивая на ходу револьвер из рукава кофты.

— Поспешай! Поспешай, — еще раз шепнул Кузьмин.

Но Петька был уж около Семена.

Семен на минуту замешкался, вынимая револьвер. Петька его обогнал.

Он слышал, как стучит его сердце, как стучит кровь в висках. Казалось, кровь стучит громче, чем стучат за кустами лошадиные копыта.

Вот и край оврага.

Он взглянул на Кузьмина. Кузьмин уж вытянулся во всю длину между кустами.

Ладонь левой руки он подложил под локоть правой. В правой у него револьвер...Он держит револьвер близко около самого, носа.

— Прицеливайся лучше, —шепчет сзади Семена. Потом Петька чувствует, как Семен сзади схватил его за ногу, за каблук сапога.

— Петька! назад... Пусти!

Он продвигается на животе мимо Петьки, ближе к Кузьмину.

— погоди, давай вместе...

О, как громко стучит кровь в висках!.. Слова Семена вспыхивают и погасают, оставляя в сознании слабый след.

Но Петька во всем повинуется Семену.

Семен словно передвигает его своими словами с места на место.

— Петька, равняйся. Ложись с нами рядом... Видишь, вон...

Хунхузы видны отчетливо на темном фоне степи. Трое едут впереди, помахивая нагайками. Ружья у всех за плечами. Должно-быть, они совсем не ждут нападения.

Берданки, —снова слышится шопот Семена... Кузьмин поворачивает голову.

— Пибоди, (Пибоди—ружье старого образца, теперь уже не употребляющееся в русской армии) —говорит он...

Но Петька не может разобрать берданка ли у хунхузов, или пибоди: видны только приклады да концы стволов.

А хунхузы все ближе и ближе.

Вот уж совсем близко... Шагов шестьдесят.

— Петька!..

На секунду Семен умолкает, затем шепчет снова:

— Бей, который против тебя.

Он поворачивается к Кузьмину.

— Ты крайнего, а я своего—среднего.

— Ладно, — шопотом откликается Кузьмин...

Три револьвера стали прямо против надвигающихся всадников.

Петька во всем подражает Семену. Кузьмин приготовился стрелять лежа, с упора, придерживая руку, в которой был револьвер, снизу под локтем другой рукой, а Семен целил по противнику сидя, подняв левую руку, согнутую в локте почти в уровень с подбородком, и положив револьвер на сгибе локтя.

Точно так же сделал и Петька.

— Слушай команду, — шепчет Семен. На секунду он умолкает, потом говорит отрывисто уже более громко.

— Ребята!..

Он словно выстрелил этим словом. Словно он долго его искал, наконец, нашел, и оно выскочило у него сразу, само собой.

— Пли!..

Почти одновременно раздались три выстрела.

Двое из ехавших впереди хунхузов повалились с седел. Под третьим лошадь взвилась на дыбы.

Это был Петькин хунхуз... Петькина пуля попала не в хунхуза, а в лошадь, смертельно ее ранив... Лошадь, сейчас же дав „свечку“, т.-е. взвившись на задние ноги, грохнулась на землю, придавив всадника....

Один из хунхузов выстрелил тоже... Другой, нагнувшись вниз с седла, старался помочь выбраться тому, которого примяла лошадь, лежавшая теперь неподвижно, вытянув ноги и шею.

—Пли! — командует Семен.

Новый залп и Петька, на этот раз не успевший выстрелить, видит, как на земле рядом с убитой лошадью бьются в предсмертных судорогах три человеческих фигуры, а шагах в двадцати впереди мчится всадник в синей кофте.

Кофта на спине надулась пузырем. Головы совсем не видно.

—Бей вслед! — кричит Семен...

Петька вскочил, прицелился в это самое удаляющееся от него пятно.

Глухо стукнул его выстрел. Синее пятно затянуло дымом на минуту, и потом Петька уже не увидел синего пятна.

Лошадь мчалась по степи одна.

## XXII.

До сих пор Семен выдавал себя и своих товарищей за мирных китайцев...

Теперь ему в голову пришла другая мысль:

— Станем хунхузами...

Кузьмину это пришлось по сердцу.

— Эге, — сказал он.

Впрочем, он сейчас же одумался.

Он щелкнул себя пальцами по лбу и потом указал на Петьку:

—А он?..

Но у Семена на все был готовый ответ.

Он только присвистнул.

— Петька-то?

— Да, Петька.

—А ведь он же немой.

—То-то что немой, да не очень. Опять придерутся.

Семен показал кулак.

—Видал...

И стал взбираться на лошадь.

— Бог не без милости, казак не без доли, — заметил он уже сидя в седле...—То-то!

И потом обратился к Петьке:

Петька, пойдешь с нами?

— Пойду, — ответил Петька.

Он испытывал снова какое-то странное состояние. Ему было и жутко, и весело.

— Пойду, — сказал он.

—Ну, садись.

От хунхузов осталось три лошади. Каждому значит по коню. В этом Семен точно видел перст судьбы.

— Зачем-нибудь-же, — заметил он, — подстрелили мы только одну лошадь, а другая сама ушла, а осталось три. Садись ты, слесарь...

Кузьмин и Петька тоже взобрались на лошадей.

— Хорошо-то оно хорошо, — заговорил Кузьмин — а после, гляди, Семен, как бы чего не вышло...

Семен хлестнул лошадь нагайкой и выехал вперед.

Кузьмин тоже стегнул своего коня.

—То-то я говорю, — продолжал он, — как бы того...

—А что выйдет-то?

Семен оперся рукой о седло и повернулся к нему...

—Ну?..

— Мало ли что...

—Не догадаются...

—А как догадаются?..

—Не догадаются, — с уверенностью сказал Семен; — первое, что найди они тут этих хунхузов... Сейчас, конечно, кто убил? Тогда так, а то пойд ищи их.

Тела убитых хунхузов, действительно, было трудно найти, потому что Семен распорядился закопать их в песок и сверху навалить камень, оказавшийся поблизости.

—Не ехать же нам, назад, — заметил он.

—Зачем назад...

—Значит, как же? Значит, парня одного пустит? Кузьмин заскреб в затылке.

—Не знаю, уж совсем не знаю.

—То-то и дело. Всем надо ехать.

Семен опять обратился к Петьке.

—Петька!

Что вы, дядя Семен?

— Может, нам тут еще и твой цирюльник попадется.

Петька усмехнулся.

— Да ведь вы же говорите, он колдун.

Лицо у Семена омрачилось.

—Ну!

И, пошевелив бровями, он заговорил, отводя глаза от Петьки и теребя пальцами гриву лошади:

—Колдун, колдун... может, и колдун... А ты знаешь, у кого я был на той: неделе?.. Ты, брат, не смейся... Да...

—У кого?

Но Семен словно его не слышал.

Он продолжал, даже не взглянув на Петьку:

— Да, брат, ты не смейся... Они это могут, они такой народ, уж я знаю...

И вдруг он встряхнул головой.

— Ты спрашиваешь, у кого?

Он пристально поглядел ему в глаза.

— Да, у кого?

— У шамана! (Шаман—колдун у сибирских инородцев.)

И Семен подбоченился.

— Вот, брат, у кого. Тут, брат, живет потихоньку. Один купец тутошний выписал.

— Русский? — изумился Петька.

—Зачем русский... Не знаю какой, а только выписал.

— И вы ходили?

— Говорю, ходил.

— Ну, а он?

— Шаман-то?

Семен снова опустил голову.

— Э, брат...

Голос у него стал тихий. В усах мелькнула улыбка. Так люди улыбаются самим себе, своим собственным мыслям.

Снова он тряхнул головой.

— Он, брат, меня отчитывал.

— Как отчитывал?

— А так, колдовал...

— Ну те?..



—Вот тебе и ну те! Заколдовал...

Семен стал серьезен.

— Да как заколдовал? — вмешался в разговор и Кузьмин.

—Насчет удачи, — ответил Семен... —Насчет того, значит, что все у нас будет как следует.

Он остановил на Кузьмине долгий взгляд.

— Вишь ты, —сказал Кузьмин. — Насчет удачи.

— Я ему говорю, дескать, так и так, идем мы трое на опасное дело... да... Ну, конечно, рассказал ему все... А он сейчас: пожалуйста сюда. Завел в подвал и стал колдовать.

Он вздохнул.

— Ну!..

— Ну, и теперь, значит, ничего не бойся.

Он поглядел на Петьку.

— Не робей, Петька!

— Да я и так не робею, —отозвался Петька.

Семен, задумчиво уставившись, как раньше, в лошадиную гриву, заговорил ровным, тихим голосом:

— А насчет удачи, так все в уме держал этого японца, что с золотом. Потом у него спрашиваю:

„Будет удача? “

Говорит:

„Будет “...

Они уж далеко отъехали от места схватки с хунхузами.

Начинало темнеть. Великая, необъятая степь, казалось стала еще тише, еще безлюдней. Вдали рдели слабым розовым светом вершины гор...

— Спать надо, вот что, —закончил Семен свое повествование о шамане.

Со следующего дня начались дни самых рискованных предприятий, до которых только может додуматься человек, твердо верящий в свою звезду.

А Семен в нее верил.

Он не побоялся даже примкнуть к шайке хунхузов, в предводителе которой узнал с первого же взгляда хорошо,

конечно, известного уже читателю „цирюльника“. Только благодаря темноте ночи, Петька, может-быть, не возбудил подозрения в хунхузах. Кроме того, еще Кузьмин посоветовал ему прикинуться больным.

Шайка хунхузов была небольшая, человек в пятнадцать. Для всех этих пятнадцати человек у Семена хватило папирос из серебряного портсигара, оброненного когда-то во время борьбы с ним несчастным цирюльником.

Папиросы сделали свое дело.

Они, действительно, оказались не совсем обыкновенными папиросами.

После того, как покурили хунхузы, Семен мог взять их голыми руками: все они заснули один за другим, как под хлороформом.

„Цирюльника“ в его палатке, конечно, пришлось брать с боя, но что он мог сделать один против трех! Через три дня, связанный по рукам, он был уже в русских руках.

\*\*\*

Семену в его подвигах помог только, разумеется, случай да безумная его храбрость, но он не раз говорил, подмигивая Петьке:

— А что, вот тебе и шаман!

Вот тебе и шаман...

В одной стычке Семен был ранен. Правда, рана была пустячная (Семену только слегка повредило щеку), но Петька все же имел право сказать ему:

— А что, дядя Семен, вот тебе и шаман... Шаманил, шаманил, колдовал, а как подошел случай, и шаман не помог.

Семен ничего не ответил на это, только нахмурился и стал мрачно крутить ус...

# Военные рассказы

## „Серый герой“

(Рядовой Рябов.)



### Глава I.

Если вы зайдете в казармы Чембарского 284 пехотного полка, вам может-быть бросится в глаза повешенная на самом видном месте картинка, изображающая казнь рядового этого полка, Василия Рябова.

На картинке Рябов представлен стоящим на коленях у края могилы, только что вырытой.

Картинка ярко раскрашена.

На куче желтого песку около могилы валяется заступ... Мрачно чернеет могила... Синее заступ; лиловые тени лежат на песке от комьев глины и серых камней, выброшенных вместе с песком из ямы.

Против Рябова взвод японских пехотинцев с ружьями. Рябов крестится. Глаза устремлены вверх...

Взвод японских пехотинцев ждет, пока Рябов окончит молитву.

Художник, нарисовавший эту картинку, не присутствовал, конечно, при казни Рябова.

Рябова расстреляли в японском лагере... А в японском лагере, если и были художники, то уж никак не русские.

Картинка, украшающая казармы Чембарского полка, вне всякого сомнения, нарисована русским художником.

Он, этот художник, вернее рисовальщик, хотя сам может-быть нигде дальше Москвы не был, — очень хорошо, по-видимому, представлял себе, как должен был умереть Рябов...

Простые русские люди всегда умирают одинаково, где бы ни застигла их смерть...

Известно, что японцы захватили Рябова в костюме китайского манзы. С лица Рябов, говорят, тоже смахивал на китайца.

Во время его странствий его, разумеется, не раз принимали за китайского мужика.

Чтобы уж на этот счет не оставалось никаких сомнений, и взвод японских пехотинцев твердо знал, в чью грудь сейчас вопьются его пули, перед ним обнажили эту грудь, показали крест.

О Рябове я знаю по рассказам одного из офицеров Чембарского полка.

Происходил Рябов родом из Пензенской губернии. Ростом был не высок, сухопар и худощав, но мускулистый, жилистый и страшно выносливый.

С первого взгляда, однако производил впечатление человека немного „зануженного“... Глаза имел серые с редкими бесцветными ресницами и моргал ими так, будто всегда они у него были запорошены пылью, и он только сейчас протирал их пальцами и от того веки у него чуть-чуть припухли и покраснели... Улыбался редко—доброй улыбкой, —и улыбка никогда не была у него яркой: она только вспыхивала слабо на бледных, как и лицо, немного крупных губах и сейчас же гасла.

Таких людей, как будто зануженных и вместе крепких как молодой корявый и жилистый дубок на Руси встретишь сколько угодно среди рабочего крестьянства и в Пензенской губернии, и в Орловской, и в Тульской...

Такие люди мало говорят и держатся в стороне. Но если уж запрягутся в работу, не ропщут, как бы тяжело не было и тянут лямку, в которую впряглись, не зная устали, не останавливаясь для отдыха...

Если жизнь есть труд постоянный и неустанный, то про них можно сказать, что начали они жить слишком рано, впряглись в свою рабочую лямку, еще не окрепнув как следует силами...

И доросли, и окрепли уже в работе. В работе они обтерпелись и выработали в себе эту им лишь свойственную неослабевающую скрытую энергию и веру в себя, в свои силы.

У Рябова в Пензенской губернии осталась жена и двое детей.

Хозяйство у него было небольшое. Кормились с трудом, но не голодали: Рябов „вытягивал“.

Временами приходилось трудно. Но Рябов не жаловался и не плакался...

И со стороны трудно было решить, тяжело ему жить, или нет.

Вряд ли и сам на это мог он ответить определенно: трудно ему или нет...

Жизнь представлялась ему, как поле однообразно-черное до самого конца, до горизонта... Она не печалила его и не радовала...

Он шел своей дорогой, своей бороздой, и, если иной раз тяжело ему становилось, говорил:

— Ничего, Бог милостив.

И „вытягивался“ еще больше изо всех сил, как мужицкий конь-пахарь, когда соха врежется вдруг где-нибудь на бугре в пересохшую, твердую как камень землю...

Прислушайтесь к мужицкой песне в поле в летний страдный день...

Кажется, временами оборвалась песня, замерла совсем, не дышет, молча тоскует.

А она дышет, она жива... Она затаилась только и— вслушайтесь—вьется где-то, пригибаясь низко-низко к земле между комьями и кочками, натуживаясь, забирая силу... И через минуту, глядишь уж, окрепла опять, опять поплыла над полями, все такая же монотонная, тягучая, долгая.

Так текла и его жизнь—как эта песня—монотонная, тягучая, не радостная и не грустная.

Был Рябов, одним словом, человек самый обыкновенный, рядовой человек, —сначала рядовой мужик, а потом рядовой солдат, —каких у нас сотни и тысячи...

## Глава II.

Как и другие солдаты, его товарищи, о японцах Рябов представление имел самое смутное, самое неопределенное...

Знал только, что с ними будет война, помнил царский манифест, но тоже очень смутно, через пятое на десятое, и составил по этому манифесту о японцах мнение, что начали они войну первыми и как-то „не по-закону“, не „по-благородному“.

В памяти у него сохранились из манифеста крепче других слова: „Хитрый враг“, „вероломный враг“, „коварный враг“.

Больше о японцах ему ничего известно не было.

В победе над ними, несмотря на всю их хитрость и коварство, он, однако, не сомневался ни на одну минуту.

Он был твердо убежден, что „наши осият“, утихомирят японцев, и все опять пойдет по-старому.

Если у него и было неприязненное чувство к японцам, то потому только, что японцы зря беспокоят добрых людей, не сидят себе смирно в своих хатах, как сидим, например, мы, и по дурачеству своему затевают войны как будто нельзя обойтись без войн.

С этими мыслями шел он на войну.

Война началась... Выяснилось, что „коварный враг" не только коварен и хитер, но и умен и силен. Генералы наши терпели поражение за поражением...

Полк, в котором служил Рябов, обливался кровью. Многих уже не было в живых, многие на всю жизнь стали калеки.

Временами Рябову казалось, что и его полк, и наша армия заблудились в чужой неизвестной стороне, как обоз в степи в зимнюю вьюгу.

Куда не ступишь, — всюду смерть... Крутят и воют свинцовые вихри, пышут в лицо пулеметы.

„Коварного врага" встречали обыкновенно там, где его менее всего ожидали.

Он обрушивался как снег на голову со своими пулеметами, скорострелками-пушками и „шимозами"...

Нужда „добыть языка", ощущалась на каждом шагу.

Для русского человека Манчжурия уж воистину темный лес. Всегда, однако находились охотники пуститься в какое-нибудь рискованное предприятие, попытать хоть, например, счастья „добыть языка" в этом лесу...

— Помню, — рассказывал мне мой брат, офицер, начальник разведочной команды при 10 корпусе, сам не раз с этой командой: ходивший „добывать языка" и раненый дважды во время этих экскурсий, — помню, сидели мы после обеда в палатке, пили чай



отмахиваясь от массы мух, наполнявших палатку, лезших в нос, глаза, забивавшихся под платье, и говорили о наступлении, о наградах, об убыли в товарищах...

Других тем для разговоров не было, да и быть не могло: мы были совсем отрезаны от мира.

Точных известий о неприятеле мы не имели. Изредка в лагерь залетали слухи, весьма разноречивые, впрочем, о его массах, расположенных впереди.

Мы уж перестали верить этим слухам.

Разведки не давали никаких результатов.

От времени до времени лишь становилось известно через дозоры, что видели японцев то там, то тут, стреляли, но безрезультатно.

Японцы бродили вокруг мелкими партиями, конными разъездами человек по восемь, по десять. От наших разъездов они ускользали бесследно и благополучно для себя, не оставив ни одного убитого, ни раненого...

Мы сидели в палатке, пили чай и говорили должно быть слово в слово о том же, о чем вероятно в это время говорилось во всех офицерских палатках...

И как всегда это бывает, когда соберутся несколько человек имевших возможность хорошо изучить друг друга и чуть ли не читающих друг у друга мысли, все сразу замолчали...

Кто-то затянул песню вполголоса. Это тоже всегда бывает, когда все переговорено и говорить больше не о чем и не хочется—кто-нибудь непременно начнет напевать и непременно вполголоса и как-то „в себя“, себе в душу...

И вдруг за палаткой: по биваку раздались голоса дневальных, что-то выкрикивавших.

Песня оборвалась.

Все прислушались. Но кроме монотонного выкрикивания ничего разобрать нельзя было.

Кликнули денщика.

— Что это там?

— Так что охотников вызывают на линию.

Мы застегнули рубахи, надели шашки и вышли из палатки.

Жара была страшная.

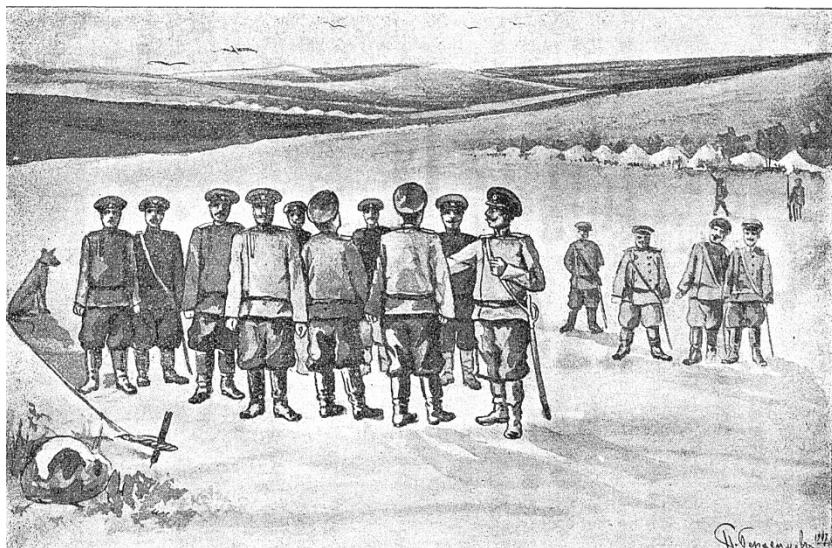
Около палатки командира полка толпились кучкой солдаты; суеился дежурный фельдфебель. Несколько офицеров стояли поодаль.

Фельдфебель спешно выстраивал солдат, что-то кричал хрипло, взмахивая и тыча в кучку солдат руками с широкими красными ладонями и сам весь красный от жары, с красным лицом, красной шеей обливаясь потом.

Когда он доложил дежурному офицеру, что все готово, тот на минуту скрылся в командирской палатке и выйдя сейчас же опять, стал на свое место, на правом фланге.

Мы подошли как раз в тот момент, когда он скомандовал:

— Смирно!



„Охотников“ было много... Ничего, однако особенного ни в лицах их, ни в выражении этих лиц не было... Все тут стояли самые обыкновенные солдатики... Они только подтянулись немного, „подобрались“, что сделали бы и во всякое другое время в ожидании появления начальства...

Каждый из них сознавал, разумеется, что его, например, могут послать добыть языка...

Дело рискованное в неизвестной стороне.

Однако все они смотрели, по-видимому, на это рискованное дело уж чересчур просто... И фельдфебель кричал на них и тыкал в грудь, выравнивая на линии, тоже так, будто не на почти верную смерть собрались они идти, а согнал он их к командирской палатке по какому-нибудь самому пустячному домашнему делу... Да еще втайне зол на них через эту адскую жару, особенно ощутительную здесь на линии.

И от того у него такие свирепые глаза, и так топорщатся усы, и голос такой хриплый и обрывистый...

Картина одним словом самая будничная из будничных.

При „проводах“, когда там далеко в России эшелонам, отправляющимся на театр военных действий, подносили иконы и говорили напутственные речи чувствовалось больше трагизма, чем здесь.

Но то был блестящий трагизм, праздничный, нарядный... Праздник прошел; наступили будни... На смену красноречивым ораторам выступили обыкновенные серые будничные люди.

Каждодневно во всех частях нашей армии „вызывались охотники“... Каждодневно не там так тут „на линии“ выходили и строились и в палящий зной и в тридцатиградусный мороз пензенцы, курыне, орловцы, оренбуржцы, готовые в огонь и в воду.

Всюду, от Харбина до Ляояна не там так тут монотонно и апатично с зевотой дневальные выкликали охотников, ругались фельдфебеля и денщики на вопрос офицера:

— Что это такое!

Отвечали флегматично:

— Так что охотников вызывают на линии.

И если „вызову на линию“ что и придавало торжественность, так появление на этой линии высшего начальства „при полной форме“, особенная звучность голоса командира и особенное выражение его лица, отвечающее по мере сил и способностей проникаться торжественностью, серьезности минуты.

### Глава III.

Мы знаем очень мало об этих серых будничных героях... Вернее, мы ничего почти о них не знаем.

Кое-что известно нам только о Василии Рябове.

А таких как Рябов было много.

Они были несомненно в каждой дивизии, в каждом полку, чуть ли ни в каждой роте.

И было бы обидно сознавать, что таким героем может похвастаться только один Чембарский 284 пехотный полк, что в одном только этом полку нашелся человек, сумевший „принять мученический венец“ так же просто, как просто и он и многие другие выпрашивались у начальства в разные рискованные командировки.

Их было много... И потому именно мы так мало знаем о них. К ним пригляделись, с первого же раза привыкли, и никогда никому не приходило в голову, что в жизни их и смерти может быть какое-либо геройство. .

Бороться с нуждой на полутора десятинах земли такое же геройство. Но разве кто-нибудь когда-нибудь думал об этом? Ведь тогда в герои пришлось бы записать целые губернии.

Заглядывал ли кто-нибудь в душу Рябова? А в душе у него была тоска и обида.

Нас били... Нас теснили шаг за шагом... Военная буря стонала и выла... Кровавый туман слепил глаза.

И как в метель, когда заносить снегом среди степи дорожную кибитку, как к этой загрузшей в сугробах кибитке, —спешил Рябов и спешили другие, как он, к командирской палатке...

—Ваше благородие, сидите тут, я погляжу.

Свистит и воет вьюга. Поплотней ямщик запахивает полость кибитки, окутывает ноги седока дорожным меховым одеялом...

—Теперь ладно! Сидите ваше благородие!

И потонул в белесой мгле.

—Гляди, не сбейся с дороги! —кричат из кибитки.

—Бог милостив!..

Я говорил уже, что Рябову казалось временами будто „мы“ заблудились в Манчжурии, ни дать, ни взять, как обоз зимою в степи.

Он пошел „пощупать дорогу“... Сам напросился.

И погиб...

На прощанье он сказал своему начальству, поглядывая на него любовно и помаргивая своими красными без ресниц веками:

—Я скоро ворочусь... Вы не извольте сумлеваться...

И видно было по выражению его лица и глаз, что ему хочется успокоить начальство не на свой счет, а на счет благополучного исхода своей экспедиции и... и может быть и всей этой незадачливой войны...

Он словно говорил глазами:

—Не извольте беспокоиться: как-нибудь вывернемся.

Вслух высказать этой мысли он не смел: нижнему чину рассуждать не полагается, нижний чин обязан лишь исполнять то, что прикажет начальство.

И он ушел... И с тех пор его не видели... Чембарский полк увидел его только много спустя... на картинке.

Трудно сказать, из каких источников сложилась среди солдат, приводимая в следующих главах легенда о похождениях Рябова в тылу японской армии...

Основанием ей может быть послужила картинка, вывешенная в казармах, описанная в первой главе этой повести о герое"!..

Говорят, слухом земля полнится.

Но я не понимаю положительно, каким путем могли появиться эти слухи...

Собственно, как слышал я от одного офицера, „подвиг" Рябова так и затерялся бы среди других подвигов, такого рода и никогда может быть о нем не узнала бы „вся Россия“, если бы японцы, расстрелявшие Рябова, не подбросили на наши позиции письмо с описанием его последних минут, и письмо это не увидел совершенно случайно один из наших военных корреспондентов...

Повторяю, таких героев как Рябов в последнюю нашу войну у нас было более чем достаточно, и никому в голову не приходило кричать о них...

Не следует, конечно, их и замалчивать... По моему мнению, Рябов простой средний рядовой русский человек... Таков приблизительно и весь наш народ и вся наша армия...

Я пишу здесь о Рябове... Но повесть о Рябове есть и повесть о тех многих погибших бесследно „охотниках", вызывавшихся от времени до времени на биваках „на линию“...

В легенде о Рябове может быть сконцентрировались смутные слухи о них, об этих охотниках, возникавшие в войсках неведомо, как и неведомою какими путями... В легенде между прочим рассказывается о том, как Рябов ради безопасности (чтобы как-нибудь не признали в нем христианина) закопал свой тельный крест в землю.

Было ли это так на самом деле, невозможно сказать.

На картинке, изображающей казнь нашего героя, крест висит у него на груди.

Весьма возможно, что при рассматривании картинки кому-нибудь пришла в голову мысль, что лучше было бы, если бы Рябов крест снял... Возникли толки о кресте, вспомнился может быть какой-нибудь эпизод со сниманием креста, действительно

имевший место в похождениях другого какого-нибудь „охотника“...

И в легенде прибавилась новая подробность.

Возможно также, что картинка не играла здесь никакой роли, а сам художник, отчетливо вырисовывая крест на груди Рябова, следовал лишь легенде...

Согласно легенде, Рябов хотя и зарыл крест в землю—умер, однако с этим же самым крестом на груди...

Вся остальная часть книжки посвящена легенде.

Я не старался передавать ее слово в слово... Я воспользовался ею лишь как темой и как готовой фабулой... Я старался лишь не погрешить против русского простого человека, заблудившегося в „незнаемой“ стороне...

Рябова я, в меру моих сил и способностей изобразил таким, как о нем сложилось у меня представление по рассказам людей, знавших его лично, не фантазируя от себя ни на йоту.

#### Глава IV.

Дверь в фанзу отворилась тихо, почти неслышно; из-за края двери выглянуло серовато-желтое, будто вылинявшее лицо с маленькими с припухлыми веками глазками, без жизни и блеска.

Глазки забегали по фанзе с предмета на предмет, остановились почему-то особенно долго ни одном из окошек, заклеенном промасленной бумагой... В этом окне бумага была прорвана.

Лицо было точь-в-точь как лицо китайского болванчика, выточенное из желтой старой кости или слепленное из лакированной терракоты.

За порог из-за двери шагнул невысокого роста человек в синей засаленной китайской курме и быстро, все продолжая оглядываться по сторонам, подошел к тому окошку, где бумага была прорвана.

Долго, не отрываясь, глядел он в окно, потом отошел от окна и сел на кан.

Опять он бросил быстрый взгляд по фанзе и вдруг встал и направился к двери, оставленной им при входе отворенною. Осторожно, крадучись, подошел он к двери будто в фанзе спал кто-то и он боялся разбудить...

Вытянув шею и опершись рукой о притолоку, он высунул голову за дверь, повел шеей из стороны в сторону и тихо, весь съежившись, потянул дверь к себе.

Затворив дверь, он так же крадучись, чуть слышно ступая по глиняному полу, направился к кану.

Он остановился около кана, полуоткрыв рот, повернув чуть-чуть голову в сторону двери. Глаза не мигали, две большие толстые морщины легли поперек лба над слегка приподнявшимися бровями.

Он прислушивался.

Смутно в фанзу доносился какой-то шум, глухой и неясный. Казалось, далеко где-то, в ущельях гор, между скал громыхая и стучаясь один о другой, перекатывались тяжелые камни.

Он повернулся и снова подошел к окну.

Так же, как и в первый раз, заложив руки назад, он прильнул лицом к промасленной бумаге.

До самого горизонта тянулась гладкая песчаная с чахлой травой степь. Солнце уже почти ушло за горизонт за невысокие горы. Захватив полнеба, горела заря.

Поднимая облака розовой пыли, через степь на расстоянии не более версты от фанзы, медленно вытянувшись длинной извивающейся лентой, то тяжело поднимаясь на возвышенности, то словно вдруг проваливаясь с усиливавшимся грохотом вниз в лощины, двигались одно за другим десятки орудий и сотни зарядных ящиков.

Орудиям и ящикам, казалось, не было конца... За пламенем заката трудно было разобрать то место в горах, откуда выползали эти орудия и ящики попережку с конными фигурами в синих плащах.



Словно из-за огненной завесы выступали грозные, неведомые, закованные в сталь чудовища. Когда орудия, выбравшись на ровное место, сворачивали влево вдоль гор, ярко на солнце красным отблеском сверкали их щиты.

Еще когда Рябов шел по степи, то издали, завидев фанзу и тянувшийся в отдалении обоз, по этим щитам и по синим плащам он сразу разобрал, что орудия—японские.

В нем тогда же мелькнула мысль о дозорах, которых он, быть может, не заметил, о передовых разведочных отрядах.

Он вздрогнул невольно и вперил глаза в даль степи. Но там только сверкали жерла орудий.

Он подумал было, что одинокая фанза может привлечь внимание японцев...

Но эта мысль была мгновенна, как вспыхнувшая и погасшая искра.

Сейчас же другая мысль загорелась в нем широким пламенем, охватившим всю душу.

Точно в душе вдруг занялась заря, и та первая мысль потонула в ней и истлела сразу.

— Сам Бог!..

Глаза заблестели... Казалось, пламя, охватившее душу, влилось в глаза, разлилось по всему лицу...

Кроме как в фанзе, все равно спрятаться было негде.

Сам Бог послал эту фанзу.

Он вспомнил, что одежда на нем китайская и, стало быть, он мало рисковал бы, оставшись открыто в степи.

Он все еще не мог привыкнуть к этой одежде, к тому, что он только изнутри русский, а снаружи китаец.

Когда он уходил в свое опасное предприятие, товарищи говорили ему:

— Рябов, ты бы крест снял: может, как выскочит.

А он отрицательно покачал головой.

С крестом он расстаться не мог.

И чем дальше уходил он в глубь Манчжурии, тем большее значение приобретал в его теперешней жизни этот небольшой тусклый медный крестик.

Все кругом было чужое, и степи, и люди, и деревни, и реки, и леса, и горы. Каждая песчинка в степи была чужая.

Все чужое! Даже небо, даже солнце!

Иногда ему казалось, что своего в нем осталось только душа да этот крест.

Крепко тогда прижимал он крестик к груди... На глазах выступали слезы.

Он решил заночевать в фанзе.

Солнце ушло за горы. В фанзе заметно потемнело, а скоро и совсем стало темно. И в степи тоже было темно.

Тяжелые колеса орудий уже грохотали где-то далеко, словно орудия провалились сквозь землю и с каждым мгновением проваливались все глубже.

Рябов лег на кан навзничь, заложив руки за голову.

У него не было никакого оружия, кроме небольшого ножа. Нож этот он держал всегда в рукав? курмы.

Так, обыкновенно, носят ножи китайцы.

Чтобы не мешал нож, он вынул его из рукава и положил сбоку около себя на кан.

Ни один звук не доходил теперь в фанзу извне, словно Рябов погрузился в могилу. В темноте перед ним слабо белела только бумага на окнах.

Рябов закрыл глаза. Весь день он был на ногах и весь день в тревоге. Правда, и теперь еще мог набрести на фанзу какой-нибудь неприятельский разъезд.

Но Рябов мало об этом думал.

Соображение о разезде выплыло в сознании смутно и неясно, как отголосок прежних страхов и опасений, и потонуло в душе, опустилось куда-то глубоко на дно, как тяжелый камень.

За сегодняшний день он страшно устал и намучился. И когда он вытянулся на кане во весь рост, через секунду он испытывал такое состояние, будто и сам он вместе со всеми своими страхами опускается куда-то глубоко-глубоко в тишину, в покой, в безмолвие. Веки сами собой напоззли на глаза.

Кругом было тихо.

И вдруг в тишине, где-то совсем недалеко, тут же в фанзе, затрещал сверчок.

Через минуту Рябов уж не мог сообразить, когда он в первый раз услышал сверчка: сейчас ли затрещал сверчок или уж давно трещать.

Широкая тихая радость разлилась в нем... Будто она спала в нем, а сверчок ее разбудил, и она пробежала трепетом по всему телу. Радость словно вошла в кровь.

А сверчок все продолжал трещать.

Трюк-трюк, трюк-трюк.

В сознании родились вдруг какие-то звуки, далекие и неясные. Чудилось, будто кто-то идет к нему издали с тихой лаской и шепчет что-то.

Что это?

Сверчок ли это или ворота скрипят?

И вдруг так ясно, как въявь, увидел он перед собой пожарный сарай в своем селе, и у ворот этого сарая сторожа с балалайкой.

Сторож настраивает балалайку, подвертывая колки, и от времени до времени трогает струны пальцами.

Трюк-трюк, трюк-трюк.

Дымом запахло и с дымом вместе блинами.

Потом перед глазами мелькнуло светлое. поле с черными проталинами, с черной, будто углем запорошенной дорогой.

Блеснуло голубое небо... Жаворонок запел.

Далеко остались степи Манчжурии, будто их никогда и не было вовсе и нет теперь.

Все глубже, глубже погружается он в покой и тишину, словно прячется в себя, уходит в свою душу...

А сверчок все трещит...

Теперь уж, кажется, он кричит громко, настойчиво, будто зовет кого-то издали.

— Иди, иди! Проснись!

И издали плывут знакомые звуки, знакомые картины. Тоненьким голоском заржал жеребенок, тархтит телега.

Дорога у них в деревне шла около речки. Вон она баба стоит около берега, подоткнув подол, по щиколотки, в воде, колотит белье пральником. Звонко стучит пральник.

Дьячок сидит около моста под ракитой с удочкой.

Ишь как сверкнуло! Рыбу выхватил.

Трюк-трюк, трюк-трюк!..

Или это не рыба?..

Все смутнее и неопределеннее становится мысль. Звуки и образы тускнеют. Вечер наступил.

А! Ишь как сыростью тянет. Перепел крикнул и умолк. Далеко в поле простучали колеса... Пахнуло спелой рожью. Мгновенно заплескала река о берег.

Все тише кругом.

Где-то слышно, как запирают ворота и говорят про что-то, а про что — не разберешь—глухо и неясно...

Совсем незаметно наплыл сон, будто темная бесшумная волна перекатилась через Рябова.

Засыпая, он опять услышал сверчка.

И казалось ему, что он маленький лет девяти-десяти, и лежит на печке, а под печкой трещит сверчок.

## Глава V.

Он и проснулся с этою мыслью, что он лежит на печке у себя в хате.

Потом набежали другие мысли сразу, как ветер.

Сердце сжалось томительной, долгой болью. Тоска глубокая и широкая, как море, всколыхнулась в душу.

Он чувствовал, что уходит из него что-то, что было ему дорого, как жизнь.

Тогда он съежился, подогнул колени, так что колени прились ему почти у живота, закрыл глаза и охватил голову руками.

Ему захотелось страстно, мучительно до боли почувствовать себя опять маленьким, каким он был лет двадцать тому назад, и вчера перед тем, как заснул.

Он нарочно и положение такое принял сейчас на кане, и глаза закрыл, и голову стиснул руками, весь трепеща одним желанием.

Но все равно душа его опустела. Из неё ушло все, что ласкало его вчера. На глаза набегали слезы.

Он прислушался, не трещит ли сверчок.

Теперь он хотел хоть этого, хоть того только, чтобы затрещал сверчок.

Но он лишь прислушивался; глаз он не открыл. Он знал, что очарование исчезнет совсем, как только он увидит внутренность фанзы.

И вдруг ясно и отчетливо он расслышал за стеной фанзы конский топот.

Тогда он вскочил с кана.

Нечаянно он задел за нож, и нож звеня упал на пол.

Он подхватил его и подбежал к окну.

Было уже утро.

В дырку в оконной бумаге он увидел четырех японских кавалеристов. Они направлялись через степь прямо к фанзе. Порой

копыта их коней звучали глухо, когда они выезжали на места, сплошь засыпанные песком. Тогда и кони шли тише, натягивая поводья, поводья головами, вытягивая шеи.

За спинами кавалеристов поблескивали тонкие коротенькие стволы винтовок.

Японцы были всего шагах в пятистах от фанзы. Проехав шагов сто еще вперед, трое из них остановились, а один продолжал подвигаться вперед легкой рысцей.

Желтая редкая пыль клубилась слабо под ногами его лошади. Слышно было, как звякают от времени до времени удила и стучается что-то через ровные промежутки металлическим стуком—должно быть приклад винтовки о луку седла.

На мгновенье Рябов задумался. Потом сунул нож в рукав курмы и опять лег на кан навзничь, разметав руки и закрыв глаза.

Он притворился спящим.

Сейчас у Рябова не было ни капельки страха. В нем была одна только злоба на японца. Зачем они японцы? Зачем их Япония и эта Манчжурия!..

Злоба еще сильнее заклокотала в нем; жгучим до боли огнем пробежала от сердца до крови по жилам и опять впилась в сердце.

Если бы не было Японии, не было бы и войны, потому что не с кем было бы воевать. Так ему тогда казалось.

Он стиснул зубы. И по мере того, как приближался лошадиный топот, все сильнее разгоралось в нем злобное чувство. Каждый шаг лошади, каждый стук её копыт отдавался в нем.

Он шептал трепетно, шевеля немного побелевшими губами:

— Поди, поди...

Топот прекратился.

Он слышал, как фыркнула лошадь и потом стук сапог, когда всадник спрыгнул с лошади.

Он придал лицу спокойное выражение, полуоткрыл рот и стал дышать ровно и тихо.

И когда он приготовился так, казалось ему, что он притаился сам в себе со своей ненавистью к японцу, как дикий зверь, чтобы, когда нужно, кинуться на свою жертву.

Скрипнула дверь.

Через секунду по полу раздались шаги, и Рябов почувствовал, как японец взял его за плечо и встряхнул, сиюсь приподнять в то же время.

Японец говорил вместе с тем что-то, но он не знал по-японски и почти не слышал его голоса.

Японец встряхнул его еще раз. Пора было проснуться.

И он проделал это, как будто бы действительно только что проснулся.

Он сел на кане, поставив ноги на край кана, и стал протирать глаза, зевая и ёжась как бы от холода.

Японец стоял прямо перед ним у самого кана.

Вдруг Рябов изо всей силы ударил его ногой под живот и в ту минуту, когда японец качнулся, вскочил и схватил его за горло. Вместе они упали на пол.

Японец умер у него под пальцами. Он задушил его.

Он не помнил, как это вышло. Не помнил он также, сопротивлялся ли японец или нет. О себе, о том, что японец может сопротивляться и ранить его как-нибудь, он тогда не думал. И лица японца он не видел тоже. Он сознавал только, что нужно как можно сильнее сдавить ему горло.

Наконец он разжал руки. Японец был недвижим.

Он выпростал из-под него его винтовку осмотрел наполнен ли магазин, и подошел к окну.

Те остальные три японца еще стояли на том месте, где остановились.

Они отлично были ему видны.

— Если бы сразу двух, — подумал он.

Он хорошо знал, как бьют эти японские винтовки. Если бы все три японца стали в линию один за другим, он при хорошем прицеле повалил бы их всех одним выстрелом.

Но японцы стояли кучкой: двое рядом лицом к нему, третий немного в стороне к нему боком.

Рябов перебежал к другому окну, проткнул в бумаге стволом винтовки щель и потом повел стволом вниз, раздирая бумагу.

Пригнувшись немного, он глянул, прищулив глаз, в образовавшуюся бойницу.

Разрывая бумагу в окне, он соображал, нельзя ли отсюда ударить из винтовки наискось по тем двум, что стояли рядом, так чтобы пуля захватила сразу обоих.

Он ошибся, однако в расчете. Японцы все равно и отсюда были ему видны так же почти, как из первого окна. Расстояние между окнами было не велико.

Рябов даже глянул в сторону направо: будь там еще окно, у него, может быть, и вышло что-нибудь...

Затем он опять перешел к окну налево.

В это время японцы съехались теснее. Они говорили о чем-то все разом. Глухо доносились их голоса.

Рябов положил винтовку на край подоконника и осторожно продвинул ее вперед до самой спусковой скобы.

Окно было невысоко от пола... Став на колени, стрелять можно было с упора, как с прицельного станка.

На подоконнике винтовка лежала совсем неподвижно. Охватив шейку приклада правой рукой и придерживая правую руку около кисти левой, он прицелился.

Стальной ствол винтовки сверкнул ему прямо в глаза серебряным блеском, когда он приложил приклад к плечу, и потух. Только одна мушка чернела на конце ствола.

Опять до него донеслись голоса японцев.

В какого?..



Японцы шевелились, заезжая один за другого. Лошади их дергали головами, мотали хвостами. Должно быть их кусали оводы.

Вдруг один выдвинулся вперед. Чёрненькая точка на конце ствола стала как раз у него против груди. Рябов нажал на спуск. Резко, как кнут по сырой земле, хлестнул выстрел.

Он видел, как японец припал головой на шею лошади, закрыв лицо ладонями. Должно быть, он повысил немного или в тот момент, когда спускал курок, японец нагнулся. Пуля попала ему в лицо.

В ту же минуту остальные два японца схватились за винтовки. Винтовки сверкнули в их руках сначала с боку с левой руки мгновенным как молния блеском, потом загорелись, остановившись неподвижно над головами лошадей.

Светлый белесый огонь двумя тонкими длинными струями сверкнул из стволов винтовок.

Рябов чуть-чуть посторонился.

Он слышал, как у него за спиной посыпалась со стены штукатурка. Пули прошли насквозь стену фанзы и ударились о противоположную стену. И сейчас же до него донесся сухой звук двух выстрелов: звуки выстрелов долетали до фанзы почти одновременно с пулями и одновременно с тем, как со стен посыпалась штукатурка.

Стены фанзы не представляли никакой защиты от японских пуль. Но он все равно отскочил от окна и стал с боку у правого края оконной рамы.

Опять за окном раздались выстрелы, опять посыпалась штукатурка. Пули пронизывали фанзу, как картонную коробку.

Единственное преимущество Рябова перед японцами было в том, что они его не видели. Они должны были стрелять наугад или целить по окну. Но теперь он стоял не у окна.

Прислонив ствол винтовки к раме окна, он снова прицелился... Но он не выстрелил, а опустил винтовку и, перебежав через фанзу,

спрятался за кан. Внезапно в голове у него мелькнул совсем особый план обороны... Что-то хитрое и вместе злое сверкнуло в его глазах.

За каном он мог считать себя совсем в безопасности. Стену и кан даже и японская пуля вряд ли пробила бы. Кан был сложен из кирпича и очень широк.

Сидя за каном с поджатыми по-турецки ногами с винтовкой на коленях, он медленно тер ладонь о ладонь, точно растирал что-то между ладонями. Смотрел он вниз и улыбался чуть-чуть. Глаза у него искрились, будто разгоралось в них что-то слабыми, мелкими вспышками.

И казалось, что он смотрит внутрь себя, в свою душу и убаюкает самому себе, своим собственным мыслям.

За окном опять затрещали выстрелы...

Тогда он вскочил и крикнул громко, словно от страшной мучительной боли.

Потом снова сел, как сидел перед тем, подогнув ноги по-турецки и положив винтовку на колени.

— Погоди уж, погоди, — прошептал он.

Искорки в маленьких черных глазах разгорелись как уголь под пеплом, губы растянулись в долгую тонкую злую улыбку.

Приподнявшись немного, он глянул из-за кана в окно. Но в окно ничего не было видно. Только синело небо.

Он опять присел.

Японцы выстрелили еще несколько раз, и потом Рябов услышал, как затопотали их лошади.

Он вышел из-за кана и стал около окна...

Вытянув шею, заглянул он в дыру в оконной бумаге. Все шло, как надо...

Японцы, предположив, вероятно, что защитник фанзы убит, ехали без всяких предосторожностей рядом оба, держа винтовки поперек седла.

Они направлялись к фанзе...

— На сорок шагов, — сказал себе Рябов, — дальше не буду.

Он опять выглянул из-за рамы.

Японцы ехали, не убавляя, не прибавляя шагу... Рябов сознавал, что каждый шаг приближает их к смерти. Ликующая, дикая радость разлилась в нем. Кровь словно закипела.

Он поднял винтовку.

— На сорок шагов... на сорок шагов...

Он должен был сдерживать себя, чтобы не прицелиться и не выстрелить.

Будто кто изнутри его дергал под руку.

— Пора!.. Бей!..

— Нет, еще не пора, еще не пора!..

Он был, как в лихорадке. Щеки то краснели, то бледнели. Винтовку он то поднимал, то опускал... Дышал прерывисто, полуоткрыв рот...

Японцы подъезжали все ближе. Уж он мог разглядеть их лица.

—Пора!

Он прицелился.

Или обождать?.. Пусть подъедут поближе... Обождать или нет? О, Господи...

Сердце у него стучало громко, казалось ему громче, чем стучат по песку лошадиные копыта.

—Теперь пора...

Он сразу стал спокоен. Все в нем застыло и замерло в эту минуту. Он ступил шаг назад, стал прямо против окна в глубине фанзы и поднял винтовку.

Теперь не зачем было стрелять с упора. В нем будто вдруг силы прибавилось; винтовка будто влипла в руки, прилипла к плечу... Будто это не человек стоял, а каменная статуя.

Громко и гулко, потому что теперь он стрелял в закрытом помещении, хлопнул его выстрел.

Один японец упал. Другой повернул коня... Но Рябов уже дослал в казенник новый патрон.

Опять загремел, выстрел.

И другой японец грохнулся с лошади... Пуля попала ему в затылок и раздробила всю верхнюю часть черепа.

Рябов подбежал к окну схватился обеими руками за раму, распростирая руки вправо и влево, и закричал:

—Что!.. Ай не сладко!..

Оба японца лежали без движения... Они были убиты сразу, как молнией. И Рябов видел это, но все-таки не мог им не крикнуть этих своих слов.

Голос у него был резкий и отрывистый. Он будто не кричал, а каркал.

—О!.. То-то...

И подняв голову и глядя уже не на японцев, а вдаль, где синели горы, он крикнул опять, грозя кулаком:

—У, дьяволы!..

## Глава VI.

Рябов стоял на коленях у стены фанзы и копал в земле ямку своим ножом.

Он держал нож, захватив всю рукоятку в кулак, стиснув пальцы так, что на тыльной стороне руки напряглись жилы, и ударял ножом быстро раз за разом, вонзая его в землю по самую рукоятку. Лицо у него было мрачно, будто на лицо нашла туча, и горело такою же злобой, как за минуту перед тем, когда он готовился стрелять по японцам. Почти через равные промежутки сверкал нож. Казалось, Рябов не просто ковыряет затверделую убитую и утопанную ногами землю, а ранит кого-то, кому-то наносит удары.

— Вот тебе! Вот тебе!

Как-то совсем неожиданно, внезапно, созрело в нем это желание закопать крест.

Местность около фанзы он хорошо заметил. Крест потом будет легче найти...

А теперь нужно вырыть ямку и закопать крест... Нужно, нужно!.. Непременно нужно. .

Удары сыплются за ударами. Раз, раз. Земля твердая, как камень... Иногда и камни попадаются большие и маленькие...

Нож звенит и лязгает по камням. И тогда Рябов учащает удары. Кажется, огненные серебряные языки выскакивают из земли и опять уходят в землю.

Глухо звенит нож под землей, встречаясь с камнем... Песчаниковый камень разбился под ножом и рассыпался как ком затверделой грязи.

Рябов на минуту приостанавливает работу, поднимает голову.

Лоб у него весь в поту. Рукавом курмы он проводит по лбу. На спине намокшая от пота курма прилипает к телу; там между лопатками на курме темное в ладонь мокрое пятно.

Временами на Рябова во время этой работы находило какое-то странное состояние.

Голова будто пустела. Зачем он тут? Что он делает? Глаза не мигая глядели вперед, взгляд будто рассеивался по предметам.

— А! —загоралась мысль, —вот зачем... Крест...

Опять он нагибался... Почти отчаяние вспыхивало в лице и в глазах... И сквозь это отчаяние сверкала злоба...

Вот зачем! Вот зачем.

Раз... Раз...



А на десницах блестят слезы... И зачем все это... Зачем тут Манчжурия, а не родная деревня!

О, чтобы вас, нехристи!

Опять попался камень... Лязгнул нож. И кажется ему, что не в земле лязгнул нож, а в нем самом. Будто по сердцу царапнул... До последней степени напряглись и натянулись нервы... Точно кожу с него сняли, и каждое прикосновение жжет огнем.

Вот тебе, вот тебе!

Ямка уже давно была готова. Стоило только выгрести землю и осколки камней... Он все продолжал копать.

Самое ужасное для него было сейчас самое последнее: когда придет время опустить в яму крест. Иногда ему казалось, что время уже пришло.

Пора!..

И вдруг тоска разливалась в нем. И казалось ему, что все, что он делал до той минуты, вся его жизнь в Манчжурии совсем лишнее и ненужное...

Клубком к горлу подкатывались слезы...

Нет, еще рано... Надо глубже...

Слезы капали на взрыхленную землю... Нагнувшись опять начинал он свою работу...

Нет, теперь довольно... Пора!

Он бросил нож и стал выгребать землю... Он захватывал землю полными пригоршнями и высыпал около ямы.

Опять набежали слезы.

Теперь уж он не торопился.... Довольно... Нужно!.. Могут схватить, если увидят крест... Товарищи говорили. Разве он сам? Товарищи...

Ямка, наконец, очистилась.

Он заглянул в нее и вздрогнул от ужаса... Будто живого человека собирался закопать он, дорогого и близкого... Будто душу свою закапывал...

Опять разлилась тоска...

Нет, нужно... Пора! Он снял крест...

Крест у него был медный стершийся, на суровом шнурке с двумя узелками.

И как только увидал он его и этот шнурок с двумя узелками, еще большей ему стало, еще мучительней заняло сердце.

Будто он вдруг стал меньше, совсем, совсем маленьким, как в тот раз, когда он лежал на кане, а под каном трещал сверчок...

Мать вспомнилась... детство.

Лето... Пыльная улица. Петухи кричат...

Посреди улицы сидит Рябов, но не теперешний Рябов, не солдат и не шпион, а Рябов—мальчишка, в одной рубашонке, завязанной узлом на спине.

Тихо на улице. Жарко. В пыли воробьи купаются совсем близко около Рябова.

Нет, не нужно об этом думать...

Он опустил крест в ямку и стал быстро и торопливо закидывать его землей.

Конец... Все зарыто... Родина, детство... Все.

Он встал и выпрямился. Будто холодом охватило его сразу, будто все в нем застыло. И снова голова как опустела.

Что еще надо?... Надо положить камень, чтобы легче найти. Камней кругом было много. Он взял один и навалил сверху ямки.

Потом он поймал одну из бродивших около лошадей, вскочил на нее и погнал прочь во весь дух.

На трупы убитых японцев он даже не взглянул. Одна только мысль владела теперь им.

Скорей, скорей отсюда...

Он весь дрожал... Он сознавал, что впереди его ждет ужас...

Ужас уж был в его душе, только глубоко-глубоко... Но он уже ощущал его... И когда он гнал лошадь прямо в степь, не зная, куда он ее гонит, он испытывал такое состояние, будто гонится за ним кто-то, от кого он не может уйти.

Но оставаться дольше на месте он не мог.

## Глава VII.

Рябов, наконец, остановил лошадь.

Фанза далеко осталась позади. Прямо перед ним теперь возвышалась большая серая скала. Рябов заехал за скалу в тень.

Он понимал, что попал как раз в район, занятый неприятелем, может быть даже в тыл неприятелю.

Вся местность, вероятно, кишела неприятельскими разъездами и дозорами.

Укрыться в степи было негде... Да он и не хотел укрываться...

За скалой он не остался долго...

Он дал только передохнуть коню и сейчас же опять погнал его дальше в степь.

В седельном кобуре он нашел заряженный револьвер и пачку патронов.



Когда он сунул руку в карман и ощутил под пальцами рифленую рукоятку револьвера, сразу в нем вдруг заговорила опять жажда крови.

Он вынул револьвер и осмотрел его.

Револьвер был маленький, сразу видно, что не казенный. Японец должно быть приобрел его сверх установленного вооружения за собственный счет.

Но все равно, хорошо было и это. Он сожалел только, что не захватил винтовки. Но он подумал сейчас же, что в его положении револьвер, пожалуй, лучше винтовки.

И когда он подумал о том, как он пустит револьвер в дело, будто огненное жало лизнуло сердце.

Тоски уж теперь больше не было в сердце, будто он вырвал ее вместе с крестом. Сердце окаменело, стало словно не человеческое, а звериное.

Он даже рад был бы встрече с японцами, даже искал их.

Если бы он взглянул на себя в зеркало, он не узнал бы себя: лицо у него похудело и пожелтело, как у больного... Он и правда сознавал смутно, что у него не хватает чего-то...

Даже жутко ему стало вдруг. Кругом него степь, пустыня... Песок, камни, чахлая трава. Кое-где белеют скалы.

А он бродит по степи как волк, как дикий зверь. Бледные запекшиеся губы шевелятся слабо и трепетно...

—Только попадись! Только попадись!

Глаза бегают по степи.

А в душе шевелится ужас перед тем, перед будущим...

Он зарыл крест... Но там же он и душу зарыл... Зарыл самого себя...

И теперь уж он совсем другой... Будто ничего в нем своего уж не осталось...

А кто его довел до этого?

Лихорадочно горят глаза, трепетные губы шепчут:

—Только попадись, только попадись...

И вдруг совсем недалеко от себя, не дальше, как в полумерсте, он увидел двух конных японцев, стоявших на небольшом пригорке.

Японцы словно из-под земли выросли.

Должно быть, они выехали на этот бугорок из какой-нибудь лошаины. Один японец смотрел в бинокль.

Дикая, торжествующая радость вспыхнула в Рябове. Сразу в голове созрел план.

Он остановил лошадь и махнул японцам рукою, указывая им в то же время назад, в ту сторону, откуда ехал.

Уж его-то японцы могли принять за кого угодно, только не за русского!

Он сделал все, что мог, на что у него хватило хитрости, чтобы дать понять японцам, что он хочет сообщить что-то очень важное... Может быть, о русском отряде, который он видит вдали. Японцы, вероятно, так и поняли его жесты. Они съехали с пригорка и направились к нему. А он не тронулся с места. Он их поджидал, не переставая жестикулировать, маня их к себе.

О, как он их ненавидел в эти минуты!.. Он ненавидел их еще больше, чем тех двух убитых около фанзы.

Будто это не люди подъезжали к нему, а злые, нехорошие звери, которых нужно уничтожить.

Один японец был офицер...

—Его первого, —решил он...

Ему приятно было сознавать, что японцы подъезжают к нему, ничего не подозревая.

Офицер держал в руках бинокль. Поводья его лошади висели свободно, брошенные за луку.

Винтовка у другого японца была за спиной. Японцы принимали его, должно быть, либо за своего шпиона, либо за хунхуза, либо за добровольного шпиона-китайца.

Теперь уж все человеческое в нем сторело... И когда он рассмотрел лица врагов, не искаженные тем чувством, которое клокотало в нем, он почти перестал владеть собой. В груди словно не хватало воздуха.

Злобное чувство претворилось в настоящий огонь, в огненное дыхание.

Японцы уж были в пяти шагах от него. Он видел, как офицер вздрогнул, встретив на себе его взгляд. Будто офицер и правда увидел перед собой зверя.

Он видел также, что офицер, кажется, хотел ему сказать что-то и не мог. Будто слова, готовые сорваться с губ, тоже испугались его, Рябова.

Тогда, выхватив револьвер, он бешено крикнул:

— На!

И выстрелил в офицера.

Офицер упал с лошади.

Другой японец схватился за саблю. Но он успел выдернуть саблю из ножен только до половины...

— Ешь! — крикнул Рябов. — На!

И новый выстрел.

Лошадь под японцем взвилась на дыбы. Японец выпустил поводья и стал валиться на бок.

Рябов плохо видел его из-за шеи лошади.

Тогда он выстрелил в лошадь, прямо ей в грудь подряд два раза.

Одну секунду лошадь держалась на ногах, потом сразу всем телом грохнулась назад на спину, придавив собой всадника.

Рябов во весь дух понесся прочь, в сторону, направляясь опять к белевшей вдали скале.

Он не соображал теперь, та ли это скала, где он отдыхал час тому назад, или другая. Он хотел только где-нибудь хоть на время спрятаться.

В нем проснулась осторожность.

Выстрелы могли услышать другие разъезды или дозоры. Могли прискакать на выстрелы.

Если бы японцы нашли его у двух трупов, вряд ли они держались бы так беззаботно, как эти двое.

Доскакав до скалы, он спрятался за нею, стал в тень и вынул револьвер и патронташ с патронами.

Он зарядил револьвер. Руки у него, когда он вкладывал в барабан патроны, чуть-чуть дрожали.

Один патрон даже выскользнул из рук и упал на землю. Он соскочил на землю, чтобы поднять патрон, и долго не мог поднять: патрон все выскакивал из пальцев.

## **Глава VIII.**

Рябов так и не поехал дальше от этой скалы.

Был уже полдень, в степи становилось жарко. Рябов сел под скалою в тень „на минутку” и сейчас же его потянуло в сон...

Страшная слабость охватила тело.

Будто он целый день сегодня без отдыха делал какую-то тяжелую, непосильную работу.

Незаметно он уснул.

Проснулся он от сильного толчка в плечо. Он открыл глаза и увидел над собой занесенную ногу в узком коротком сапоге со шпорой.

Он вскочил.

Перед ним с револьвером в руке стоял офицер в японской форме и шесть японских спешившихся кавалеристов. За ними в стороне виднелись лошади, которых держали в поводу еще двое японцев...

Во всем теле Рябов испытывал разбитость и слабость. Казалось, бушевала внутри его буря и измучила, и истерзала его, перетряхнула весь организм.

Сон не подкрепил его ни капли... Что-то смутное, нехорошее, тяжелое осталось после сна.

Казалось, все, что случилось с ним сегодня, случилось именно не на яву, а во сне, и было действительно так тяжело и скверно, что и могло только случиться во сне.

Ему иногда случалось видеть скверный сон и в первые мгновения пробуждения, когда сон еще не совсем прошел, испытывать как раз такое чувство...

Тоскливое, мучительное чувство... будто сон еще продолжается и на яву и переходит в действительность.

Тупо он глядел на японского офицера.

Через секунду он пришел в себя.

Его не спасла ни курма, ни китайская коса. Японец может быть видел, как он разделялся с их товарищами. Стали искать по степи и, на конец, нашли; может быть, тот японец, кого он считал убитым, оказался только раненым.

Его подобрали, а он рассказал про Рябова.

Рябову связали руки.

Он не сопротивлялся. Нашло на него вдруг какое-то равнодушие, какой-то полустолбняк.

Только когда его привели в фанзу, ту самую, где ночевал он сегодня, и заперли там, опять потихоньку все в нем забунтовало и забурило.

И это для него было тяжелей всего. Внутри снова поднялась буря, будто горячие волны заходили... Будто шквал бился в груди. А грудь уже была разбита и измучена.

Он лег на кан, стараясь ни о чем не думать, закрыл глаза и переплел на лбу и над глазами пальцы...

Но покоя не было. Нельзя было успокоиться, заглушить в себе эту бурю.

И он стал метаться на кане и просить смерти.

Он шептал:

— Лучше смерть, лучше смерть...

Бессильно перекатывал он голову из стороны в сторону и при всяком положении казалось ему, что лежать так неудобно. В локтях и под коленами была ломота.

Он встал с кана и заходил по фанзе.

Но и ходить было тяжело. Ноги подгибались сами собой.

Вошел офицер, чтобы допросить Рябова; офицер знал по-русски.

— Ты русский?

— Русский, — ответил Рябов.

— Что ты тут делал?

Рябов сказал прямо и просто:

— Шпионил.

Офицер улыбнулся.

— Ты знаешь по-японски?

Рябов отрицательно качнул головой.

— Нет?

— Не знаю.

— Как же ты пошел на это дело?

Рябов промолчал.

Офицер предложил ему еще ряд вопросов.

— Сколько вас у Куропаткина?

Рябов опять промолчал. Только в глазах его мелькнул злой огонек.

— Ждете ли вы подкреплений?

Рябов нахмурился и ответил, отводя глаза в сторону:

— Об этом лучше не спрашивайте: все равно не отвечу.

Он чувствовал, как в нем бунтовала злоба. Но уж душа не могла вместить ее... Душа разрывалась на части.

— Ваше благородие, — сказал он совсем другим тоном, каким-то болезненным голосом, — дозволейте мне сесть.

Офицер мотнул головой на кан.

—Садись!..

Рябов сел.

Сгорбившись и сложив руки на коленях, он заговорил слабо, исподлобья мигнув веками:

—Завтра, либо нынче, меня под расстрел... Ваше благородие, я закопал тут около фанзы крест. Скажите, чтобы его выкопали и мне отдали.

Опять слабо мигнули его веки.

Он остановил глаза на офицере. Теперь ему ничего не нужно было, кроме этого креста. Когда он вспомнил о нем, он увидел его вдруг как выявь... Маленький медный стертый тусклый крестик на шнурочке с двумя узелками.

Даже сейчас буря, колыхавшая душу, утихла...

И он выкрикнул громко, почти с мольбой:

— Отдайте, ваше благородие!

— Хорошо, —сказал офицер.

Вечером ему принесли крест.

Он надел его и лег опять на кан.

Необыкновенно легко и спокойно стало ему сразу... Ненависть и злоба—все улеглось...

Все успокоилось.

Под каном затрещал сверчок.

Рябов точно голос друга услышал, точно родную песню... Светлое спокойное выражение разлилось по лицу. Душа, истерзанная злобой, стала как храм, где зажгли святой огонь... И огонь этот пробился наружу и озарил лицо.

Опять, только затрещал сверчок, как в прошлую ночь, понеслись над ним далекие знакомые звуки, далекие образы...

Когда на утро его повели „под расстрел“ и против него выстроился взвод с заряженными винтовками, а потом подошел к

нему офицер переводчик и спросил, не имеет ли он что сказать перед смертью, он ответил, остановив на офицере горящий взгляд:

— Умру за Россию!..

Глаза его блестели почти восторженно.

В лице у офицера вдруг дрогнуло что-то, будто внезапно родилась мучительная боль в душе, будто вдруг ему стало жаль Рябова.

Но он быстро овладел собой.

Хмуря брови, он сказал Рябову:

— Но ведь у тебя есть родственники?.. Мать...

Рябов закусил нижнюю губу и мигнул коротко веками. Взгляд у него стал растерянный, даже будто немного испуганный.

— Может, матери что передал? — продолжала офицер.

Веки у Рябова замигали быстро-быстро, углы губ опустились и сразу глаза стали полны слез...

— Скажите, — заговорил он, — пусть она вспомнит, как я был совсем маленький, шнурок у меня на кресте оборвался, а она связала двумя узелками... Так он, мол, и умер с этим крестиком... Как все было, так и скажите!..

Он замолчал. Опять также растерянно глядел он на офицера.

— Больше ничего? — спросил офицер.

Рябов продолжал молчать.

— Ничего?..

— Нет, — сказал он.

Грудь его тяжело поднялась и опустилась. Прямо глядя на офицера, он крикнул:

— Стреляйте!

Этот крик, казалось, вырвался изнутри его. словно оторвался от сердца.

Офицер заговорил потом, что о Рябове известит товарищей его по полку, сказал, что умирают так только герои...





Голос у офицера дрожал, слова путались.

Может, он понимал, что говорит то, чего не следовало бы говорить.

Опять восторженно загорелись глаза у Рябова.

—За Россию! —крикнул он.

Ведь он и правда ушел в эту свою экспедицию, чтобы умереть за Россию, разбитую, измученную постоянными неудачами.

Тогда в нем именно было такое желание: отдать свою кровь за кровь, пролитую на редутах и в траншеях Манчжурии...

Умереть или отомстить.

Но отомстить не удалось.

Раздался сухой трещащий залп двенадцати винтовок. Брызнул огонь из стволов.

Рябов как сноп грохнулся на землю...

## „В окопах“.

### I.

Батареи японцев прекратили огонь.

Их пехота была уже близко у русских окопов... Стрелять становилось опасно.

Наступила минута затишья.

Защитники окопов отчетливо в промежутках между орудийными выстрелами со стороны фортов слышали топот бегущих ног: ту-ту, ту-ту—словно несколько человек вооруженных палками колотили вразброд по туго натянутому ковру, выбивая пыль.

Крики „банзай“ затихли.

А до сих пор „банзай“ висело немолчно в воздухе... Точно солдаты, не оборачиваясь, хотели крикнуть оставшимся позади них орудиям:

—Мы здесь, мы здесь...

Точно подавали о себе голос...

Теперь временами вспыхивали только отдельные голоса, визгливо впиваясь в воздух, дребезжа, как тонкое стекло...

—Р-ро-та-а!...

Ротный командир слегка откинулся назад корпусом, смотря прищуренными глазами на бегущих японцев...

Минутная пауза. Тишина в окопе. Ротный словно прицелился в японцев.

—Пли!

Из окопа брызнул огонь. Крики в рядах японцев оборвались, заглушенные залпом, будто грохот залпа сдул их.

Синеватый легкий дымом за клубился вдоль окопа.

—Р-ро-та!...

Опять пауза.

И снова резкий надорванный голос:

—Пли!

Ротный словно вырывает из себя это „пли“, бросая его навстречу японцам.

Словно сам он живое оружие, и каждый выстрел, каждое это „пли“, частица его самого, частица его нервов, напряженных до последней степени.

С воем проносится над окопом тяжелая бомба, посланная с фортот.

Ротный выпрямляется.

Будто это не бомба пронеслась сейчас над ним, а где-нибудь поблизости, где-нибудь на холмике появилось начальство.

Он даже ус закрутил.

—Рота! ...

Уверенней, тверже звучит его голос.

Бомба разорвалась.

Из окопов даже видно было, как столбом поднялась пыль там, где она лопнула.

Ротный вскакивает на парапет и кричит:

— Пачками!

Опять гудит бомба...

Вслед ей трещать из окопа частые, будто в окопе разгорелись жарко сухие дрова, выстрелы...

Теперь уж не слышно топота ног нападающих.

Огненные струи из стволов винтовок вонзаются в воздух, меркнут, опять блестят. Они кажутся неугасаемыми, выскакивая из стволов на мгновение и опять прячась в стволы, чтобы сейчас же снова сверкнуть.

Синий дымок становится гуще.

На многих винтовках давно уж нет деревянных накладок: они давно, еще во дни первых боев, пришли в негодность, растрескались, расшатались и износились в конец.

Под пальцами левой руки слышно, как начинает нагреваться ничем незащищенный ствол.

Быстро прогревается ствол.

Даже почти с уверенностью можно сказать, после которой

пачки, даже после какого патрона к стволу будет больно прикоснуться.

Многие стреляют с упора, положив винтовку на край бруствера, придерживая ее снизу под шейкой приклада, чтобы только не отдавало.

Все эти дни прошли в жарких перестрелках.

Многим пришлось сделать по несколько сот выстрелов... И эти толчки в плечо, после каждого выстрела, сначала совсем незаметные, так что, казалось, винтовка совсем не отдает, вызывали теперь в плече боль, как будто отбиты были все мускулы... Плечо саднило и ныло, уже от одного прикосновения приклада.

Но нельзя было не стрелять.

Все ближе мелькают синие мундиры.

Маленькие фигурки перепрыгивают через рытвины, через камни. Иногда их затягивает пылью и дымом когда между ними рвутся снаряды.

И тогда трудно разобрать, бежит ли неприятель назад, остановился ли, или продолжаешь стремительно наступать... Маленькие фигурки видны смутно и неясно.

Но дым и пыль редуют.

Дым и пыль вместе с тем будто уходят назад, и из пыли выскакивают опять все те же маленькие синие фигурки.

В сердце закрадывается злоба...

И досадно, что спуск под скобой винтовки сначала нужно довести пальцем до „отказа“ и потом уже нажать на спуск... Порывисто дергает палец за спуск.

„Вот тебе! На! Ешь!“

—Ешь, —действительно, бешено кричит кто-то в окопе.

Слышно, как рикошетируют пули, выпущенные наскоро, как попало, шлёпнувшиеся где-нибудь о камень в нескольких шагах впереди и потом с тоненьким жужжащим писком уносящиеся в сторону.

Впереди громовой взрыв.

Опять синие фигурки затянуло тёмно-жёлтой мутью...

Только ближайшие к окопу фигурки по-прежнему ясно видны.

Видно, как офицеры оборачиваются назад, слышно, как они кричат что-то, указывая на окоп саблями. Пригнувшись, выскакивают из дыма и пыли, как-то теперь по-особенному, скачками, будто из дома, объятых пламенем и готового сейчас рухнуть, е фигурки.

Снаряд угодил как раз в цель...

Словно в кучу воробьев выстрелили из ружья дробью: в редющем дыму видно, как бьются и, кувыркаясь, катятся с камней убитые и раненые... Их много.

—Пачками!

Голос у ротного окреп. Он словно подтянулся.

Крикнув, он вобрал в себя воздух полной грудью и опять крикнул во весь голос, тараща глаза и отдувая щеки:

— Пачками!

Кажется, он хотел своим голосом усилить и без того бешеный огонь окопа.

Второй раз ему не зачем было командовать: солдаты и так его хорошо слышали... Но он уж не мог удержаться, чтобы не крикнуть, когда около него захлопали выстрелы.

Словно и правда, его голос имел силу убивать или, по крайней мере, помочь убивать.

Враг уж совсем недалеко.

Теперь он сгрудился в кучки.

—Банзай! ...

Пока японцы бежали, как кому вздумается, врассыпную, карабкаясь по обрывам и камням, это „банзай“ вспыхивало только временами, отрывисто, то там, то тут, сейчас же заглушаемое гулом орудий, треском ружейных выстрелов, грохотом взорвавшихся снарядов.

Будто огненные языки начинающегося пожара, выскакивали среди шума бури и гасли заглушаемые этой бурей.

И опять вспыхивали, потому что та-же буря, заглушая их в

одном месте, раздувала в другом.

Теперь отдельные вспышки слились и вспыхнули сразу ярким огнем:

—Банзай! ... Банзай-а-й!

Впереди одной из кучек бежал офицер, уже пожилой, с седой клочковатой бородкой, без фуражки, с окровавленной щекой.

Бежал он, наклонившись вперед, нагнув голову, прикрывая левой рукой согнутой в локте лоб.

В правой руке была сабля.

Он смотрел вперед из под руки и кричал что-то, должно-быть, тоже „банзай“, раскрыв рот во всю ширину... Длинные натянутые морщины шли у него по щекам, по сторонам рта, загибаясь к подбородку.

Непонятым и странным казалось, для чего он загораживал лоб рукой. Будто он боялся, как бы пуля не попала непосредственно в лоб.

Будто рука могла защитить его от пули.

## II.

Ротный командир, подняв левую руку и согнув ее так, что угол локтя приходился почти как раз против носа, положил на сгибе локтя револьвер и прицелился в седого офицера.

Странное дело! Он целил седому офицеру прямо в верхнюю часть лица, в лоб.

Но его вдруг словно что толкнуло.

Седой офицер загораживал лоб рукой. Он держал над лбом руку, как щитом, будто и впрямь от этого щита могла отскочить пуля!

Мгновенно он понизил револьвер.

Будто его спугнула эта рука, закрывавшая лоб...

Он потянул за спуск и выстрелил. Но японский офицер был еще далеко. Во всяком случае, нельзя по нем было бить наверняка из револьвера.

Он промахнулся.

Он видел только, как седой офицер мотнул головой в сторону, перестав кричать, о чем, однако, можно было заключить только по тому, что он сомкнул рот...

Этот кивок головой в сторону (пуля, должно-быть, свистнула близко около уха) у седого офицера тоже, вероятно, вышел произвольно, как произвольно сощурил он вдруг глаза и, замаявшись на секунду на месте, качнулся всем корпусом назад.

И должно-быть, поймав себя в этой слабости седой офицер, словно пришпорив себя, скакнул сразу вперед, отняв от лба левую руку и подняв ее над головой, и закричал опять, тряся над головой кистью руки.

И сразу, как он отделился от своей кочки, сейчас же, казалось, и голос его тоже вырвался из общего шума и крика.

— Банза-а-й:!...

Казалось, нервная дробная судорога пробегает у него по лицу, или трясется у него голова от натуги, от того, что он старается кричать выше сил.

Будто его маленькое тщедушное тело не могло вместить в себе этого крика.

И в эту минуту он показался необыкновенно противен ротному.

Он снова прицелился в него.

Он не слышал своего выстрела.

Он видел только, как седой офицер вдруг присел и схватился рукой за ногу около коленки...

Потом седой офицер сделал попытку, выпрямиться... Но, видно, рана была серьёзна... Седой офицер поднял руку с саблей кверху, вытянув руку во всю длину и, остановив глаза на одном из пробежавших мимо него солдат, опять открыл рот во всю ширину, тряся в воздухе своей саблей, как тряс раньше в воздухе кистью руки...

Потом его не стало видно...

Вперед него сразу забежало несколько человек.

Эти несколько человек легли все под выстрелами из

окопов. Их сменили бежавшие еще дальше сзади вслед за ними.

Несколько раз между бегущими, когда пули валили на землю то того, то другого мелькала фигура седого офицера.

Он словно стоял на коленях на красном ковре...

Под ним была лужа крови...

Теперь он опирался левой рукой о землю. Правая рука по-прежнему была над головой.

Когда перед ним и вокруг него валились люди умолкая навеки, и крики „банзай“ в эти мгновенья обрывались вдруг в передних рядах, его голос один раздавался отчетливо и ясно, пронзительный, немного визгливый и дребезжащий, будто в горле у него перекачивались металлические шарики, как в костяном свистке.

Пять или шесть человек, добежавших до окопов, были тут же заколоты...

Пространство между окопом и атакующими мало-по-малу заполнялось трупами...

А седой офицер, стоя на своем кровавом ковре, продолжал выкрикивать, провожая глазами пробежавших мимо и оглядываясь назад, когда пробежавшие оказывались впереди:

—Банзай!... Банзай...

Но назади уже дрогнули.

Как вздрагивает иногда один человек, так дрогнули эти многие сотни сразу, неожиданно.

Будто сам страх, до сих пор скрывавшийся где-то, показался и крикнул свою команду:

—Стой! Назад!

Но отделившиеся от общей массы, эти смельчаки или глухие, или слепые не слышали голоса страха... Они продолжали бежать вперед враспынную, отделяемые друг от друга трупами выбитых из строя товарищей, спотыкаясь на эти трупы, перескакивая через них...

Может-быть, их вдохновлял седой офицер?

Вон он... Уж охрип, а кричит.



—Ваше скородие, дайте я его...

Ротный чуть-чуть подвинулся.

Мимо него, между ним и краем бруствера, согнув спину и втапывая в магазин винтовки новую обойму, быстро переставляя согнутые ноги, скользнул рядовой Орефьев.

Потом он медленно выпрямил спину.

—Вон он... Ишь...

Он поднял винтовку...

Но сейчас же он опустил винтовку... Все пространство перед окопом было полно трупов.

Правда, несколько смельчаков, зажав за камнями стреляли оттуда по окопу... Но эти уж не в счет. Главные силы отходили.

Посреди трупов стоял седой офицер. И он тоже уgomонился. Уж он не кричал больше. Голова повисла, сабля выскользнула из руки.

Может-быть, пока Орефьев заряжал винтовку, его пристрелили; может быть, он просто ослаб; может-быть, истек кровью.

—Сдох! — сказал Орефьев и потом повернулся к товарищам и кивнул головой в сторону неподвижной, казалось, замерзшей фигуры: —Гляди-ка... Как живой...

Кое-кто высунулся из окопа.

Послышались замечания:

—Пра, как живой...

—Уходил.

### III.

Неприятель скрылся в своих окопах.

Японцам удалось захватить с собой не всех раненых.

Некоторые из них теперь подымались среди неподвижных мертвых тел и сами тащились в свою сторону...

Казалось, это подымались мертвые.

Пять или шесть фигур пробираются медленно между трупами, молча, выбирая только места, где посвободней идти. Каждый занят самим собой, и кажется, никому нет дела до

другого... Будто они не видят и не замечают друг друга.

Изредка слышится стон.

Изредка то один, то другой останавливаются, поднимают голову и вглядываются вперед туда, где их окопы...

Может-быть, они прикидывают на глаз расстояние: долго ли еще идти.

А седой офицер все неподвижен.

Видно, он уж покончил счеты с жизнью...

Уж далеко ушли те пятеро или шестеро. Кругом покой и безмолвие...

Но трупы от времени до времени продолжают шевелиться, то там, то тут, встают и плетутся вслед раньше ожившим трупам.

Страшно и жутко.

В русских окопах тихо. Тихо и в японских окопах...

—Орефьев!

—Ну?

—А гляди, твой-то.

Стоящий рядом с Орефьевым солдат толкает его локтем и кивает головой в сторону седого офицера.

—Чего мой?

Орефьев даже будто обиделся. Брови у него сдвинулись, говорить он грубо, отрывисто, отдувая щеки, будто говорить внутрь себя.

Голос звучит глухо.

—Офицер-то?

—Какой офицер!

—А вон...

И солдат опять кивает на седого офицера.

—Будто жив.

Орефьев быстро оборачивается.

Все также неподвижен седой офицер. И товарищу Орефьева кажется, что он ошибся.

—Н-не, —говорит он,— это ветер.

—Вон еще один поднялся, — раздается около.

Орефьев снова повернулся к товарищу.

—Почему мой?

Так же глухо звучит его голос, по-прежнему сдвинуты брови так же отдужает он щеки.

—Али не ты?.. Ну-ну, то-то... А я думал.

—Ён мертвый,—вмешивается в разговор третий солдат, круглолицый, с коротким тупым носом, в веснушках с рыжими, на темени почти красными волосами.

Солдат только что разговаривавший с Орефьевым, поворачивается к нему и спрашивает глухо, как Орефьев:

—Чего?

—Мертвый ён...

—Офицер-то!

—Офицер...

Солдат нагнулся, пошарил под ногами и поднял небольшой камешек.

—Живой!

Он встряхивал на руке камушек, поглядывая то на Орефьева, то на стоявшего с ним солдата.

Те промолчали.

Тогда солдат развернулся и кинул в седого офицера...

Камешек был плоский, плиткой. Когда бросил его солдат, он сначала взвился кверху, потом скользнул по воздуху в сторону и вниз и прямо попал в седого офицера.

Тот вздрогнул и медленно поднял веки.

Казалось, это открыл веки труп.

Взгляд был мутный и тусклый.

Веки сейчас же опять смежились... Потом поднялись снова... Они будто отяжелели и сами наплывали на глаза... Медленно, тоже с трудом поднял он голову.

Рыжий солдат крепко схватил Орефьева за руку.

—Гляди!

Почти ужас изобразился у него на лице. Он еще крепче сдавил Орефьеву руку...

Он только и сказал это одно слово „гляди“ и потом затих,

остановив неподвижный взгляд на седом офицере.

А около седого офицера из груды наваленных вокруг него трупов, не позволивших ему упасть, поднялась коротко стриженная, на тонкой длинной шее, с темным лицом голова и повела вокруг такими же мутными, как у офицера, глазами.

— Господи! да что же они не шлют санитаров! — крикнул ротный.

Казалось теперь, он сам был ранен и жестоко страдает от раны, и это именно ему самому нужны были санитары.

Черная, стриженная голова на тонкой шее повела вверх, стиснув зубы. Ярко белели эти зубы между, как судорогой, растянутых губ.

Выпростились плечи, потом показалась спина... Медленно раненый выпрастывался из-под придавивших его двух трупов.

Наконец, он поднялся...

Также медленно двигаясь, так, будто разминал ноги, подошёл он к седому офицеру...

Он тоже был ранен в ногу.

Рана могла быть и пустячной, судя по тому, как он переставлял ноги, но его могли смять в общей сумятице.

Он заговорил с офицером.

По тот в ответ только поднимал и опускал веки, как спросонья, и слабо поводил головой.

Тогда он, опять как раньше, когда выбирался из-под трупов, стиснув зубы и растянув губы так, что даже десны обнажились, попробовал его поднять.

Ему это удалось...

Он охватил офицера за талию, закинув его руку себе за шею, и повел его, похрамывая на левую ногу.

Минутами он останавливался и заглядывал в лицо офицеру. Потом шел дальше...

В окопе заговорили вполголоса, глухо, как под землей:

— Не дойдут...

— Ни в жисть...

—Тот-то ничего...

—Старичок-то... плох от.

—А все рыжий...

Рыжий наклонился, нагнулся, как в тот раз, схватил с земли опять камешек и показал его Орефьеву.

—Ты видел?.. Вот такие...

Закусив нижнюю губу, он нагнулся напряжил плечи и переломил камешек между пальцами.

Потом поднял голову.

—Вот он...

Он показал Орефьеву обе половинки.

—Разве я знал, —сказал он...

Через секунду он воскликнул вполголоса, вздернув плечи:

—Ах ты, Господи! ...

—Опять стали, — слышался голос.

Рыжий солдат сел на землю на корточки, сунул руки между коленями и стал тереть ладони—ладонь о ладонь, качая головой из стороны в сторону.

Вдруг он вскочил.

—Стали! ...

Ему ничего не ответили.

—Ничего... Опять идут, —слышится прежний голос.

—Ах, ты Господи! ах, ты Господи! — шепчет рыжий солдат, опустив руки вдоль тела и быстро перебирая пальцами...

Все смотрели вслед раненым. Никто не заметил как рыжий солдат побежал вдоль траншеи...

Затем его увидели бегущим без ружья к неприятельским окопам, нагнав раненых, он взвалил седого офицера к себе на плечи и быстро зашагал дальше...

Он передал седого офицера прямо в руки японцев, затем бегом вернулся к своим.

—Я думал, как подбег,—рассказывал он,—стрелять станут.. Да... либо сейчас, недолго думавши, под караул... Горячка-то прошла. Одначе ничего... То-есть ни то что—

ничуть ничего!...

Ему на это заметили:

—Очумели...

## Под гром орудий.

### I.

Свою комнату Цветков называл кельей.

Она, правда, была похожа на келью—маленькая, с беленым потолком и стенами, в одно окно, проделанное в толще крепостные стены.

В окно ничего не было видно, что делалось на небольшом, вымощенном желтым плитняком, дворике: стена была настолько толста, что оставленное в ней отверстие для доступа света сначала, когда строили стену, походило на глубокую узкую дыру, пробитую для чего-то гигантским четырехугольным ломом, а потом, когда эту дыру залили цементом, зашпаклевали, выгладили и выбелили—стало ни дать, ни взять, как маленький узенький коридорчик, чистенький, аккуратный и опрятный.

Владельцем этого коридора стал в скором времени толстый, большой, с белым брюшком паук. Он разгуливал по коридору в своем белом жилете, на своих длинных, растопыренных ногах, останавливаясь то там, то тут, вглядываясь очень внимательно, сосредоточенно и серьёзно в каждую неровность, в каждую трещинку.

Казалось, он говорил:

—Г-м.... да, да... Это очень недурно, только не скрывается ли какого пугала за этой щелью? ...

Иногда он даже становился на задние лапки и, прижавшись брюшком к стене, вытягивал передние лапки вверх, ощупывая ими стену, и поднимал голову.

—Г-м.... а там опять трещинка...

Он был совсем как директор в каком-нибудь учебном заведении, осматривавший классы и коридор, только-что отремонтированные после летних каникул.

С этим беспокойным господином в белом жилете Цветков

познакомился только после того, как проводил в Россию свое семейство, жену и детей.

До тех пор он его не замечал.

Пузатый директор в белом жилете бегал по своему коридору, внимательно наблюдая, чтобы все было чисто и никто не нарушил порядка,—и ни один человек в мире не подозревал о его существовании.

Цветкову он именно напомнил сразу директора той гимназии, где он учился.

Директора звали Павлом Ивановичем.

Он и паука тоже называл Павлом Ивановичем.

Когда по утрам Цветков, умывшись и подойдя к окну после умыванья, начинал утираться полотенцем, Павел Иванович находился уже на месте и при отправлении своих служебных обязанностей.

Вытерев полотенцем лицо, мокрую бороду и мокрый, гладко стриженный, с топорщившимися оттого, что он их вытирал, короткими волосами затылок, Цветков щелкал шпорами и кланялся Павлу Ивановичу.

—С добрым утром, Павел Иванович!

Но Павел Иванович совсем не обращал на него внимания.

Не оборачиваясь и не глядя на Цветкова, он будто бормотал сердито:

—Погодите, погодите...

О, как напоминал он в эти минуты Цветкову того, старого, настоящего Павла Ивановича!

Будто и впрямь вышел он из „умывальной“ в коридор и там встретился с Павлом Ивановичем.

—С добрым утром, Павел Иванович!

Приготовишку Павел Иванович за такое приветствие, наверно бы, выдрал за уши. К приготовишкам он был строг.

Небольшие вольности он допускал только со старшими.

Когда утром он появлялся в пансионе, в спальнях или коридоре, или умывальной, и старшие желали ему доброго утра, он именно бормотал, торопливо проходя мимо:



—Погодите, погодите...

А пригото́вишек трепал за уши.

Пригото́вишкой штабс-капитан Цветков никак не мог себя представить.

Из гимназии он вышел из шестого класса и так потом всегда, когда ему приходилось вспоминать школьные годы, уноситься мыслью в глубь прошлого, в этом прошлом он видел себя в шестом или пятом классе, старшим, сидящим в комнате вместе с другими старшими, совсем отдельно от других пансионеров.

Но теперь, теперешнему Павлу Ивановичу Цветков позволял иногда говорить то, чего он никогда не решился бы сказать тому, далекому, кажется, теперь уже умершему Павлу Ивановичу.

—Погодите, погодите, —бормотал теперешний Павел Иванович.—Погодите, погодите.

И вдруг он останавливался.

—Цветков, вы опять!

Прежний Павел Иванович брил бороду, у теперешнего был маленький мягкий, бурый пушек.

—Павел Иванович! Вы хоть бы побрились.

Павел Иванович молчит. Кажется, на него нашел столбняк. Затем он быстро подбегает к самому краю подоконника. Вот, вот, он бросится на Цветкова. Но сейчас же он отступает назад в глубину коридора.

—А! —произносят он немного в нос. Цветков даже видит почти, как он поправил на носу золотое пенсне.

—А-а...

Это „а“ выходит у него опять в нос, и будто к „а“ еще прибавилось „у“, влилось в „а“ и потом из него вылилось.

—Вы уже офицер?

Цветков щелкает шпорами. Шпоры громко звенят по каменным плитам.

Затем Цветков делает под козырек Павлу Ивановичу и рапортует ему свой чин, место служения.

Павел Иванович очень доволен, Все-таки он спрашивает:

—А в университет не пошли?

—Нет, Павел Иванович.

—А почему?

—По разным обстоятельствам...

—А-у...—гнусит Павел Иванович.

До сих пор он говорил, чисто и разборчиво, но стоит ему только произнести эту букву, которая неизвестно что обозначает, как у него появляется французский прононс.

—А-у.

—Не пришлось,—говорит Цветков. Павел Иванович вскидывает глаза вверх

—Начальство довольно?

—Начальство довольно.

А вы начальством?

—И я начальством доволен.

—Очень хорошо. Очень хорошо...

—Очень хорошо, Павел Иванович.

Павел Иванович смотрит на него подозрительно. Не пришел ли сюда этот артиллерист, чтобы просто почесать язык? Некоторое время он молчит, потом в мозгу его, вероятно, мелькает мысль, женат Цветков или нет. Если женат—так, конечно, это, что он сейчас передразнил Павла Ивановича, вышло у него само собой, безо всякой задней мысли.

Женатый человек должен быть солидным.

А может-быть, Цветков пришел определить своего сына приходящим или пансионером?

Наверное, пансионером. Он сам был пансионером. И сын, наверное, такой же головорез, как отец, и, наверное, тоже будет артиллеристом.

И он спрашивает, снова поправив пенсне, будто это пенсне может помочь ему узнать, женат или нет Цветков, если тот соврет.

—Женаты?

—Женат.

Павел Иванович вспоминает, что он встретил раз Цветкова в сквере с гимназисткой, а в другой раз с тою же гимназисткой застал его в театре.

—Наверное, на этой, как ее... Такая, с этакой косой с голубым бантом?

Павел Иванович вспоминает фамилию гимназистки.

—На Маевской? ...

—На Маевской, Павел Иванович.

—А-у.... довольны?

—Доволен...

—Есть дети?

—Трое, Павел Иванович.

—А-у.... трое... Шалуны?

—Бойкие мальчики...

И у Цветкова с Павлом Ивановичем начинается длинный разговор о гимназии, о мадам Цветковой. И Павел Иванович всякий раз, когда Цветков вспоминает жену, гнусит:

— А-у... Это та с косой и голубым бантом?

## II.

Когда была бомбардировка, и Цветкову весь день приходилось проводить около орудий, обед ему носили туда же на батарею.

Приносил обед обыкновенно денщик Цветкова, не высокого роста, в вечно засаленном вытершемся мундирчике, в вечно грязном, точно он только и знал, что ставил самовары или закрывал и открывал выюшки в печах, худощавый, вертлявый солдатик, поляк по происхождению, Венцеслав Забужский.

От копоти, от угольной пыли или еще от чего у Забужского даже лицо постоянно было серое, как у железнодорожного смазчика или кочегара. Словно он никогда не умывался.

Наскоро закусывая, Цветков непременно справлялся о Павле Ивановиче.

—Забужский!

—Я-с.

—Все у нас благополучно?

—Так точно, ваше благородие.

—А Павел Иванович?..

—Ходят-с.

—Обедал?..

—Так точно... Обедали-с; поживать собираются. „Почивал“ Павел Иванович в паутине... Паутину он устроил в самом конце своего коридора в углу... Действительно ли почивал он в этой паутине после обеда или просто сидел так и о чем-нибудь думал, неизвестно, верней всего, что почивал, потому что такой важный господин, если уйдет к себе после обеда, так уж, разумеется, для того, чтобы „отдохнуть“.

Обедать Павлу Ивановичу подавал тот же Забужский.

Кормил он его мухами, при чем выбирал самых жирных мух.

Раз Забужский на обычный вопрос Цветкова, обедал ли Павел Иванович и после обычного же своего ответа: „так точно, ваше благородие, обедали“ поднес ладонь ко рту, кашлянул в ладонь и сказал немного глухо:

—Ваше благородие!..

На Цветкова он смотрел из-подлобья, все держа ладонь у рта. Сквозь растопыренные пальцы видно было, что он не закрыл рта, будто собирается заговорить опять.

—Ну? —сказал Цветков.

Забужский опустил руку.

—Я им, ваше благородие, сегодня н „коклетку“ сделал.

Он почему-то всегда говорил не котлета, а коклета... Впрочем, он сейчас же поправился.

Он вытянулся, опустил руки по швам и выпучил глаза...

—Котлету, ваше благородие.

Он словно выстрелил этой фразой прямо в лицо Цветкову, произнося ее так, как произносил всякую другую заученную казенную фразу, громко, отчетливо, как он ответил бы,

например, на приветствие высшего начальства, став во фронт:

—Здравия желаю вашему превосходительству.

Цветков именно требовал от него, чтоб он говорил котлета, а не коверкал этого слова по-своему.

—Как котлету? —изумился Цветков, перестав есть и во все глаза уставившись на Забужского.

—Так точно, ваше благородие...

—Котлету?..

—Так точно, ваше благородие.

—Вольно! —крикнул Цветков. Он видел, что Забужский отвечает совсем не то, что следует... Он имел время хорошо его изучить и понимал, что сейчас Забужский своими „так точно“ хочет подтвердить только, что Цветков прав, а он нет: котлету нельзя называть коклетой.

—Из чего ты ее сделал?

—Коклету?

Забужский хотел было поправиться, но Цветков сейчас же его остановил:

—Не нужно. Чорт с тобой! Коклеты— так коклеты. Из чего ты ее сделал?

—Из чмеля-с.

—Из шмеля?

—Так точно. Вот этакий-с.

И Забужский, собрав пальцы на левой руке в кулак, выставил вперед указательный палец.

—Как же ты ее делал?

—Обыкновенно, как вообще...

—Рубил?

—Рубил-с. Потом пустил жирку. Только жарить не жарил—сырую. Должно очень хорошо вышло: ведь у него мед... Сейчас подношу, говорю:

„Пал Иваныч! “

А они бегут, бегут... Потом стали. Я им:

„Пожалуйте кушать“.

Потом говорю:

„Чмель“.

Вижу: нюх-нюх, понюхали. Конечно, нынче—муха, завтра—муха, надоест. Да...

„Чмель, —говорю“.

А они действительно нюхают. После того стали кушать.

—И теперь спит? —спросил Цветков.

—Почивают-с.

Забужский уважал и любил Павла Ивановича не меньше Цветкова.

Правда, он познакомился с ним недавно и ничего не знал о его прошлом, кроме того только, что когда-то Павел Иванович был старый знакомый Цветкова и знал его жену.

Он понимал, конечно, что Павел Иванович, директор гимназии, и Павел Иванович, паук, две — вещи совершенно разные. Но это ничего не значило.

Когда Цветкова не было дома, он проделывал перед Павлом Ивановичем то же самое, что и перед Цветковым.

Только он относился к Павлу Ивановичу более почтительно.

Он называл его „ваше превосходительство“...

Это, однако, не мешало ему, например, не стоять на вытяжку перед Павлом Ивановичем или разговаривая с ним сидеть на табурете, держа между ногами половую щетку.

Ему, кажется, даже было приятно, что Павел Иванович такой невзыскательный господин.

Он говорил про него:

—Они добрые, они не осудят.

И вот, бывало, сядет Забужский на табурет среди комнаты, заложит ногу за ногу и говорить:

—Эх, ваше превосходительство, сами посудите, почему я иногда не могу спать? Первое, что их благородие жалко, а второе, изволите видеть, дома у меня отец, мать...

Он взглядывает на Павла Ивановича и ему кажется, что Павел Иванович слушает его очень внимательно.

Ему даже чудится его голос:

— Терпи, брат Забужский...

— Я-с и то, ваше превосходительство, терплю... Только вы сами человек рассудительный и понимающий про человечество. А как убьют?

— Это кого? — спрашивает Павел Иванович, — тебя или капитана?

— Да и их и меня... Дети у них, изволите видеть, Вася, Коля да Петя, жена опять же, Марья Петровна... Конечно, сами вы человек не военный, вы генерал светский-с, а все-таки возьмите в толк, ваше превосходительство, ведь жалко?

— Гм, — говорить Павел Иванович. — На то война. Молись Богу, Забужский.

— Я и то молюсь.

— Молись лучше.

Однажды во время этих разговоров Забужскому пришла в голову такая мысль:

„А что если убьют Павла Ивановича“...

И ему стало жутко и холодно.

— Пал Иваныч! А что ежели, помилуй, Бог, вас убьют?

Лицо у него вытянулось и побледнело. Только теперь он понял, как дорог ему Павел Иванович. Что они тогда, правда, станут делать с барином...

Тогда они уж совсем останутся одни...

Когда он в ту ночь после ужина стал на молитву, сложив молитвенно руки по католическому обычаю, прочитал вечернюю молитву, мало понимая её смысл, и потом уже от себя прибавил, опустившись на колени: „Матка Божска, змилуйся над паном и мною бедным хлопчиком“, вслед затем он прошептал тихо:

— И над Пал Иванычем.

И распростерся ниц на полу...

### III.

У Цветкова, большего любителя оружия, на стене над

кроватью висело несколько старых военных винтовок: берданка, шаспо, пибоди, магазинный винчестер.

Тут же на полочке лежали патроны к ним, по три, по четыре штуки каждого типа.

А берданочных патронов было несколько пачек... Они попали к Цветкову прямо из мастерских. Он даже не развязал пачек. Так они и лежали тут с краю полочки грудкой в своих синих бумажках, в каждой пачке по пяти штук, перевязанные сверху бумажки крест на крест веревочкой.

В тот день была сильная пальба.

Когда разрывались снаряды далеко от места их разрушительного действия, из окон вылетали стекла. Звенел, казалось, самый воздух, стонал и охал.

„Матка Божска“ не спасла Павла Ивановича... Холодно и строго смотрела она из темного киота на Забужского. Забужский стоя у кровати Цветкова, поставив одну ногу коленкой на край кровати, он брал с полочки, где лежали патроны, синие пачки одну за другой и совал их в карман.

Один карман у него уже был полон. Должно-быть, Забужский не очень церемонился с пачками или очень торопился. Он совал их как попало: на пачке, поместившейся в кармане сверху других, синяя обложка оборвалась, и между разодранными краями бумажки тускло поблескивали заплечики патронов.

Ресницы у Забужского были мокры, и он мигал ими редко и быстро, словно у него их дергало от времени до времени... И каждый раз, когда мигал, всхлипывал и смыгал носом, вздергивал нос в то время, как веки плотно прикрывали глаза.

Наполняя карманы патронами, он повторил несколько раз: —Господи, Господи!..

То и дело глаза у него совсем застилались слезами, и тогда он отворачивал лицо в сторону, и занеся руку к виску, захватывал край рукава пальцами, прижав к ладони и проводил рукавом по глазам от одного глаза к другому. Потом сморкался, отвернувши лицо еще более в сторону,



прямо на пол, зажав конец носа между двумя пальцами.

Но временами лицо его вспыхивало гневом и злобой, когда в комнату снаружи особенно громко доносился звук разорвавшегося где-нибудь поблизости снаряда. Глаза загорались; с особенной поспешностью хватал он с полочки синие пачки и запихивал в карман, наклоняясь и заглядывая в карман, надавливая на пачку пальцем одной руки, а другой рукой оттягивая карман в сторону, чтобы пачка входила свободнее.

Когда на полке уж не осталось ни одной пачки, он схватил со стены берданку и бросился к выходу, на ходу обтирая ствол и затвор берданки краем мундира.

Он побежал прямо на батарею.

Подбегая к батарее, среди шума и свиста он расслышал голос Цветкова, хриплый, казалось, вылетающий: откуда-то из-под земли.

—Четыре патрона, беглый огонь!

У него мелькнула мысль:

—Значит, близко... Атакой идут. .

—А-а-а! — донеслось издали, слабо едва внятно. Чудилось, что кричит один человек, застигнутый бурей в поле, стараясь перекрыть бурю... Но было слышно сразу, что крик этот несется издали, может, за полверсты... Голос одного человека затерялся бы и на близком расстоянии среди грохота орудий, воя и взрывов снарядов.

На секунду Забужский остановился.

Опять словно ветром донесло до него:

—А-а-а...

Надрываясь изо всех сил, Цветков кричит на батарею:

—Четыре патрона! Вон по откосу... Беглый огонь!

Забужский бросился на батарею.

Вскочив на парапет, он глянул вперед.

—Ага! вон они... Вон вы, голубчики!..

Он привалился к стенке, зубами разорвал пачку, вставил патрон и закрыл затвор.

Из-за вала ему видно, как наступает неприятель. На глаз он прикидывал расстояние.

Совсем близко.

Даже лица отдельных солдат можно рассмотреть...

Дикая ярость охватывает его. Ему самому хочется крикнуть им что-нибудь навстречу.

И он кричит, выставившись почти по грудь:

—Дьяволы! Черти! Нехристи!

Но они его не слышат, им даже его не видно... И он сам теперь не разберет, что они кричать... Он видит только эти лица, эти открытые рты, эти словно сведённые судорогой брови, натянувшиеся туго, так что ясно выступили скулы под кожей щеки...

Он прицелился и выстрелил... Выстрелил второй раз, третий. Все мимо.

Тогда он пробежал вперед мимо орудий и, остановившись там совсем на виду, стал стрелять, посылая пулю за пулей выхватывая из карманов пачки, разрывая их, роняя на землю патроны.

Страшный, оглушительный взрыв.

Казалось, земля дрогнула у него под ногами... Впереди — черный столб дыма, блеск пламени в дыму и над дымом что-то, чего он не может разобрать... Камни ли это, комья ли земли, или разорванные на части человеческие тела...

Неприятель попал на фугас.

После взрыва стало тихо... Только эхо грохотало в горах.

—Забужский! идиот!..

Он узнал голос Цветкова.

—Котлета! —кричит кто-то в окопах. Слышится хохот.

—Пошел назад!—кричит Цветков.

Забужский оборачивается.

—Ваше благородие! —кричит он. —Ваше благородие...

Лицо у него грязное, как всегда. Около носа и около глаз видны белые полосы, оставшиеся после того, как он вытирал рукавом слезы...

—Ваше благородие! Вдогонку им! пустите разик...

—Сожгет! — кричат ему опять из окопов, —отойди от орудиев!

Забужский, наконец, бежит назад, соскакивает вниз.

—Ты что, осатанел, что-ль? —обращается к нему Цветков.

Забужский становится во фронт, долгое время не знает куда девать берданку, потом берет ее под мышку.

Лицо у него растерянное, рот полуоткрыт.

—Ваше благородие!

На глазах у Забужского выступили слезы, нижняя челюсть отвисла, и все лицо вдруг сморщилось, как лицо плачущего ребенка...

—Ваше благородие!.. А Павел-то Иваныч...

—Ну!..

Цветков закусил губу.

—Приказали долго жить... Духом их... Вот этакая...

Он расставил руки во всю ширину.

—Как хватит... Стекла у нас выбило... А он, гляжу, ножками кверху... Как хлоп— и готово... С одного духа убило.

—Куда же ты его дел?

Лицо у Цветкова стало как каменное, точно все в нем застыло.

В коробочку положил... Думаю, до вас. А там что скажут.

## В землянке.

(Из рассказов фейерверкера Сорокина).

### I.

— Была у нас одна старуха; этакая, как сказать—в роде монашки. Высокая—во! Как жердь. Все монашки — низенькия, а она высокая.

Да... Рулем звали, потому что, опять говорю, как была она высокая, то и нос ей от рождения был даден как надо быть... Тоже очень большой был нос.

Потому и Рулем звали.

И худищая —страсть... Вся высохла. Шея это длинная-длинная. Голова трясется.

В черном платье ходила и в платке с бахромой. Тоже и платок черный — под цвет.

И вот я что скажу: баба ведь она, если так разобрать, обыкновенная баба; только что старая... А оденет платок и сейчас мое почтение...

Вот тебе и баба...

Платок это, как мантия—до пяток; под горлом булавочкой заколоть и на груди булавочкой, а видать—не видать, что булавочкой. Как мантия... Да...

Сложить ручки и стоит.

Смотришь, смотришь на нее... Господи Боже... Ну ведь, ей Богу же пахнет от неё ладаном или кипарисом, или еще чем...

Ей Богу!

Лицо желтое, руки желтые... Платок этак над глазами шалашиком... И глаза как из погребца смотрят.

Темные глаза у ней были само собой, а тут еще от платка темно...

Как не живая... Либо еще что хуже.

Стоит и молчит.

И раз, помню, стояла-стояла она так-то...

И вдруг—бац!..

—Нынешней ночью, —говорит, —сподобилась я, матушка Пелагея Петровна (это дьяконица наша—Пелагея Петровна) ... Да... сподобилась, —говорит опять, —я быть на том свете...

И сейчас открыла рот...

Зубы это редкие черные, рот, как яма...

—Господи Иисусе Христе...

Перекрестила рот.

—Сподобилась, —говорить опять.

Конечно, молод я тогда был, глуп...

Полчеловек, одним словом; у дьякона в работниках служил... Два рубля получал...

Знаете, жуть взяла...

Погляжу погляжу... Ах ты, Господи... Думаю:

—Все люди, как люди... А у ней все равно как все провалилось: и глаза и рот... Все одно, как и сама провалилась.

Платье это, платок—все черное. Да...

—Сподобилась, —говорит...

Глядь я на дьяконицу.

Чай она пила... Вприкуску, конечно. Так у ней сахар в зубах и остался...

Вынула сахар, положила на стол.

—М-м-м—говорить. —Как же это?

Тут она и пошла, и пошла...

Батюшки мои! Говорила, говорила... Ах ты, чтоб тебя! Доведись теперь, ни в жизнь бы не поверил.

Врала, конечно... Я думаю так, приснилось ей и больше ничего. Мало ли что может присниться! Я к тому собственно и говорю.

Ведь, знаете, была она у меня вчера... Эта самая, ей Богу!.. Как же... А померла... Еще вон когда... Еще я только от дьякона отошел...

Лежу это я вот хоть как сейчас, скажем... Да... Вдруг, мое почтение! Потянуло-потянуло ладаном, кипарисом, сосновой доской, и вот тебе и раз... Хлоп—она... Да... Чернеет что-то в

углу.

Думаю:

—Кто!.. Солдат в шинели?..

Гляжу... Вот тебе и солдат!

—Шарокин, Шарокин!..

Шамкает...

—А? —говорю.

И уж гляжу, нет тебе ни землянки, нет тебе ничего... Сразу, значит. Так и выкинуло. Только внизу что-то: ш-ш-ш-ш—как ракета... А я все выше-выше. Глядь туда, глядь сюда—и ей нету. Ничего нету.

Чувствую только, что меня подпирает что-то снизу. И этак как-будто немножко тепло... Все равно, как теплым духом наддает.

Тихо, конечно.

Явственно слышно: ш-ш-ш... Шипит.

А ну как, —думаю, — пошипит-пошипит, да не хуже давешнего, когда ракету пустили... Да заряд-то в ней фунта четыре!..

А наддает — здорово наддает. Шинель так и отшибает в сторону.

Хорошо, значит, лечу...

И вдруг вижу этак в роде окошечка... Вверху значит... Да... Отворилось. И что же, вы думаете, сейчас бац, — сел у окошка Семен Федоров; сел и трубку курит.

Облокотился этак на подоконник.

—Федоров! —кричу.

А он себе, хоть бы что... Пых да пых... Как пыхнет, так его сейчас и затянет дымом. Только и видно—чуть-чуть трубка светится...

Потом гляжу перестал курить, выбил трубку о подоконник.

—Ну? —говорит.

Облокотился о подоконник обеими руками, вниз смотрит. Совсем высунулся.

—А, —говорит, —это ты, Сорокин?..

И сейчас мне—руку.  
—Хватайся...  
Схватил я его за руку... Так и повис. Думаю:  
—Не приведи Бог оборвусь...  
Одначе ничего, втащил он меня... Прямо, значить, в окно.  
Гляжу, Господи Иисусе Христе... Где я?..  
Этак хатки стоят беленькия-беленькия... Да... фаянсовые...  
И около хаток на порошках старички в белых халатах...  
Лужок, это значить, цветочки по лужку; ручей течет.  
Я сейчас:  
—Фёдоров!  
—Тише, — говорить, — у нас не полагается...  
Я, конечно, шопотом:  
—Где я?..  
А он опять:  
—Тише...  
Ну и, как вы знаете, какой он был сквернослов, —  
выругался.  
Потом говорить:  
—И без тебя сию минуту много шуму.  
И сейчас пригнул пальцем ухо сзади...  
—Погоди, —говорит.  
Прислушался... Да... Вниз смотрит.  
—Так и есть, —говорит, опять трое бредят.  
—Какие, —говорю, —трое? Где бредят?  
—А там, —говорит.  
И пальцем сейчас тык вниз. Глянул потом на меня,  
нахмурился.  
—Знаешь ты где?  
—Где?  
—Во сне...  
—Как, — говорю, —во сне?  
—А очень просто... Во Сне. Заснул, значить...  
Врет, — думаю...  
—Ну говорю, а Руль?..

—И Руль, —говорит, —во сне.

—А то, что шипело?

—И шипело во сне.

Вытаращил я глаза.

Гляжу на него, молчу. То-есть, понимаете, все равно как обухом. Все равно, как отбил он мне все в голове.

Одначе думаю:

Во сне, так во сне! Мне что? Мне все одно.

Подумал, подумал... Ежели, думаю, во сне так мне и времени совсем осталось почти что ничего.

—Можешь ты мне, —спрашиваю,—наших показать,—какие побиты? Хоть, говорю, с нашей батарей?

—Отчего, —говорит, —не показать.

—Можешь?

—Да тебе кого?

Сказал я, кого. А сам гляжу, гляжу кругом. Думаю: рай?.. Так нет, какой это рай, когда я во сне? И гляжу—хаты действительно фаянсовые... Что, думаю, такое? И опять же, что за старички? Может, богадельня?..

## II.

Хорошо; значит, пошли мы.

Идем, это, по ручью, бережком... Цветы кругом желтые, синие, красные — всякие... Огромнейшие цветы! Во —с подсолнух. Я сначала и подумал. Думаю:

—Может, это старички сажали.

Да...

Спрашиваю:

—Федоров, что это, подсолнухи?

—Дурак, —говорит, —какие тут подсолнухи!

Взял сейчас, сорвал один цвет.

—На!

Понюхал я... Ах ты Господи! Одним словом, благоухание.

—Можно, —спрашиваю, —взять с собой?

—Можно, —говорит, —у нас это не возбраняется. Только,



—говорит, —чтоб не топтать.

Дальше идем... Гляжу —рай-дерево, кустов должно пять или больше, — белая и голубая; в цвету... На листьях шпанские мухи ползают.

Только, например, скажем... Это, конечно, так и должно быть: шпанские мухи— они всегда на рай-дерево. Только гляжу, одна муха задела другую и сейчас: дзынь... Потом опять задела и опять—дзынь...

Все равно, как рюмки...

Золотые!...

То-есть, конечно, в середине у них trebuха, а сверху—золотые.

И, знаете, не пахнет... То-есть, ничуть ничего. Например, взять нашу муху... Вонь, смрад... А те — ничего. Ни капельки.

Только звенят...

Я сейчас к Федорову:

—Занимаетесь этим?

—Насчет мух?

—Да, —говорю, —насчет мух. В аптеку, —говорю, —можно.

—Аптекарей-то, —говорит,—у нас нету.

Только гляжу: бац—райская птица... С индюка. Да... Тоже огромная...

Хвост, это, перья —так и горят.

Прямо к кустам. Подошла и сейчас — долб... Значит, шпанскую муху. Потом другую — долб, потом третью.

Потом, подняла крылья, вытянула шею...

—Кукареку-у!...

То-есть не кукареку, а еще как-то... Да... совсем тебе петух.

Пропела и крыльями по бокам — хлоп-хлоп...

Федоров говорить:

—Райка, райка...

Подозвал ее... Протянул, это, руку, будто что сыплет. Да... Подошла она.

Он ее сейчас по голове... Погладил.

Ну, ничего, пошли дальше.

И-д-ем это, значит... Смотрю—Акимов.

И откуда выскочил, —Бог его знает... Только вижу он. Шинель это в накидку, рубаха распоясана. На ногах туфли. Без шапки.

Стоит, смеется.

—Эй, —говорит, — Сорокин!

Выпучил я на него глаза.

— Как, —говорю, —сюда попал?

Потому что на моих же глазах его разорвало... Где рука, где нога, а голова прямо через бруствер.

Да...

Гляжу на него, думаю:

Премудрость... Ведь собрать—одно чего стоило; опять же говорю: нога вон куда, рука вон куда, а голова—за орудия.

И вдруг—весь... И вдруг—целый, и вдруг идет.

—Акимов! —говорю...

И гляжу-гляжу на него... Голова то его... А ноги—разве разберешь! Ну—главное голова цела—значит, слава Богу.

Поцеловались.

—Как живешь?...

— И ах, как, —говорить, —хорошо.

И вдруг бац—стол. Бац—графин, — рюмки, да... закуска. Все. —Садись, —говорит. Сели.

Налил он водочки, закусочки нарезал.

—Со свиданьем...

Я это погляжу, погляжу... Хатки это в сторонке фаянсовые, старички сидят...

— А полагается! —говорю.

Взял это рюмку, а сам—на старичков.

Да...

Потом это нагнулся поближе к столу...

—Господи Иисусе Христе...

Взял и выпил. Утерся скатертью. А сам опять на старичков. Одначе ничего. Хоть бы что. Только один крякнул. Крякнул

и сейчас усы разгладил и бороду вытер.

—Ну, —говорю,—так как? Ничего!

А он опять:

—И ах, как хорошо.

Выпили еще по одной...

—Хочу—говорит, —хлопотать, чтоб жену да ребятишек сюда выписать... А то мне-то хорошо, а им-то...

Закрутил головой.

Чуть было не ляпнул:

—Да ведь ты друг мой милый, помер. Ведь разорвало тебя... Небось—скажи жене — и руками и ногами.

Да, думаю:

—Господь с ним. Может и не помнит, что его разорвало.

Да...

—Хочу — говорит,—хлопотать насчет жены.

—Что ж, — говорю,—хлопочи... Хлопочи брат...

Ну выпили еще по одной. Поднялся он...

—В канцелярию, — говорит,— пойду.

—Насчет жены?

Да, насчет жены.

Простились...

Пошли дальше. Идем: Петров — денщик... Всунул руку в сапог, в другой руке щетка. Другой сапог около стоит, совсем чистый.

И вижу—офицерские сапоги.

—Петров! —говорю.

Поднял он голову. Поглядел, потом говорит:

—Погоди.

Плюнул на щетку. Раз, раз. Пошла работа! Вымазал сапог, поставил на солнышко, чтоб обсох. Ко мне:

—Здравствуй, —говорит.

И я тоже:

—Здравствуй.

Конечно, за ручку.

—Ты, —спрашиваю, —при ком теперь?

— Да все при них, — говорит, — при господине Алферове.  
Я сейчас дерг себя...

Дескать: стой! ...

Потому что знаю—Алферова-то вон еще когда убило.

— Да ведь, погоди, — думаю, — ведь и его убили, Петрова.  
Ничего ему не сказал.

— Ну, как? — спрашиваю—лучше тут?

— Хорошо, — говорит...—Харчи хорошие, обхождение  
хорошее.

— А их благородие?

— А вон они, — говорить.

Гляжу—окно. И сидит в окне Алферов, календарь читает.  
Потом, как швырнет календарь.

— Ни газет тебе, — говорит, — ничего. Хоть сам  
выдумывай, что на свете делается... Ну ни дать ни взять, как  
на батарее.

Снял я шапку.

— Здравия желаю, ваше благородие!

— А, — говорит, — Сорокин! Здорово, брат. Погляди-ка,  
готовы сапоги?

А Петров уж вот он.

— Пожалуйте.

Подаю ему сапоги прямо в окно. Чудно у них! Ну разве  
можно в окно!

И гляжу,—окно, как окно, а стен нет. Чудно!

Одел, значит, сапоги Алферов. Слышно сквозь окно, как  
они скрипят. Значит, там у него пол. Одел и уж бац—вот он  
выходит...

Кителек это беленький, чистенький; в руке палочка.

И пошел себе лужочком. Идет, палочкой помахивает,  
посвистывает... Головой это кочь-кочь...

И видно, что совсем ему хорошо, только газет нету.

Да...

Солнышко это светит, шпанки звенят... Райские птицы тут,  
рай-древо... Помирать не надо...

Гляжу и думаю:

—Чего робеть...

Сейчас к Фёдорову:

—Можно, —говорю, —выкупаться?

—Валяй,—говорит.

### III.

Ну, после купанья пошли мы дальше.

Идем это, слышим вдруг—шум.

Что такое?

Ну, как вам сказать, все равно вот, как мышь в подполье...  
Да... Царап-царап.

Только много громче. В роде как под полом у них мостовая, и там весна началась, и дворники с тротуаров лед это скребками гребут-гребут.

Остановились.

Я говорю:

—Что?

И только сказал, гляжу под ногами тута этакая доска не доска, плита не плита... Да... Кольцо ввинчено.

Федоров сейчас за кольцо.

—Гляди, —говорит.

Глянул я. Смотрю, внизу это земля, вверх облака... И схватился, значит, одной рукой за облако наш же солдатик... Царапается, а взлезть не может.

Другое облако у него под ногами, совсем маленькое, так и качается...

И как это он, значит, подтянется, подтянется на руках к верхнему облаку, а его туда-сюда... раскачивает... А сапоги по нижнему-то облаку др-р-р... др-р-р...

С гвоздями сапоги—так и дерут.

Увидел нас.

—Братцы!

Федоров кричит:

—Канат!

Я тоже:

—Канат!

Да, тоже, как и он... Значить, маленько попривык и осмелел.

И опять же вижу, человек сорваться может.

И слышу вдруг:

—Лови!

Шась—канат... Хороший канат, я уж сразу вижу корабельный.

—Кидай! —кричит Федоров, —трафь на нижнее!

Бросил я канат... И так, знаете, ловко угодил—прямо на нижнее облако, прямо, ему под ноги.

Нагнулся он, подхватил.

Ну, верхнее облако сейчас и поплыло дальше... Дескать, чего мне тут делать, сами теперь обойдутся.

Солдат это, значит, давай себя канатом обматывать, давай обматывать.

Обмотал.

—Тащи!

Потянули мы...

И только подтянули так на вершок— глядь, и нижнее облако закружилось, закружилось на одном месте и поплыло себе за верхним.

До свиданья!

Ну, вытащили мы солдата, смотрим: лицо в крови, ноги в крови... Одна нога перевязана бинтом, другую, должно, не успели... Так вся, как бурак...

Вытащили, значит...

А я как уж совсем тут обрусел, сейчас недолго думавши:

—Доктора! Санитаров! Носилки!—кричу.

Да...

И вдруг, мое почтение—доктор. Вот он.

Подошел.

—Снять, —говорит, —бинт!

А солдат:

—Ваше благородие, как можно бинт снять, она у меня на одной ниточке.

Он опять:

—Снять!

А солдат:

—Перевяжите, ваше благородие, лучше сначала другую.

—Никаких, —кричит, —перевязок!

Ах, ты Господи! Что вы с ним поделаете?

И что же вы думаете, ведь, сняли.

И только что, слава тебе Господи, сняли, как ни в чем не бывало.

Даже не хромает... Даже кровь пропала. Во!

Глядь, откуда ни возьмись—офицер этот в кителе.

Остановился. Поглядел, поглядел...

—Да, —говорит, —молодцы наши доктора...

И пошел себе дальше.

Я сейчас к Федорову:

—Что такое? Как так?..

—Дух, —говорит, —тут такой лекарственный... В роде, значит, как в Крыму. Чуете?

—Как в Крыму? —спрашиваю.

—Да, как в Крыму...

Чудеса! Прямо чудеса!..

—И ничего, — говорит, —не берут! Ничего... У нас, — говорить, — дух вольный... Кто хочет, — говорю, — сейчас разинь рот и глотай...

Ловко?.. То-то и дело. Так уж заведено. Потому если и так рассудить, например: чай или, скажем, деготь...

Пришел в лавку.

—Ну-ка, молодчик, свесь там фунт или два...

А как ты дух свесишь?

И опять же его ни в пузырек, никуда. На то он и дух.

Дальше пошли.

Вижу опять окно. И сидят под окном двое солдатиков. Высунулись в окно, вниз смотрят. Только спины и видно да

затылки.

Один ноги задрал.

Остановились мы.

Я спрашиваю:

—Что делают?

—Слушай! —говорит Федоров.

И вдруг слышу: ш-ш-ш... Потом шлеп! Потом, опять немного погодя: шлеп...

Слышу, что внизу шлепает и шипит внизу.

Все равно, как плюют на что... Только плюют-то—плюют, а зачем оно шипит?..

—Плюют? — спрашиваю.

—Плюют...

Гм... Удивительная вещь!

—А для чего плюют?

—Играют, —говорят. —Карт тут нету, так они—в плевки. Да пойдем, — говорит, — поглядим.

Подошли.

Гляжу (в окошко то все видно), внизу это, значит, может, саженой на пятьдесят японская батарея. Скорострельная. Да жарят так, что страсть... Бум-бум... Выстрел за выстрелом. Страсть.

Палец к орудию приложить нельзя... До того, значит...

А они это... Сейчас один:

—Твоя очередь, валяй!...

А другой свесится с подоконника, возьмет и плюнет...

И так трафит, чтобы на орудие...

И значит, ежели попал, сейчас и шлепнет... А потом зашипит.

Ш-ш-ш... Потом: шлеп...

—А ну-ка, —говорю, —братцы, дайте мне.

И только, что было приготовились (конечно, подвинулись, дали мне место, а один даже говорит: „весьма приятно“), только приготовился, гляжу—наш батарейный... Только не на японской, а на нашей стороне.



Кричит:

—По местам!

Все равно, как он сдернул меня сверху.

Так и полетел вниз кубарем... И уж, гляжу, я в землянке и уж пояс застегиваю.

И вот сейчас, хоть убей меня—ей Богу не знаю, сон ли это, или другое что...

Сорокин кончил свой рассказ.

—Расскажи, — слышатся голоса, — Сорокин, расскажи еще!!!

Сорокин молчит. Он уже устал рассказывать.

—Истинно, рай,—замечает кто-то и вздыхает:—Эх-ма-хма...

Будто ему никогда, никогда не побывать в этом раю... даже и во сне.

## Сказки о жизни.

### I.

—Сорокин, а Сорокин!

—Ну? —откликнулся Сорокин из другого угла землянки.

В землянке было темно. Сорокин только что закурил трубку. Слышно было как он раскуривал ее; трубка сопела и хрипела.

Сорокин был в шинели.

Сидел он прямо на полу, прислонившись к стенке землянки, растопырив высоко почти в уровень с грудью поднятые колени и запахнув на коленях полы шинели.

Его фигура то выступала из мрака смутно и неясно, когда табак в трубке разгорался, бросая красноватый отблеск на его колени, усы, губы, конец носа и руку, державшую трубку, то снова совсем сливалась с тьмой, когда трубка начинала примеркать, и огонек трубки затягивало черным, как уголь, налетом.

—Сорокин, расскажи...

Сорокин крикнул.

Он опять промолчал... Должно-быть табак в трубке у него разгорался плохо.

Наверное, он был сырой... Вот-вот он вспыхнет ярко, как рубин, и в красноватом его отблеске сверкнет бляха на поясе Сорокина с изображенной на ней пылающей бомбой. (Пояс Сорокин снял и повесил его поперек коленки).

И сейчас же трубка опять гаснет. Фигура Сорокина отодвигается в тьму. Только пока еще чуть-чуть блестит бляха.

Опять хрипит и сопит трубка. Искры летят из неё и гаснут. Что-то клокочет в трубке, будто в чубук набралась вода.

Снова разгорается трубка, освещая опять бляху, шинель на груди и коленях округлившиеся, отдувшиеся щеки и

вытаращившиеся напряженно, немигающие глаза.

Наконец, Сорокин раскурил трубку.

—Сорокин! — слышится другой голос и в другом месте землянки.

Сорокина окликнули только два раза и потом уж не тревожили его до тех пор, пока он не справился с трубкой.

Теперь в землянке заговорили.

—Раскурил?.. А? Сорокин!

Слышится, как кто-то зевнул и потянулся и затем, кажется, этот же самый, что потянулся говорит:

—У нас барин, так сейчас... Коробка у него этакая была жестяная из-под конфет. Табак там... Да... Так он, как ежели сухой табак, сейчас туда картошку... Сырую картошку... Нарезет и сейчас—в табак. Ей Богу... Петров! —окликнул он соседа.

Слышится шорох. Рассказывавший про картошку, вероятно, повернулся.

—Это ты, Петров?.. Ей Богу... Тем и спасался—картошкой.

—Тебе про сырой, а ты про сухой —говорит Петров.

—А я договорил?

Петров молчал.

—Я могу и про сырой...

Но голос у него становится тихий... Голос словно уходит в грудь. Словно сорвавшиеся с губ слова испугались, что сорвались и замялись на месте...

Однако он повторяет, откашлявшись, будто у него что-то застряло в горле:

—Могу...

И громко обращается к Сорокину.

—Сорокин!.. раскурил?

—Раскурил... Ну?..—отрывисто говорит Сорокин.

—То-то... а то бы я...

Он кашляет в ладонь тихо и осторожно.

—Расскажи, Сорокин, — слышится еще голос.

—Погоди, —говорит Сорокин.  
Хрипит и клокочет его трубка...

—Погоди...

Слышно, что говорит он, не вынимая изо рта трубки.

Потом он вынимает трубку.

—Чего рассказать?

Новый голос:

—Уж давно не рассказывал, Сорокин...

—Чего?..

В землянке много народу. Только сейчас никого не видеть.  
В землянке темно.

Только чуть-чуть блестит огонек в трубке. Трубка уж наполовину прогорела.

Отчаянно хрипит она и скворчит, как паровоз, только что прибывший из далекого пути на станцию, исхарчивший в дороге почти весь запас угля.

—Завтра письмо написать надо,—говорить кто-то и умолкает.

—Домой?

—К брату...

—Это что в Одесте?

—Да...

Опять тихо...

И опять голос:

—Сорокин!

—Рассказать? —откликается Сорокин.

Снова слышен шорох и потом вздох:

—Ох, Господи, Господи!

—Ты чего? —тихо в наступившей вдруг почему-то тишине вспыхивает вопрос.

—Так...

—Вон попроси Сорокина.

—Расскажи, Сорокин! — раздается сразу несколько голосов.

Сорокин начинает выколачивать о каблук трубку. Тусклые

искры сыплются на пол землянки. Глухо стучит о каблук трубка.

—Беспрерывно надо написать, — несетя откуда-то из глубины землянки шопот.

—К брату?

—Да.

—Что в Одесте?

—Да в Одесте...

—Ну, ладно, —раздается голос Сорокина.

Трубка не стучит больше. Шопот стих.

Совсем тихо в земляке.

Сорокин начинает рассказывать.

## II.

„Конечно, вы сами, небось, знаете, как это водится... Вон я видел у их благородия— бонба не бонба, котел не котел — с трубкой... А скорей всего, что бонба...

Потому, для чего в котле трубка?

И сидит на бонбе этакий... Опять же, как сказать... Ни баба и ни то, чтобы китаец—ни Боже мой... А—коса...

И в косе лента.

И — румяный, румяный, как с мороза.

Да... Летит на бонбе...

Из пушки, значить, выстрелили, и он летит. Прямо как в седле. И за трубку руками держится.

Я было это... Подошел это поближе, конечно, чтобы не шуметь... Отвернул страницу. Думаю:

„Небось там сказано“.

Люблю я это... Сразу думаю:

„Что такое?“

Конечно—сказка... А только опять же: как это на бонбе? Бонба—она горячая... А штанишки у него тоненькие — тоненькие, сразу видно.

Да, подошел... думаю:

„Что за книга?“

А они и вот они—господин Федоров.  
Слышу шпоры звенят... Конечно, сейчас к двери.  
Да это я не к тому. А так вообще. Вон писарь говорить:  
фантазия,—говорит,— у тебя Сорокин...  
И сейчас пальцем в лоб—щелк.  
Говорит:  
„Электричество...“  
Да... Бонба, думаю — хорошо. Чего лучше? Сейчас сел и  
сейчас—мое почтение!  
Вон уж где — покуда тебя и видели...  
Однако, опять же думаю:  
„Ну, бонба; ну, хорошо. А далеко она хватить? “  
Тут и запятая. Чуете! И как если разобрать как следует, и  
ну тебя к Богу совсем и с твоей бонбой!  
Ну, пять верст, ну, шесть, ну, двенадцать... А не хотите ли  
сто? А не хотите ли тысячу?..  
Э, нет, барин с косой...  
А он — с косой, только не китаец. Ей Богу.  
И опять же и то взять в толк. Куда мне надо? Мне надо в  
деревню.  
И вот вы и посудите... Деревня это, речка, гуси плавают,  
церковь. Ребята на выгоне—все как следует... И тут мое  
почтение—бонба, а на бонбе—я...  
Первое что—переполюх, а второе—не поверят. Конечно, не  
поверят.  
—Врет! Глаза отводит...  
И сейчас, только что ты, слава тебе Господи, слез...  
—Ах, дескать, господа старички...  
—А тебя к становому!  
А там уж разговор короток.  
Сейчас:  
—Где взял?  
Вот ты тут и вертись перед ним.  
—Сокрал?  
—Никак нет, ваше благородие!

Да разве он поверит! Ни за что не поверит. Ни в жисть—  
хоть под присягу.

Сейчас:

—Сотский, десятский!

В холодную.

Вот тебе и бонба, вот тебе и Сорокин!

—Я дескать, из Артура.

—Чего?..

Знаете, этак брови, этак глаза — как бык.

—Чего?..

—Артиллерист, дескать, я.

—Я тебе дам, артиллерист! Письмоводитель!

Тот, конечно, выскочил. Как козлик...

—Бе-бе-бе, бе-бе-бе!

Верть, верть —за стол. Послюнил перо, подвинул бумагу.

Пошла писать!

И сейчас тебя, раба божьего, сначала в протокол, а потом  
в холодную.

—Сиди!

Вот я думаю:

„Бог с ней. С бонбой“...

Думал, думал:

„Кого?“

И тут сейчас в ухо:

„Меня!..“

Тоненьким этаким голоском.

Оглянулся, —никого.

Господи Иисусе Христе!..

А он:

—Не пужай...

Потому что, конечно, это ему все равно, что в горячую  
воду опустить.

Да...

—Не пужай...

Тут я и спятил.

Стой, думаю... И сейчас это рукой, рукой назад... А сам чую: царапается по мне это-то, все равно как котенок... Да... рукой, —рукой, это значить... хватить... Смотрю —хвост. Хорошо... Значить, я его за хвост...

Давай тянуть, давай тянуть... А хвост-то длинный, может, в аршин... Так я его — сам тяну, а сам на палец наматываю. И чую, что теплый.

А он это царап — царап по спине — лапами за мундир хватается.

Ах ты, чтоб тебя!...

Ей Богу... Вот и сейчас на спине в двух местах разодрано. Тянул—тянул... Стащил.

Стащил, а он—брык вниз головой. Так и повис на пальце. Как обезьяна. Кривляется. Вертелся — вертелся...

—Служивый...

—Чего?

А сам это знаете, подальше — подальше его от штанов, потому что вижу — так и норовит либо в карман, либо так в штаны вцепиться.

Да...

—Чего?

—Я, говорит, буду тебе служит верой и правдой, только у меня этак может быть прилив крови. Ослобони, —говорит.

„Ага!“ думаю.

А он опять:

—Ослобони...

И все это лапами, все лапами... Так и норовит за штаны.

Думал я думал... Для чего он мне... Мал очень. Сесть на него — что от него останется?

А он:

—Могу!

—Что, — спрашиваю, —можешь?

—Все могу.

—И в деревню можешь?

—Куда угодно.



И вот же, какой каналья!

— Ты, — говорит, — такой-то губернии, уезда такого-то, такой-то волости.

Все рассказал.

Ну, я сейчас присел; стал он на ножке, копытцами—топ-топ. Потом стряхнулся.

А я... портной один научил... у меня и сейчас он в кармане — мел. Вынул мел... Да... Крест ему на спину!

Взял и поставил...

Так что же вы думаете! Весь так и перегнулся. Все равно как огнем его жигануло.

„Ай да портной“, думаю.

И вижу, стал он рость—рость... Рос— рос... Лохматый стал. На лбу рога... Сам растет, и хвост растет тоже. А хвост-то у меня в руке.

Чую, распирает мне пальцы... Прямо как надулся.

Тут я не долго думавши — к нему на плечи да за рога. Да его коленками под пузо. Окорячил.

—Служивый...

—Нет, — говорю, — не служивый теперь я тебе!

—А как?

—А называй, — говорю меня, — ваше благородие.

Потому что думаю: ведь он чорт. Чего с ним? Да...

—Куда, — спрашивает, — прикажете, ваше благородие? В деревню?

—В деревню, говорю.

Как скакнет он!.. Как пошел, как пошёл... Куда тебе бонба! Только в ушах свистит. Прямо по воздуху. Как птица!

### III.

Ну, стало-быть, летим... да... Гляну, вниз— аж голова кружится, —до того высоко.

А ничего, все хорошо видно.

Китайцы это, значить, чай пьют, косы заплетают, японцы—какие рис сажают, какие на плацу: раз-два, раз-

два... Левой... левой!... Кру-гом!..—строго учатся,  
словесность проходят:

—Кто у нас царь?

—Микада!

Какой, конечно, правильно говорить, какой совет.

—Кто царь?

А он—луп-луп глазами.

Сейчас ему в морду—раз...

Все как следует.

Хорошо. Дальше, больше...Хунхузы пошли...  
Пустопорожние места... А то и так—ничего не видно, одна  
тьма... Гляжу потом—дорога. Паровозы свистят, колеса  
стучат: дыр-дыр-дыр, дыр-дыр-дыр.

Гляжу—наших везут.

Сидят себе, голубчики, ножки свесили.

Кричу:

—Не робей, ребята!

А они:

—Гляди, гляди!...

Вижу шапки долой крестятся.

Ах, —думаю,—да ведь я на чорте...

Однаке — ничего. Бог пронес. Думаю, какой еще из ружья  
пустить. Нет, ничего, все благополучно...

Дальше, значит. Байкал перелетели... Глянул вниз—рыбы  
видимо невидимо— стадами ходить. Сомы, осетры, белуга.

Эй, —думаю,—нам бы это теперь, да на сковородку, да с  
маслицем. И в прок посолить можно... Насушить тоже.

А она... Поди... Смеется... Ей Богу. Т.-е. рыба.

Выставилась из воды:

—Гы-гы-гы, гы-гы-гы...

Как человек.

Плюнул я... Дальше!

Вижу... Господи Боже мой! ... Уж и дома...

Этак лесок, этак стадо ходит...

Я сейчас в лесок... Спустился... Слез с чорта.

—Ну, —говорю, —как теперь быть?

—А очень, —говорит,— просто.

И сейчас—хлоп... Опять маленький стал. Меньше котенка.

—В карман— говорит, —можно?

—А щекотать не будешь?

Думаю:

„В самом деле заводится — щекотно...“ Да...

—Не будешь?

—Никак нет.

—Ну, садись!

Подставил ему карман. Бац... Смотрю уж в кармане. Пошел я. Конечно, карман немного оттопырился, однако пошел. Думаю, в случае ежели спросят, скажу, кисет с табаком.

Вышел, значить, из лесу, тут сейчас дорога. Пылища—страсть. Только ветра нету. Тихо. Направо—рожь, налево—гречиха. В цвету вся... белая-белая. Осьминник так или полдесятины. Пчелы над ней.

—Гу-у-у...

Гудут... Жаворонки это:

—Чиви-чиви...

Поют. А кругом тихо-тихо. Лежит на дороге пыль—так и лежит; ни ветер ее, ничего.

Слышу: громых, громых...

—Но-о!

Едет кто-то.

Остановился. Смотрю — батюшка... Шляпа это соломенная, ряса парусиновая... Зонт между коленями. Огромный зонт: разверни—прямо палатка... Сам правит. Увидел меня...

—Тпру!

Дернул за левую вожжу, свернул немного в сторону, сам перегнулся на мою сторону с тележки... Этак руку к глазам... Прищурился... смотрит.

—Сорокин, ты?

—Я-с, —говорю. — Хлеба изволили выехать поглядеть?

— Да, — говорит.

И вижу порылся, порылся в кармане, вытащил из кармана пучочек.

Смотрю—гречиха...

— У меня, — говорит, — ранняя.

— Дозвольте, — говорю.

Гляжу, — и то. Совсем почти готова, хоть коси.

— Ну, — говорит, — прощай, Сорокин! Опять поставил лошаадь, как надо, задержал вожжами.

— Но!

Громых—громых. Поехал дальше.

И я тоже дальше пошел.

Выхожу на луг. Вижу сено ворошат. Бабы это, девки.

Песни поют. Далеко слышно...

Навстречу воз едет. На возу мальчонка сидит в одной рубашонке.

Мужик идет около воза с граблями. За возом жеребенок бежит шершавый, шершавый... Пылит, окаянный, а сам:

— Э-ге-ге-ге-ге...

Так и звенит на весь луг.

Слышу:

— Сорокин!

Скрипел—скрипел воз, остановился... Жеребенок сейчас к матери под пузо... Дрыг-дрыг хвостом. Хвостик то вот этакий... Сваялся весь.

— Сорокин!

Гляжу, наш же мужик.

— Здравствуй.

— Здравствуй!

А жарко... Жарко так, что просто страсть.

— Ну, и денек! — говорю.

— Да, — говорит, — хороший денек.

— Только косить.

— Уж—говорит, — и скосили и просушили.

Вон как! Молодцы ребята. Да... Ну, тоже:

—Прощай!

—Прощай!

Дальше пошел. Вышел на выгон... Гуси это сидят по берегу около речки. Из воды белый камень виден. Баба стоит в воде, подоткнувшись, около камня; белье пральником на камне колотить.

„Стук стук, стук стук...“—только и всего. Все равно, как кто верхом едет. Ничего больше не слышно.

—Эй, тетка!

Гляжу перестала колотить, вылезла на берег, заслонила от солнца...

С пральника вода течет, ноги голые, руки голые; из-под платка волосы выбились.

Гляжу, моя ж баба и есть...

—Где был?

—К барину ходил, насчет осиноков...

—Ну! ...

Махнула рукой под носом... Ну знаете, так вообще. Что у ней носовой платок что-ль! Поправила платок, заправила волосы за уши.

—Позволил?

—Позволил... Тоже насчет овса говорил... Скосить и связать...

Оглушительный взрыв...

Солдаты выскакивают из землянки и бегут к орудиям.

Оказывается, японцы в ночной тьме подобрались почти к самым окопам и наткнулись на мину.

Сверкают лучи прожекторов.

Видно, как неприятель бежит назад.

—Эх-ма, да не дома, — говорить один из слушателей Сорокина и пускает вслед японцам гранату.

Фантазия у Сорокина неистощима. Но все его рассказы непременно вертятся около одного... С разными вариантами он постоянно рассказывает все об одном и том же: как он то верхом на черте, то по ветру, то еще новым каким способом

летал домой.

Со стороны могло даже, пожалуй, показаться, как это Сорокину не надоест говорить вечно об одном и том же, а его слушателям — почти умолять его рассказать чуть не в двадцатый раз об этом одном и том же.



## В боевом огне.

### I.

Дробь выстрелов не умолкала ни на минуту.

Иногда в том или другом месте боевой неприятельской линии выстрелы становились гуще, точно там закипал огненный шквал, и через минуту в трескотне беглого огня определенно и ясно звучали гулко правильные залпы. Это значило, что японцы заметили какую-либо нашу часть, выдвинувшуюся вперед, очутившуюся как раз у них на цель... на открытом месте, Резким, отчетливым, угрожающим звуком рвались залпы...

Японцы не могли видеть нас. Но они знали, что лес впереди них полон нашими стрелками.

Пока еще с нашей стороны не было ни одного выстрела...

Лес еще мочал.

Он стоял темный и мрачный... Тихо шевелились верхушки деревьев... Серый, густой туман дымился между деревьями.

Нервно, лихорадочно сыпались в лес выстрелы с японской стороны...

Казалось, японцы хотели засыпать пулями весь лес, истребить в нем все живое... Казалось, им была дорога каждая минута, каждая секунда, и они торопились сделать как можно больше выстрелов, — пока еще враг не показался из лесу.

Конечно, они стреляли наудачу.

Точно сбитые градом или сломанные ветром падали сучья, ветки и листья.

Но падали и люди...

Трава обогрялась кровью, слышались стоны...

Приподнимаясь на локте, раненый воспаленным взглядом провожал проходивших мимо товарищей... Беззвучно, медленно



шевелились побелевшие губы... Глаза точно становились больше, прозрачней, точно озарялись изнутри проникнувшим их насквозь светом. Точно измученная душа билась в них, как в окна, и молила, чтобы и мир откликнулся на её страдание... и увидел ее в этих больших сияющих глазах и увидел сквозь них глубокую и жестокую муку...

— Подобрать!

Только всего!

Остановиться нельзя... Нужно идти. Только ненависть впивается в сердце... Мрачно вперед, между деревьями, смотрят из-под сдвинутых бровей хмурые глаза... Пальцы крепко сжимают винтовку...

Кажется, деревянная накладка ствола лопнет, как сухая щепка под пальцами.

Вон еще упал...

Пуля угодила прямо в сердце...

Навзничь грохнулся... Царапает грудь... Рубашка на груди и руки потихоньку покрываются кровью... Знает, что нет спасения... Только шепчет:

— Братцы, ах, братцы...

Мигает глазами... На ресницах слёзы.

Силится поднять голову—нет силы... Слышит, должно быть, как около глухо стучат сапоги... Ведет глазами кверху, чтобы увидеть кого-нибудь, какое-нибудь знакомое лицо, но перед глазами какая-то темная муть...

Снова шепот:

— Ах, братцы, ах...

Веки отяжелели, надвигаются

на глаза, словно застывают... Что-то красное брезжит сквозь ресницы...

Что это?.. Листья!.. Точно кровь побежала по стволам деревьев под корой и разлилась в листьях, и листья дрожат и трепещут, кровавые как рубин...

—Этого оставить!..

Кого это «оставить» ... Его или еще кого?..

Холодный ужас наполняет душу. Полуразверстые губы силятся крикнуть что-то... Все лицо подергивается... Вздрагивает все тело...

—Ах, братцы!..

Дальше, дальше...

Мимо раненых и убитых, мимо умирающих, перепрыгивая через убитых, подвигаются стрелки.

Слышатся слова команды; в солдатских рядах попеременно со стоном раздаются там и сям отрывистые голоса:

—Не выдавай!

— Гляди друг за друга...

Точно с кровью вырываются эти слова из груди...

А впереди все валятся...

Вон одному ударило в плечо. Выронил винтовку, схватился за плечо, щупает пальцами около раны... На побледневшем лице выражение напряженного ожидания...

Вон один остановился, сел поспешно и стал снимать сапог.

Видно, что торопится... Дергает сапог, охватив одной рукой около каблука, другой—за носок.

Снял, наконец, и порывисто нагнулся... Грязная портянка вся в крови.

Также торопливо начинает разматывать портянку, подняв ногу и придерживая ее на весу, под икру, правой рукой.

Размотал и опять нагибается. Долго смотрит, потом осторожно ставит ногу на траву, пробует, может ли наступать.

А кровь так и льет сбоку около большого пальца...

Из рядов выскакивает солдат, подбегает к раненому.

—В ногу?

—В самый палец...

И раненый поворачивает ногу так, чтобы видно было рану. Потом взглядывает на солдата.

—Кабы малость полегче... Идти нельзя.

—Свести, может? —говорит солдат неуверенно и мечется на месте.

Глаза у раненого становятся хмурыми. Он машет рукой.

—Догоняй своих. Сам дойду.

Он строго смотрит на солдата.

—Ну?... сказано тебе, Иван Петров!

И, нагнувшись, перевортывает портянку другой стороной, расстилает ее на земле и, осторожно придерживая рукой, ставит на нее ногу.

— Ну, народец-бормочет он.

И вдруг откидывается всем корпусом назад, прикрыв рану обеими ладонями... Нижняя губа закусена, лицо побледнело. Долгий свистящий звук, точно он всасывает что-то сквозь крепко стиснутые зубы, вырывается с одного угла рта, раздувая губы в этом месте.

—О, что б тебе! —шепчет он, —как огнем...

## II.

Иван Петров помог добраться одному раненому офицеру до перевязочного пункта.

Офицер был ранен в руку одной пулей и другой в икру ноги. Когда к нему подбежал Иван Петров, офицер крикнул было ему:

—Пошел на место!

Но именно в этот момент пуля ударила ему в ногу... Сначала он не ощутил никакой боли, и только когда повернулся, чтобы идти, почувствовал, будто ему вдруг свело всю ногу от щиколотки до колена...

Он сперва так и решил было, что у него просто судорога...

—Пошел! — крикнул он еще раз Петрову, не двигаясь сам с места, так как не мог пошевелить ногой... Нога у него сразу отяжелела, точно налилась свинцом.

Он стоял и глядел на Петрова бледный, кусая губы, потому что ему было и больно, и досадно на Петрова, и эта досада и боль щипали и дергали нервы.

—Да вы смотрите, у вас вся нога в крови! —крикнул Петров.

И он, забежав сзади офицера, присел на корточки.

—В щиколотку? —спросил офицер, нагибаясь сам и протягивая вниз руку.

— Никак нет—выше.

Офицер провел рукой по ноге снизу-вверх от щиколотки и вдруг отдернул руку. .

—И то, —сказал он; —а мне казалось в щиколотку или под коленку.

Он еще раз тронул рану и сейчас же положил руку Петрову на плечо.

—Ну, води!

Но в нем все равно остаюсь недружелюбное чувство к Петрову.

Он видел, как Петров то и дело подбегает к раненым, предлагая помочь дойти до лазаретной палатки.

Ему казалось, что Петров это делает из трусости—чтобы самому уйти вместе с раненым.

А потом Петров просидел бы где-нибудь позади до конца боя.

Он шел, опираясь Петрову на плечо, и думал:

«Экий подлец, — дождался-таки».

—Слушай, ты, — обратился он к Петрову, —рад, небось?..

И, покосившись на Петрова, добавил:

—Рад, что меня ранили?

—Никак нет, — ответил Петров. —Упаси, Господи, разве это возможно!..

—Ведь вижу я! — крикнул офицер и опять покосился на Петрова.

—Ну, говори...

—Никак нет...

—Что—никак нет!

—Как же я могу радоваться, ваше благородие!

—Рад, что ушёл из строя?

—Никак нет...

Несколько секунд они шли молча. Офицер тяжело дышал и раза два скрипнул зубами.

Раны начинали давать себя чувствовать.

Вдруг офицер увидел близко перед собой лицо Петрова. Петров, перегнувшись вперед, смотрел ему прямо в глаза.

—Ваше благородие!..

—Ну?

—Неужели ж вы думали...

Прямо, прямо в глаза смотрит Петров офицеру.

— Неужели ж вы...

Голос у него оборвался.

—Эх, ваше благородие.

В его голосе слышалась укоризна.

—А разве же я не вернусь в строй, как отведу вас? — продолжал он.

Он осторожно держал офицера за талию, соразмеряя свои шаги с его шагами.

— Где тебе! — сказал офицер и махнул здоровой рукой, — вот отведешь меня и сядешь где-нибудь под кустом.

Петров качал головой.

—Никак нет, это уж ни как нет, разве это можно... Да у нас таких и нету.

Он все качал головою.

— Жалко мне, ваше благородие, как ежели кто упадет да стонет. Я даже скажу так хотел проситься в санитары... Но это оказалось нельзя... А я бы пошел.

Теперь они уже находились в сравнительно безопасном месте, в глубокой горной лощине. Пули летели через головы. Видно было, как, попадая в скалы на противоположной стороне лощины, они поднимали пыль. Казалось, скалы то там, то тут вдруг загорались невидимым огоньком и дымились.

—Погоди, —сказал офицер, чуть-чуть приподнимая руку с плеча Петрова—помоги мне сесть.

С помощью Петрова он опустил на землю. Нога и рука теперь у него горели, точно их жгло огнем. Он поглядел кругом и потом на Петрова.

—Тут где-то ключ был.

—Как же-с есть! —воскликнул Петров и сейчас же вскочил.  
—Сбегать?

— А ты знаешь где?

Петров стоял уже перед ним навытяжку.

С жалобным гуденьем вверх летели пули одна за другой и шлепались в камни.

И казалось—это не пули отбивают с треском от камней мелкие кусочки, а разбиваются о камни самые пули, как мелкие орешки с тонкой скорлупой.

—Знаешь где?

—Так точно.

Жалобно гудят пули над головой Петрова.

—Так точно, —говорит он.

— А где?

Петров поворачивается, протягивает руку в направлении к скалам.

—Вон, видите...

Маленькое облачко пыли поднялось на краю скалы.

—Видите, где сейчас вдарила?

И проговорив торопливо:

—Я сейчас, сидите пока, — он бежит через лощину.

### III.

Проворно и ловко карабкается Петров вверх по скалам.

Отчетливо видна его фигура на сером, слегка отливающим в желтизну фоне скал.

Рубашка на спине надулась пузырем, шапка сдвинута на затылок, за спиной винтовка.

Затвор винтовки и магазинная коробка блестят на солнце.

И когда Петров нагибается, солнце вспыхивает ослепительно ярко на затворе—точно затвор весь сделан из стекла.

Карабкается Петров по камням, а с ним рядом—его тень. Тень совсем почти лиловая и издали кажется неподвижной—будто она нарисована, будто кто-то кистью сделал это лиловое пятно на серых камнях.

По-прежнему, с жалобным гуденьем, несутся пули через лощину.

Одна, другая, третья... Точно запоздалые пчелы догоняют далеко ушедших вперед товарищей.

Скрылся Петров за выступом скалы, опять появился...

Сперва как свечка загорелся штык на солнце, потом постепенно и вся фигура выдвинулась.

Теперь уж Петров кажется совсем, маленьким — словно игрушечный...

Но все так же он ясно, отчетливо виден.

Видно, как он хватается то той, то другой рукой за камни, за корявую, чахлую поросль между камнями, как от времени до времени быстро заносит правую руку за спину и под приклад поправляет винтовку.

Напряженно, пристально следит офицер за Петровым.

А пули летят, летят...

Мучительно, тоскливо офицеру.

Вот Петров опять словно провалился.

Не задело ли его?

Минута, другая, третья... Нет,-жив... Белеется что-то между камнями, что-то сверкнуло, словно кто повел маленьким зеркальцем против солнца. Сверкнуло еще... Опять вспыхнул штык.

Сразу, как на ладони, вырисовалась фигура Петрова.

Во весь рост вытянулся.

Показывает что-то сверху.

— Молодец! — шепчет офицер. — «Молодец», — хочет крикнуть он и чувствует, что не может... Во рту пересохло, и голос гаснет в гортани.

Точно совсем нет голоса, точно голосовые связки тоже засохли, потеряли упругость и эластичность.

Петров начинает спускаться.

Теперь он уж идет прямо навстречу пулям.

Вон одна шлепнулась у самых ног...

Видно, как закурилась пыль.

Офицер крестится.

— Господи, спаси его.

Еще одна... сбоку...

На щеках у офицера загораются красные пятна, глаза блестят лихорадочно.



Он сидит, опершись здоровой рукой о землю, прямо вытянув стан, не шевелясь, не двигаясь.

Еще пуля...

Он уже не слышит свиста пуль... Он видит только, как курится пыль то там, то тут по скалам, вокруг Петрова.

Опять...

Эта, должно-быть, мимо уха: облачко пыли поднялось как раз за плечом Петрова на отвесной скале.

Еще ударилась пуля в том же месте.

Потом слева, потом над головой, опять над головой, только несколько выше.

Петров постепенно выходит из сферы боевого огня.

Пули уже не ложились возле него, как раньше, а делали перелет.

Офицер вздохнул свободно.

Когда Петров, спустившись, наконец, опять в лощину, подбежал к нему, он прошептал запекшимися губами, простирая к нему руку:

—Принес!

И сейчас опустил руку и спросил:

—Не задело?

— Ничего нет, —ответил Петров. —А воды достал.

Ему действительно удалось добыть воды.

Вода из горного ключа была холодная и свежая.

#### IV.

На перевязочном пункте, куда Петров доставил офицера, предварительно промыв и перевязав ему раны, царила паника.

Японцы обстраивали бараки с ранеными.

Впереди барачников не было наших войск.

Батальоны стрелков вели наступление, как уже было сказано, лесом, много левее барakov.

Но японцы, предполагая, очевидно, что наша боевая линия захватывает и небольшой низкорослый лесок, находившейся впереди перевязочного пункта, сосредоточили значительные силы и в этом месте.

Люди, приносившие раненых и пробиравшиеся к баракам именно небольшим леском против перевязочного пункта, подвергались обстреливанию.

Валились десятками.

Раненые получали новые раны.

Пули роем неслись дальше к скалам, и между ними задевая здоровых и раненых, и в самые бараки.

Японцам, вероятно, не был виден за лесом развевавшийся над походным лазаретом флаг с красным крестом.

Может-быть, они видели только мелькавшие между деревьями носилки, но за дальностью расстояния не могли разобрать, носилки ли это или наступающий неприятель.

Как бы то ни было—их огонь направлялся и сюда.

Благо еще, что пока не было орудийного огня.

Японские батареи были еще сбиты в начале боя, задолго до того момента, с которого начинается наш рассказ.

Наши стрелки шли в атаку уже на обессиленного неприятеля.

Петров устроил своего раненого за большим камнем, где он до некоторой степени был обезопасен от пуль.

— Плохо дело, ваше благородие.

В это время пуля ударила в камень сверху, скользнула и рикошетом, жужжа точно камень, пущенный из пращи, полетела в сторону.

— Видно, боком перевернулась, — заметил Петров.

Офицер посмотрел туда, куда рикошетировала пуля. Около него, шагах в десяти, стоял какой-то ящик с отбитыми верхними

досками и торчащими во все стороны клоками мятой соломы и сена.

Пуля, действительно боком влипла в ящик.

—Черти! — выругался офицер про себя.

—А я так думаю, ваше благородие—проговорил Петров, — отходят они, видно.

И он повел глазами в сторону ящика.

— Ишь...

И потом опять продолжал:

—Отступают, потому что хвати-ка он хоть с отскоку да с первой ихней позиции — наскрозь бы.

Но офицера занимала другая мысль.

—По красному кресту бьют... Ах, что б их...

—Может, не видят.

—Чего?

—Я говорю...

И вдруг Петров весь словно просиял.

—Ваше благородие!

Голос у него зазвенел, глаза заблестели, лицо загорелось румянцем.

—Ваше благородие!

—Ну?

—Ведь бегал же я вам за водой.

Офицер посмотрел на него вопросительно.

—Бегал же, — продолжал Петров все тем же звенящим голосом.

—Спасибо, — сказал офицер.

—Я не про то.

Петров перевел дух.

Я говорю насчет креста. Флаг с крестом нужно повесить повыше... Ваше благородие...

Снова ему точно захватило дыхание.

—Дозвольте попроситься.

Офицер остановил на нем долгий взгляд, потом медленно поднял руку, и перекрестил.

—Валяй...

\*\*\*

Петрову, действительно, удалось укрепить флаг с красным крестом на гребне одной из скал, на вершине росшего там полусгнившего дерева.

Но этот подвиг, однако, стоил Петрову жизни.

Раненый двумя пулями он скатился со скалы, сильно разбившись при этом.

Однако, он нашел в себе силы спросить:

—А стрелять перестали?

—Отступили, —ответили ему. Петров, должно-быть, не расслышал.

—Слава тебе Господи, — произнес он и перекрестился.

Потом он потерял сознание.

## В засаде.

### I.

— Зиновьев, стой!

И с этими словами поручик Крюков закинул поводья на луку седла и поспешно сошел с лошади. Когда он слезал с лошади, он все время смотрел в сторону, вниз и, очутившись на земле, в густой траве, доходившей ему до колен, сейчас же нагнулся, опершись ладонями о колени вытянул шею, сдвинул брови, приблизив лицо совсем к траве... Он что-то пристально рассматривал в траве.

Зиновьев, ехавший за ним сзади, тоже остановил лошадь и тоже посмотрел туда, куда смотрел Крюков.

Но он ничего не увидел в траве... Солнце поднялось уж довольно высоко, от кустарников на траву падали узорчатые тени, казавшиеся почти синими сквозь тонкий дымчатый пар, поднимавшийся от травы. Ярким пятном, такая же синяя, резкая, лежала на траве тень от склоненной фигуры Крюкова.

— Что там? — спросил Зиновьев.

В эту минуту Крюков повернул к нему лицо.

— Кровь, — сказал он и широко открыл глаза. Он умолк, смотря на Зиновьева немного тревожно, чуть-чуть открыв рот... Потом глаза его скользнули мимо Зиновьева, куда-то вдаль, брови опять сдвинулись, лицо приняло сосредоточенное выражение...

Он сомкнул губы, и видно было, как он стиснул зубы: желтоватые худые щеки в тех местах, где они прилегали к деснам, обрзовали складки—словно присосались к деснам.

Это была первая кровь, которую он видел здесь...

Он понимал, конечно, что прибыль сюда не ради прогулки, но сейчас его будто что толкнуло в грудь, когда он заметил дрожащую на тоненьком стебле совсем еще молодого ковыля эту яркую как рубин каплю крови...

Чья это кровь—их или наших—его не интересовало в эту минуту...

Его поразил только „вид этой крови“.

Кровь была свежая и вся в свету солнца... маленький-маленький красный шарик... И на вершине шарика золотой искоркой горело солнце... Точно кровавый глазок смотрел на него из травы.

Зиновьев подъехал ближе.

— И то кровь, — сказал он. — А ну-ка дальше.

И, толкнув лошадь, продвинулся мимо Крюкова... Его лошадь шла по траве, качая головой, косясь исподлобья, и била хвостом по бедрам... Ее одолевали комары, сейчас же окружившие всадников, как только они остановились.

Крюков молча стал взбираться в седло.

— Вот еще! — крикнул Зиновьев, обернулся к Крюкову, оперся рукой о круп лошади и проговорил, блестя глазами, причем губы его, когда он говорил, все время подергивала улыбка.

— Они? ... Крюков, ты как думаешь?

Слова у него словно путались в этой улыбке; в углах губ собралась слюна. Что-то почти радостное было в его лице; он коротко мигал веками и дышал с остановкой, будто чувство, наполнившее его грудь, мешало дыханию. Крюков по-прежнему был серьезен.

— Нужно идти по следу, — сказал Зиновьев.

Крюков наклонил голову.

— Конечно, пойдем, — произнес он. — Жаль только, что мы ничего не захватили с собой, кроме револьверов.

— Это ты про винтовки что ль?

— Да.

— Хорошо и револьверы.

Зиновьев говорил так, будто торопился. На минуту у него в глазах даже мелькнуло что-то, точно он опасался, как бы Крюков не вздумал возражать...

И Крюков заметил это и заметил потом, как опять радостно блеснули глаза Зиновьева, когда он согласился с ним, что нужно идти по следу. Будто он, Крюков, мог не согласиться...

Зиновьев сейчас же двинул лошадь вперед и уже более не поворачивался к Крюкову и ехал молча теперь впереди Крюкова, все время поглядывая то направо, то налево.

Через каждые три-четыре шага попадалась трава, обрызганная кровью.

В одном месте трава была примята. В траве валялась окровавленная тряпка.

— Тут, верно, делали перевязку.

Крюков и Зиновьев опять остановились.

— Лежка, — сказал Зиновьев, словно он говорил про раненого зайца.

Дальше уже пришлось ехать, руководясь исключительно лишь заматой и еще не успевшей как следует выпрямиться травой... По зеленому травяному морю точно бежала тоже зеленая, только немного потемней полоска, где, очевидно, прошел раненый.

Крови не попадалось больше.

## II.

Зиновьев и Крюков стояли на краю почти отвесного обрыва.

Сейчас под ногами их лошадей, аршина на полтора вниз, над обрывом нависал громадный серый камень. По камню ползли тонкие перепутавшиеся плети повилики; бледно-розовые цветы повилики пестрели по камню попережку с нежными, такими же бледными листиками.

Мягкие желтые блики падали на камень от солнца, там и сям прорвавшего горячими лучами зеленую стену кустов орешника, густо зеленевшего по краю обрыва.

Низ обрыва был весь еще в тени.

И трава там была росная, темно-зеленая. Только кое где блестя, как стеклянные брызги, капли росы.

У подошвы обрыва бурлил ручей. Целой волной шел от него густой утренний пар и полз вверх по обрыву между травой и кустами, редая и расползаясь во все стороны, словно застревая в кустах и в траве.

Дальше за ручьем расстилалась степь. Она вся курилась от волновавшегося над ней тумана...

И оттуда, сверху с обрыва, где стояли Зиновьев и Крюков, она казалась, правда, как море или озеро широкое, необъятное...

Что-то блеснуло по ту сторону ручья с небольшого пригорка прямо в глаза Крюкову — точно на мгновение пропрынула в воздухе узкая серебряная полоска... Серебряная полоска словно родилась из воздуха и сейчас же опять потухла, ушла в воздух и снова вспыхнула через секунду... И на этот раз уже не погасла мгновенно так же, как мгновенно вспыхнула, а задержалась над пригорком, чуть-чуть переливаясь вдоль от края и до края расплывчатым то голубым, то синеватым переливом.

— По нас целят! — крикнул Зиновьев. — Берегись!

Он качнулся в седле немного назад и потом в сторону. Его лицо чуть—чуть побледнело.

Над пригорком вспыхнул розовый огонек, словно кто чиркнул спичкой. Потом раздался выстрел, —будто треснуло что-то громко или хлопнул кнут. Резкий подорванный дребезжащий, звук.

Пуля шлепнулась о камень, в самый край, выбивая искры. Порядочный кусок камня отвалился и медленно покатился вниз по обрыву.

Слышно было, как по пути он задевал за другие камни, и они катились с ним дальше, цепляясь друг задруга, увлекая новые камни.

Зиновьев и Крюков соскочили с лошадей.



И едва они успели это сделать, над ухом у Зиновьева, совсем близко, как ему казалось, что-то свистнуло отрывисто и коротко.

Потом он слышал, как пуля щелкнула в кустах по веткам и листьям...

Торопливо схватил он лошадь за повод и отвел в кусты.

Лошадь сейчас же нагнула голову, пробовала щипать траву, но ей мешали удила... Она попыталась избавиться от них, ворочая между ними языком и медленно двигая челюстями. Удила глухо стучали о зубы... Потом она опять схватила траву и стала тягивать в рот, все время путаясь удилами, три или четыре стебелька, какие ей удалось сорвать.

Крюков тоже поставил свою лошадь в кустах.

—Надо его атаковать, —сказал Зиновьев.

—Их там двое, — заметил Крюков, —я видел... Да и потом как мы их атакуем? Видишь, какой обрыв. А за ручьем болото... А если обойти, —они разве станут нас дожидаться?

Опять свистнула пуля и сейчас же почти с ней одновременно —другая... Выстрелы слились так, будто один выстрел вылетел из другого.

— Двое и то, — шепнул Зиновьев, останавливая глаза на Крюкове.

Он и сам не знал, для чего он заговорил шопотом... Будто враг, спрятавшийся за пригорком, мог его слышать.

—Ты их видишь? —спросил Крюков.

Зиновьев отрицательно покачал головой.

—Их двое, —повторил Крюков, — и они нас тоже плохо видят, еще хуже, чем мы их, потому что солнце бьет им почти в глаза.

И вдруг он схватил Зиновьева за руку одной рукой, а другой рукой указал в сторону пригорка.

—Вон они, — сказал и он. —Видишь?

Теперь и он тоже понизил голос... Он все не выпускал руки Зиновьева, крепко надавливая на его пальцы...

— Вон, вон, гляди...

Внезапно он шатнулся.

— Опять целятся...

И он медленно разжал пальцы и выпустил руку Зиновьева.

Потом он совсем неожиданно для Зиновьева, будто что его толкнуло, вскочил, поднял против груди, согнув в локте, левую руку, так что локоть на сгибе приходился ему в уровень с губами и закрывал губы, откинулся немного корпусом назад и прицелился из револьвера, положив его барабаном на сгибе локтя...

Хлопнул выстрел.

Реденькая синеватая дымка на мгновение, точно легкая скомканная газовая паутина повисла против дула револьвера и сейчас же растаяла...

Зиновьев тоже выстрелил.

За своими выстрелами они не слышали выстрелов противников—видели только, как вспыхнули за пригорком один за другим два огонька.

Затем они, как по уговору, переглянувшись и не сказав ни слова, перебежали от кустов к краю обрыва, спрыгнули вниз и залегли за камнем.

### III.

Нагановские револьверы бьют замечательно точно и на сравнительно порядочное расстояние.

Но и при учебной стрельбе иногда сфальшивит рука или глаз.

А тут приходилось стрелять не по деревянной мишени, а по врагу, вооруженному, по-видимому, очень хорошо... Приходилось защищать свою жизнь...

В первую минуту всякие другие соображения у Крюкова отошли на задний план.

Неприятелю, правда, было трудно целить по нему и Зиновьеву: мешало солнце. Солнце должно было светить прямо в глаза этим невидимым врагам, скрывавшимся в густой траве за бугром... Все выгоды позиции были за ним и Зиновьевым. Но разве может спорить револьвер с винтовкой. Впрочем, он и об этом мало думал: о том, что у врага винтовки, а у них револьверы... Запав за камнем и сняв для предосторожности шапку, пристально, не двигаясь, смотрел он на бугор...

Несколько раз ему казалось, будто там что-то краснеет в траве и шевелится... Тогда он напрягал зрение, вглядывался еще пристальней, сжав плотно губы, наморщив брови, не шевелясь, не двигаясь... Но у него начиналась резь в глазах, то красное, что шевелилось в траве, превращалось в круглое радужное пятно, выплывало из травы и плыло медленно навстречу его напряженному взору, совсем застилая зрение.

А когда он переводил глаза на траву, около себя, радужные круги выплывали и над травой, и трава казалась не зеленой, а жёлтой...

Через минуту он опять останавливал глаза на бугорке? ...

Вот он—этот бугорок... И за ним притаилась смерть и зорко смотрит и ждет своего времени...

Злость поднималась в нем и какая-то ожесточенность. И казалось ему в эту минуту, если он ненавидит кого-нибудь в мире, так только тех двух, укрывшихся за бугром. Почему они спрятались там и сидят, и не выйдут, и сторожат, не поднимет ли головы он или Зиновьев...

Небось, ведь знают, что у них с Зиновьевым только пашки да револьверы. А у них—винтовки. Струсили, значить. Им овладевало нервное состояние. Он сознавал, что еще несколько времени, —и он не вытерпит, вскочит опять, как тогда, на ноги и что-нибудь крикнет... Всего насколько минут лежал он за камнем, но ему уж было невыносимо лежать так—точь-в-точь как когда лихорадка и лежишь на кровати, и всякое положение, которое принимаешь, кажется томительным...

А там в траве? шевелится что-то... Это верно. Это они—хунхузы, это их красные кофты. А свои шляпы они, видно, тоже сняли, чтобы не привлечь на себя выстрелы, Вон, вон...опять.

Блестящее маленькое колечко загорелось на солнце в траве, на вершине бугорка...

Это дуло... Прямо в лицо смотрит Крюкову... И как близко...

Отодвинувшись на локтях немного назад от камня, он положил револьвер на край камня. Еще раз вспыхнула в нем злоба, словно горячее пламя лизнуло сердце...

„Ага... Показался-таки."

Неторопливо, все отодвигаясь от камня, чтобы дать простор руке, он навел револьвер и замер...

И все в нем замерло. Даже дышать он перестал... Прямо-прямо в центре колечка стала блестящая точка на конце револьверного ствола...

Мгновенная радость охватила душу и сейчас же ушла, оставив мозгу одну мысль: „теперь попался. “

Свалив немного револьвер на бок, он потянул за спуск.

Выстрел стукнул...

Человек в красной кофте, словно его подкинуло снизу, вскочил на вершине бугра, прижимая к груди руки, и сейчас же повалился назад, на спину.

Крюков не промахнулся.

Это был меткий выстрел, и Зиновьев крикнул ему.

— Чисто!

Потом он так же, как и Крюков, лег на живот, положил револьвер на край камня, подложив ладонь левой руки под локоть правой в которой держал револьвер.

— А другой —мой, —сказал он, повернувшись к Крюкову.

Крюков ничего не ответил.

Он вынул портсигар, закурил папироску, но сейчас же бросил ее в сторону и стал рассматривать свой револьвер, как будто видел его в первый раз, сосредоточенно и внимательно...

Затем нахмурил брови и положил револьвер, как раньше, на край камня, на прежнее место.

#### IV.

Хунхузов было двое.

Один из них теперь был убит.

Другой сознавал, очевидно, что дальнейшая перестрелка может окончиться трагически и для него.

Он решил ретироваться в степь.

Была ранняя весна, и степь только что оделась травой... Ни идти, ни ехать незамеченным по ней было невозможно...

Китаец придумал незамысловатый способ обезопасить свое отступление...

Он взвалил на плечи своего убитого товарища и, согнувшись под тяжестью его тела, насколько можно быстро, направился в глубь степи.

Он рассчитывал, вероятно, что нагановская пуля окажется недостаточно сильной, чтобы ранить его сквозь его ужасный щит.

Но труп, видно, был не под силу китайцу, или он устал, или тоже был ранен... Он очень торопился и оттого, что торопился, спотыкался на каждом шагу...

Зиновьев пустил ему пулю вслед, но промахнулся... Выстрелил во второй раз—и опять промах.

Он повернулся к Крюкову и сказал:

— Не могу...

Лицо у него покраснело, губы нервно передергивались...

— Стреляй ты...

Крюков стоял неподвижно и молча смотрел на удалявшегося китайца.

Ему он хорошо был виден, т.е. не сам тяжело ступающий и спотыкающийся китаец, а тот другой мертвый, который висел у него на спине...

Он видел его лицо, запрокинутое назад, его длинную, худую желтую шею. Ворот кофты был расстегнут. Широкая грудь сильно выпирала вперед. На солнце блестели, как белая кость, его голые, с задравшимися штанами, колени;

— Стреляй, — опять сказал Зиновьев.

И так как Крюков все медлил, прицелился сам, но сейчас же опустил руку с револьвером.

— Все равно ничего не будет...

И он передернул как-то криво всем лицом и стал часто-часто кусать нижнюю губу.

Крюков поднял револьвер...

Необыкновенное спокойствие сошло ему на душу. Убил одного—почему не убить другого. Ведь это—враги.

Теперь у него не было ни злобы против китайца ни радости, что китайцу вряд ли удастся уйти от его пули... Душа словно опустела... Словно все, что волновало ее, улеглось и успокоилось...

Не торопясь, спокойно и уверенно стал он наводить револьвер, повел им сначала немного вправо, потом вниз и, плавно закруглив, стал поднимать вверх.

Это был его способ верно брать мушку.

Он никогда не останавливал мушки на цели; он только подвигал револьвер планомерно к цели, нажимая в то же время на спуск.

И когда мушка приходилась прямо против цели, курок у него падал точно сам собой...

Редко, когда он делал промах, — разве если волновался.

Но сейчас он был спокоен.

Он знал, что на таком близком расстоянии его пуля все равно достала бы китайца, если бы попала в грудь трупа. Но для большей верности он решил стрелять в труп немного ниже шеи.

Он уже готовился спустить курок, и вдруг ему показалось, будто лицо трупа исказилось страданием и мукой.

Это было так неожиданно, что он невольно вздрогнул и опустил револьвер.

В эту минуту Зиновьев крикнул:

—Ты его только ранил!..

Зиновьев был бледен как полотно...

Крюков почувствовал, как дух захватило у него в груди.

—Но ведь я видел, как он упал, —проговорил он растерянно.

Он сам не сознавал, что говорит.

Он даже не взглянул на Зиновьева... Он теперь ничего не видел, кроме этого желтого, искаженного болью лица... И он говорил, не отводя глаз от этого лица. Голос Зиновьева звучал в его ушах словно откуда-то издалека.

—Смотри! Смотри! —прошептал Зиновьев.

Желтое лицо сморщилось, губы раскрылись слабо, медленно и сомкнулись опять.

—Болван! —закричал Зиновьев во все горло, будто китаец мог его понимать.

—Болван! Да ведь он живой... Идиот!

— Он, вероятно, принял его за убитого, —сказал он Крюкову...—Может, с ним был обморок...

Затем он быстро вскочил на лошадь...

Взбираясь в седло, он крикнул.

—Нужно их захватить обоих.

За ручьем было болото, спуск к ручью был крут как стена...

Но они и в овраг спустились и перешли потом болото...

Им, действительно, удалось захватить обоих хунхузов.

На другой день им говорил старый капитан Радынский:

— Охота была и лошадей мучить по камням да по болотам и самих себя... Стреляли бы... Ведь он сам, небось, должен был понимать, что делает. Зачем вы не стреляли? И особенно вы Крюков: вы такой хороший стрелок...

Почему он не стрелял?..

Крюкову показалось, что все, что он ни ответит капитану, не будет настоящим ответом... Теперь он и сам не мог уяснить себе, зачем он тогда опустил револьвер.

И он ничего не ответит Радынскому.



## Георгиевский крест

### I.

Карпенко не мог дать себе ясного отчета, что это такое. Действительно ли он видел эту белую фигуру, или; ему только так показалось.

Когда он открыл глаза и прямо в глаза ему блеснули глянцевые, мокрые от росы ярко-зеленые листья, ему почудилось, будто кто-то смотрел на него из кустов в то время, как он еще боролся с дремотой. Перед глазами была словно серая сетка, и сквозь эту сетку он видел неясно и смутно, как сквозь воду, чье-то лицо и расстегнутый ворот белой рубахи... В эту минуту он не сознавал себя еще хорошенько, сон еще владел им, но в нем осталось впечатление, будто кто-то осторожно высунулся из кустов и сейчас же опять спрятался в кусты, как только он совсем открыл глаза.

Он, может-быть, пошевелился, когда открывал глаза, и этим спугнул неизвестного наблюдателя.

„Что за шут“, подумал он и перевел глаза на Елохова.

Елохов сидел к нему спиной, поджав ноги по-турецки. На коленях лежала винтовка. Карпенко заметил, что деревянная накладка ствола отсырела, а там, где ствол не был защищен деревом, на стали проступала словно матовая изморозь, как на стенках жестяного корца, когда в него нальют холодной воды.

Елохов сидел неподвижно. Голова была опущена; воротник мундира оттопырился назади, и из воротника торчали кончики завязок суконного галстука, сдвинувшегося кверху, к затылку. Галстук лежал не на рубашке, а прямо на теле. Елохов, вероятно, задремал тоже.

Карпенко окликнул его тихо:

—Елохов!

Елохов вздрогнул, поднял голову и сейчас же опять наклонил ее и занес правую руку назад к затылку, заскреб пальцем по шее за воротником.

—Елохов, — сказал Карпенко громче.

Елохов вскочил, оставив винтовку на земле повернулся к Карпенко и вытянулся.

Мундир у него был расстёгнут; галстук съехал на сторону; из-под галстука виднелась голая грудь и уголок ворота сорочки.

—Заснул таки, скот ты этакий, — сказал Карпенко.

Елохов мигнул веками потом выпучил глаза, и они стали у него неподвижны, как стеклянные.

—Никак нет.

Ладони его, казалось, приросли к штанам. Пальцы были широко растопырены. Карпенко видел, как он искал средним пальцем шва и, когда нашел, прижал палец плотно, будто зажимал дырку.

Карпенко велел ему взять винтовку и осмотреть кусты.

Но в кустах никого не оказалось.

„Может, и померещилось“, подумал Карпенко.

—Признавайся, ты спал? — обратился он опять к Елохову.

—Не могу знать, — ответил Елохов.

— Как не можешь знать!

—Может, спал.

Елохов видел, что офицер сердится. И он снова словно ушел в себя. Глаза выкатились, и в них не было теперь никакой мысли, никакого выражения. Казалось, всякая мысль вместе с тем, как вытаращивал он глаза, уходила куда-то вглубь внутрь его, точно он надевал на глаза стеклянные футляры и прятался за ними.

Елохов стоял молча, вытянув руки, и совершенно неподвижно.

—Ну чего ты вытаращился на меня! — крикнул Карпенко.

Веки у Елохова чуть-чуть дрогнули... Потом дрогнул также слабой, почти незаметной дрожью голый, совсем лишенный растительности подбородок с левой стороны.

И вдруг глаза у него затянуло серой туманной влажной мутью. Губы скривились. Опять дрогнули веки, и опять по всему подбородку пробежала дробная дрожь.

—Еще этого недоставало, — пробормотал Карпенко и отвернулся.

Впрочем, он снова сейчас же повернулся к Елохову.

—Ну, чего ты?

И, шевельнув усом, крикнул не громко:

—Ну, вольно.

Елохов вскрикнул.

—Эх, ваше благородие, —заговорил он, — жалко мне вас, ей Богу, ваше благородие.

Тут он шмыгнул носом, при чем верхняя губа у него вздернулась кверху, почти к самым ноздрям; потом поднял руку и провел рукавом под носом, от локтя вдоль по всей руке к кисти...

—Ей Богу жалко... Я вспомнил как вы бредили.

—Я бредил?

—Бредили, ваше благородие. Маменьку вспоминали.

И он пытливо устремил слезящиеся глаза в лицо Карпенко. Казалось, он хотел проникнуть этим взглядом в самую душу Карпенко.

—Бредили, —повторил он. —И потом я еще вспомнил, как они нас провожали. Говорят: „Елохов, а у тебя есть мать? “—„Нет — говорю, — померла “. А тут вы кричите: „Елохов, остолоп “. Вы ничего не слышали. А! они заплакали.

— У тебя разве мать умерла? —спросил Карпенко.

Елохов смигнул слезы.

— Так точно, ваше благородие.

И он умолк.

Перед отправлением на Дальний Восток Елохов помогал укладываться Карпенко вместе с его денщиком. Елохов тоже служил раньше у Карпенко в денщиках. Потом он вместе с Карпенком ушел и на Дальний Восток, в его же отряде.

В настоящее время Карпенко и Елохов находились впереди нашей цепи. Уже два дня искали неприятеля.

Но неприятель не показывался. Сегодня пронесся слух, будто японцы передвинулись на северо-восток, ближе к горам.

Карпенко, раненый легко в ногу недели полторы назад, не спавший две ночи после обхода степи, почувствовал страшную усталость. Рана тоже ныла. Перевязка сдвинулась. Он присел отдохнуть, и чтобы перевязать рану и не помнить, как забылся.

Елохов сам подбежал к нему, когда увидел его бледного, схватившегося одной рукой за раненую ногу, а другой — за ствол дерева.

## II.

Товарищи звали Елохова Савелихой, а в последнее время Солохой.

Первый Солохой назвал его один вольноопределяющийся, поступивший в роту как раз перед войной.

Елохов великолепно умел вязать чулки, шарфы, салфетки для столов.

Умел он также вышивать шелком и шерстью.

Рубашки он шил себе сам и сам их чинил и метил.

На всех рубашках на подоле у него стояло: „А. П. Е. “— Александр Петрович Елохов.

Каждый день у Елохова непременно кто-нибудь спрашивал, застав его за шитьем, или вязаньем, или вышиваньем:

— Елохов, где ты этому научился?

Вместо ответа Елохов обыкновенно только взглядывал на спрашивающего исподлобья, продергивая в то же время нитку с иглой, и затем, расправив шитье на колпаке и разгладив ладонями, смотрел на свою работу, склонив немного на бок

голову... Потом пригнул голову к другому плечу и опять смотрел на работу.

Многим казалось странным, почему Елохов никогда не запачкает своего шитья. Коленкор или полотно до самой последней строчки оставались у него такими же чистыми, какими попадали в его руки из магазина или от заказчика.

А был он достаточно неряшлив, за собой не следил — ни штанов, ни сапог не чистил ежедневно, как это делали другие солдаты, а сапоги у него постоянно были рыжие с опустившимися, словно нарочно измятыми, как облупившаяся клеенка на старом диване, голенищами, с загрубелыми носками, с обтертыми задниками. Штаны на коленках лоснились, точно на них налип тонкий, вместе с грязью и пылью, слой воска, того самого, который он употреблял для натирания ниток, когда приходилось делать какую-нибудь грубую починку.

Комок этого воска, черного как смола, товарищи Елохова помнили столько же времени, сколько и самого Елохова — со дня его прихода в роту.

Этот воск, а также кусочек мела, заточенный в виде лопаточки, Елохов хранил в своем сундуке, обращался с ними очень бережно и прятал сейчас же обратно в сундук, как только больше в них не оказывалось надобности.

И мел, и воск приехали с Елоховым и на Дальний Восток.

Можно было подумать, что и мел, и воск у Елохова какие-то особенные, приготовленные каким-нибудь особенным способом, и нигде и ни за что в целом мире не достанешь другого такого мела и воска.

— Где это ты всему этому научился, Елохов?

А Елохов, низко склонив голову над работой, выводил тоненьким и словно сдавленным голосом, тихо и не совсем внятно, будто голос, рвавшийся полной силой из его груди, потухал вдруг во рту:

Чуднай ме-е-сяц плывет над ре-ко-о-ю

Все в объять-ях ночной ти-и-ши-ны...

Проворно бегают его иголка по шитью, то вонзаясь в шитье остриём, то блестя, выскакивая наружу. Слышно, как с шипящим присвистом шумит и шуршит продергиваемая сквозь наложенный коленкор нитка.

Ничего мне на све-те не на-а-до...

Елохов совсем забылся.

—Елохов, а Елохов!

Елохов, наконец, поднимает голову.

Он хмурится и говорит грубо:

—Ну, чего тебе?

Но в лице его какое-то растерянное выражение.

Глаза из-под нахмуренных бровей бегают по казарме. Спина согнута, плечи чуть-чуть приподнялись.

Потом глаза опять на мгновенье останавливаются на любопытном товарище.

И сейчас же веки трепетно вздрагивают, и видно, что ему трудно не опустить глаза, будто в глаза ему блещит свет, и ему больно смотреть на свет, а он все-таки не хочет отвести глаза.

Вот опять мигнули веки с дрожью, быстро-быстро...

Он опять сдвигает брови.

— Ну, чего тебе?

Голос, однако, у него теперь неуверенный.

А товарищ смеется.

—Где, спрашиваю, научился?

Сам говорит, а сам смеется.

Словно слова выходят у него изо рта с этой улыбкой... Слова срываются с губ, а улыбка остается, насмешливая, растягивающая губы.

И вместе с тем Елохов видит, что он ищет кого-то по казарме...

Небось, уж выдумал, как поднять его насмех, и сейчас увидит кого-нибудь и что-нибудь крикнет.

И Елохов кричит сам:

—А тебя кто научил лаяться

—А я тебя разве лаял? —говорит товарищ.

Елохов хмуро молчит.

Потом говорит:

—Не лаял, так облаешь.

Теперь глаза у него опущены. Но он знает, что товарищ еще тут, стоит над ним... И им овладевает неприятное чувство. Он знает, что товарищ смотрит на него сверху все тою же улыбкой, и тот же насмешливый взгляд, озаренный насмешливой улыбкой, словно ползет по нем, раздражая ему нервы.

—Баба, —говорит товарищ.

Елохов молчит.

—Солоха!

Елохов продолжает молчать.

—Савелиха!

Тоже молчание.

—Модистка!! — уже почти кричит солдат.

Елохов вскакивает, откидывает наотмашь руку, на лету сжимая пальцы в кулак.

Но с колен у него сыплются ножницы, воск, катушка ниток.

Бормоча что-то, он нагибается к полу.

И он слышит, как громко хохочет солдат, обозвавший его модисткой, а другие товарищи тоже хохочут.

### III.

Карпенко, вероятно, плохо перевязал себе рану.

Нога у него опять разболелась. Он чувствовал, что не может встать без посторонней помощи.

— Елохов, помоги подняться.

Елохов присел, охватил его правой рукой за спину и стал потихоньку подниматься, держа в левой руке винтовку.

Он видел, как, когда он так поднимал Карпенко, тот закусил нижнюю губу и чувствовал, как по его телу пробежал трепет. У Карпенко словно свело плечи; одно плечо опустилось, другое поднялось почти до уха.

Он протянул вниз руку и осторожно пощупал то место, где была рана.

Потом медленно выпрямился.

Лицо у него побледнело, рот был полуоткрыт, дышал он быстро и коротко, все не закрывая рта.

— Говорил я вам еще вчера...— начал было Елохов, но Карпенко его перебил.

— Веди! — проговорил он тихо.

Голова у него склонилась бессильно. Казалось, шейные мускулы у него сразу ослабели.

Обняв Елохова за шею, он почти повис на нем, продолжая держать голову опущенной и дышать частым, отрывистым дыханием.

Елохов стал осторожно подвигать его вперед.

До цепи было недалеко, но Карпенко почти каждую минуту говорил Елохову.

— Погоди.

Елохов останавливался.

Карпенко опять, как раньше, опускал руку и трогал рану двумя пальцами то там, то тут по всей перевязке.

Он прикасался к перевязке самыми кончиками пальцев чуть-чуть и сейчас же отдергивал пальцы, но всякий раз после этого он вздрагивал всем телом мгновенной трепетной дрожью и сторонился всем телом, даже голову отклонял в сторону—точно сторонился от раны.



И всякий раз лицо у него искажалось болью, голова запрокидывалась немного, рот раскрывался еще шире, дыхание становилось слабым и неслышным.

Потом он опять шептал:

—Веди...

Долго они тащились так между камнями, кочками и кустами.

Иногда Карпенко спрашивал:

—Скоро?

—Сейчас, ваше благородие, — отвечал Елохов.

—Погоди.

Снова остановка...

Снова Карпенко тянется рукой к ране.

— Да вы не трогайте, — говорит Елохов.

—Погоди, — шепчет Карпенко.

Брови у Елохова сдвигаются. Он умолкает. Лицо становится мрачным.

Он угрюмо смотрит вперед.

Когда они были уже совсем недалеко от цепи, Карпенко спросил:

—Так ты говоришь, я бредил?

—Бредил ваше благородие.

Все также у Карпенко мрачно лицо. Все также угрюмо он смотрит вперед в чащу кустарников.

—Про мать?

—Так точно, про маменьку. Карпенко начинает вспоминать, почему у него с Елоховым сразу стали товарищеские отношения.

„Почему?..“

До сих пор эти товарищеские отношения не выразились ни в чем...

Ни в одном слове не проскользнули.

Но он чувствует, что уж не может закричать на Елохова, как раньше. Осталось в нем что-то после какого-то слова Елохова, что стало преградой всяким окрикам и бранным словам.

„Почему? “

Он взглядывает на Елохова.

Как знакомо ему это лицо, широкое, курносое, без усов и бороды, с белесоватыми реденькими бровями.

Все также расстегнут у Елохова мундир. Ворот грязной рубахи виден из-под мундира. Галстук совсем вылез наружу... И в галстуке—две иголки, замотанные нитками.

„Солоха... “

Карпенко вспомнил, как потешаются над Елоховым в роте.

И ему стадо обидно за Елохова и жаль его. До слез жаль.

„За что, правда, на него нападают”.

И опять он подумал: „Почему ему стал Елохов так близок! “

Он простака, Елохов, он добрый. Он, может только трусоват немного.

И снова прежняя мысль. Но ему-то что до этого? Раньше Елохова он считал и вовсе трусом. А теперь будто старается его выгородить.

И вдруг он вспомнил:

—Да ведь у тебя нет матери.

И он смотрит на Елохова грустно, долгим взглядом.

—Ваше благородие, — шепчет Елохов, —ваше благородие...

Карпенко видит, как быстро моргают его веки.

На глаза набегают слезы. Нижняя губа отвисла.

— Ваше благородие... Как сейчас их вижу... „Нету “, говорю, а у вас слезки—кап-кап...

Выстрел...

Из скалы, поросшей снизу чахлыми корявыми кустами, выбегает японец.

Выскочил, остановился, вскинул винтовку.

Прямо—в упор.

Но Елохов, как зверь, кинулся ему под ноги, сбил на землю и притянул за ствол свою винтовку, которая у него выскользнула из рук, когда он схватил японца за ноги.

За самый почти конец ствола схватил он ее.

Винтовка как-то кувыркнулась прикладом кверху и потом осталась неподвижной.

Карпенко слышал, как захрапел японец... Елохов вонзил ему штык прямо в горло.

#### IV.

В лесу в перебивку затрещали выстрелы...

Елохов подбежал к Карпенко.

—Ваше благородие...

Карпенко сидел на земле, вытянув перед собой ноги, и, наклонившись немного в бок, вынимал револьвер.

—Не зацепило вас?

—Вынь револьвер, — сказал Карпенко, — мне трудно.

Елохов вынул револьвер и подал его Карпенко. Затем стал перед ним спиной к нему, взяв винтовку на руку.

— Умру, — крикнул он, — за вас! Потом прошептал:

— Матушка Дарья Васильевна, молись теперь за Митеньку.

Карпенко звали Дмитрием, а его мать — Дарьей Васильевной.

Елохов сдвинул брови, стиснул зубы и стоял неподвижно как каменный.

И лицо у него тоже словно окаменело.

Все в нём напряглось, натянулось, застыло...

Казалось, никакая сила не сдвинет его с места. Он точно врос в землю.

Из кустов показалось сразу двое японцев.

Елохов вскинул винтовку и выстрелил. Карпенко тоже выстрелил.

Один японец упал. Другой выпустил винтовку из рук и схватился за плечо.

Пуля, видно, задела его только слегка.

Елохов выстрелил раз и еще раз.

О каким-то ожесточением, нажимал он на спуск, Дергая его с силой, почти не ощущая отказа под палацем.

\*\*\*

Перестрелка, между тем, впереди разгоралась.

Карпенко крикнул:

— Елохов!

Елохов оставил японца и подошел к нему.

— Нужно идти, — сказал Карпенко. — Помоги.

Теперь Елохов просто взвалил его на спину и понес.

\*\*\*

Каким-то чудом удалось им добраться незамеченными до своих.

Елохову дали „Георгия“.

До этого „Георгия“ никто в роте не хотел поверить рассказу Елохова о том, как он воевал с японцами.

— Вот тебе и баба.

Когда расхворавшийся Карпенко уезжал для поправки здоровья в Россию, Елохов шепнул ему:

— Ваше благородие, а вы не забудьте сказать маменьке, Елохов, мол, георгиевский кавалер. Им, может, лестно будет за меня...



## За чужую жизнь.

### I.

— Сестра, куда вы?

Она ничего ему не ответила... Только подняла на него глаза и сейчас же опустила их, мигнув веками, и прикусила нижнюю губу.

Она была в большой клетчатой шали, накинутой на голову. Шаль выступала над лбом, и от шали на верхнюю часть лица падала тень. Только на мгновение блеснули ему её глаза, будто вспыхнуло что-то под шалью ясное и светлое и потухло... Она еще больше сдвинула шаль на лоб и стала торопливо закалывать ее под подбородком большой синей булавкой, нагнув голову и придерживая подбородком края шали.

Он видел, как нервно дрогнули её губы и как опять она прикусила нижнюю губу и повела головой в сторону... Потом он расслышал перерывистый, трепетный, всхлипывающий вздох. Губы раскрылись и не закрывались больше. Глаза замигали быстро-быстро, и разом вдруг по щекам побежали слезы.

Торопливо, еще ниже нагнув голову, она скользнула мимо него и направилась прочь от палатки.

Одной рукой она придерживала шаль под подбородком, другой держала юбку сбоку... Она почти бежала. Быстро мелькали её ноги в высоких, на пуговках, башмаках. Ветер относил в сторону края шали и белый фартук.

Синяя с белыми каемками по подолу юбка прилипала к ногам с той стороны, откуда дул ветер.

Доктор двинулся было за ней, сделал несколько шагов и остановился. Приложив руки ко рту рупором, он крикнул громко во весь голос:

— Идите назад, вернитесь! Куда вы?!

Но был ветер, и он сам чувствовал, как ветер словно сдул его слова, едва они зазвучали, сдул, казалось, у самого рта и развеял по полю...

Горячая волна ветра на мгновение даже будто самому ему залила гортань и захватила дыхание.

Он махнул рукой, повернулся и пошел между распакованными деревянными ящиками и еще не распакованными, с железными обручами и перевязанными веревками, к большой длинной палатке с развевающимся над ней на длинном шесте флагом Красного Креста.

У входа в палатку прямо на земле сидел солдат. Правая нога у него была забинтована от щиколотки до колена. Согнувшись, он осторожно сдвигал вниз от колена, расправляя складку за складкой, штанину своих шаровар. Пара больших из желтой кожи туфель стояли возле него под левой рукой; с другого бока у правой руки лежал короткий толстый: костыль.

У него, верно, была рана не из тяжелых, и он после перевязки вышел из палатки, чтобы не занимать понапрасну места, взяв в левую руку туфли, а правой опираясь на костыль.

Изредка он приостанавливал расправлять складки, совсем близко пригибал голову к ноге и начинал колупать твердым желтым ногтем, с сосредоточенным выражением в лице, запекшуюся на штанине бурыми пятнами кровь. Потом опять продолжал свое дело, спуская штанину все ближе к щиколотке.

Солнце светило ему в лицо; на короткой, реденькой, чахлой, затоптанной траве словно обгоревшей сверху, неясно обозначалась позади него тень от его фигуры, выступая резко и отчетливо темным пятном на полотнище палатки.

Палатка тоже была вся в свету солнца; от флага с красным крестом, раздуваемого ветром, то захлёстывавшегося вокруг древка, то развёртывавшегося во всю ширину и трепетно, с каким-то плещущим, захлебывающимся звуком, бившимся в воздухе, по полотнищам палатки порхали неясные призрачные тени...

Словно над палаткой летали птицы с широкими крыльями, и это на палатку падала тень от их крыльев...

Полотнища палатки то втягивались внутрь, и тогда, как ребра, обозначались под полотном натяжные веревки и канаты, — то надувались пузырем.

Палатка словно дышала неровным болезненным дыханием... И словно всхлипывала от боли и боролась с ветром и боролась со своей болью...

Точно рвался куда-то вдаль, и звал кого-то и кому-то что-то хотел крикнуть трепетавший над нею высоко в воздухе флаг с красным крестом.

Тень от него, казалось, хотела заглянуть в палатку и влететь в нее и искала места всюду, появляясь то там, то тут, то на самой верхушке у подножья древка, то по скосу с той и другой стороны, то над входом...

Из палатки вышел человек в золотых очках с руками, засученными по локоть...

На руках была кровь... Будто он тряпкой вытирал кровь где-нибудь на полу или мыл окровавленную посуду и забрызгал всего себя кровью...

Даже на завороченной рубашке около локтя краснели кровавые пятна. Кровь была совсем свежая, как морс, и видно было, что она смочила насквозь полотно рубашки.

—Слушайте, что это с Вороновой? Я сейчас только ее встретил... Такая взволнованная... кажется, плакала даже.

Человек с засученными рукавами поправил очки, поглядел вдаль и, блеснув очками, потому что как раз в этот момент повернул голову к доктору, ответил:

— Она убежала на позиции...

И несколько времени смотрел на доктора, молча, слегка приподняв голову (очки опять соскользнули у него немного с переносицы книзу) и наморщив бровь и кожу на белом гладком высоком лбу.

И доктор, и этот человек с окровавленными руками— его помощник, — работая на перевязочном пункте под немолчный грохот орудийных и ружейных выстрелов, доносящихся издалека, привыкли к этим выстрелам, как привыкаешь, живя в городе, к такому же немолчному стуку колес по мостовой и уж не слышишь, увлекшись работой, этого стука...

Сейчас на минутку они оторвались от своих инструментов, от бинтов и пластырей... Но в глазах еще была какая-то муть, осталось впечатление чего-то тяжелого, что расплывалось смутными образами дымящихся темно кровавых ран с неопределенными, непрерывно меняющимися очертаниями искривленных губ и разверзающихся, и растягивающихся, исчезающих и выплывающих опять словно из какого-то мутно-кровавого сумрака...

Шумел ветер. Издали бухающим звуком долетали залпы...

И ветер, и эти залпы, казалось, неслись мимо их, мимо их сознания, оставляя в сознании только смутный след.

Но когда они заговорили о Вороновой, убежавшей на позицию и, как по уговору, подернулись разом в сторону позиций, залпы вдруг будто оторвались от шума ветра, будто стукнуло у них в душе.

И, поглядев друг на друга, они сказали:

Один—тот, который был постарше:

—Слышите! опять...

А молодой:

—Боже мой... Но ведь там, вероятно, чистый ад...

## II.

Вороновой пришлось ходить за одним из первых приплевшихся на перевязочный пункт раненых.

Его задело пулей легко, и он даже отказался лечь после перевязки. Он сел в углу, накинув на плечи шинель, свернул из



кусочка газетной бумаги „рулетку“ и закурил, пуская дым после каждой затяжки вниз себе в ноги.

Палатка была поставлена наскоро; снаружи не было земляной завалинки, и дым синей полосой тянуло вон из палатки под нижними концами полотнищ.

Только нижние слои дыма словно цеплялись за жидкую траву и уползали из палатки более медленно серыми струями.

Пустив дым, раненый еще помахивал ему вслед кистью руки, как веером, держа свою „рулетку“ в другой руке между большим и указательным пальцами, огнем вниз, и загораживая ее во всю длину остальными пальцами.

Слабый отблеск огонька рулетки розовел у него на мизинце, снизу вдоль по всему мизинцу.

Иногда бумага на „рулетке“ вспыхивала пламенем, и тогда розовый отблеск пламени загорался между всеми пальцами, и пальцы, казалось, по краям светились насквозь, словно в самих пальцах кровь вспыхивала огнем.

Докурив рулетку до половины, он положил ее около себя на какую-то щепочку так что хвост „рулетки“ лежал на земле, а другой конец—на щепке, свесил руки между коленями запрокинул немного голову и поглядел вокруг...

И видно было, что сейчас ему очень хорошо, и он, может-быть, ничего больше не хочет от жизни.

Шея у него была худая; загорелая, почти коричневая кожа натянулась на шее и над подбородком с исподу. Резко выделялись две жилы под кожей по сторонам шеи; две продолговатые впадины темнели под подбородком около скул.

Все держа голову несколько запрокинутой, полуоткрыв рот, он вобрал в себя воздух, при чем грудь его поднялась высоко, и на груди колыхнулась рубашка; потом грудь опустилась медленно, и рубашка плотно опять прилегла к груди.

И отдышался он сейчас тоже с таким видом, будто ему легко и хорошо, и ничего больше не нужно...

Воронова подошла к нему и спросила:

— Теперь тебе легче?

Он остановил на ней: глаза и улыбнулся почти блаженной улыбкой.

Эта улыбка словно выплыла у него изнутри, из самой души, задержалась мгновение на губах и потом расплылась по всему лицу и затеплилась живо в глазах...

А у Вороновой слезы подкатывались к горлу, и, вместе со слезами сердце сжимала жалость. Она тоже улыбалась раненому, но в её улыбке трепетало что-то затаенное и глубокое. Жалость, загоревшаяся в сердце, просвечивала сквозь улыбку. И глаза у ней были словно одни, улыбавшиеся раненому, а другие, внутренние, жалевшие его...

Широким, ясным светом горели глаза, но за этим светом, или в нем, загорался другой огонь и ширился, и рос, и трепетал сквозь него.

— Легче? — повторила она.

Тот, другой огонь вспыхнул, озарив все лицо... Веки дрогнули. В голосе послышались звенящие нотки.

Но она задушила в себе слезы.

Если бы она была одна или могла убежать куда-нибудь, она зарыдала бы глухо, неудержимым рыданьем.

— Теперь покойно, — сказал солдат, взял рулетку, замаял огонь между пальцами, отложил рулетку в сторону и опять поднял глаза на Воронову.

— Как в раю... И-и, сестрица.

Он поежился под шинелью и повёл плечами.

— Знобит? — спросила Воронова.

Раненый вздернул брови и усмехнулся.

— Чего?

Он, очевидно, не понял, о чем у него спрашивают.

Воронова чуть-чуть покраснела.

— Я говорю, тебе холодно сейчас?... лихорадит?

— Зачем лихорадит? — почти с удивлением произнес раненый, — не... не лихорадит...

И он отрицательно закачал головой... Все с тем же выражением некоторого недоумения в лице, он опять более пристально поглядел в глаза Вороновой и проговорил медленно.

— Нн-е... ничего...

— А много там еще осталось раненых, когда ты ушел?..

Раненый повел головой назад и немного в бок, в сторону выхода из палатки.

— Тамо-то?..

И, помедлив секунду, вздохнул...

— Много, сестрица... Теперь, гляди, понесут скоро... И-и — сколько!..

Он махнул рукой и потряс головой.

Воронова отошла от него и вышла из палатки наружу... Она еще чувствовала в себе слезы, но слезы в ней словно застыли. Какая-то волна поднялась в ней... Что-то ворвалось в нее жуткое и вместе сладостное... Высоко-высоко подхватила ее волна... и сердце замерло.

Прямо перед ней было ровное место, потом каменистый низкий кряж, прорезанный узким ущельем.

Сражение происходило далеко впереди за этим кряжем. Оттуда сквозь шум ветра слышались глухие выстрелы. Будто лопалось что-то за кряжем с заглушенным гулом, однообразно каждый раз—не тише, не громче.

Она еще не знала, что она сделает сейчас, будто ее бросит охвативший ее внезапно порыв... То жуткое и сладостное, что было в ней, колыхало душу... Сердце рвалось из груди и сжималось с какою-то замирающей болью с каждым ударом пульса.

— „И-и, как много...“ И им ничего не надо... Только посидеть минутку в затишье да покурить... Опять в груди закипают слезы...

Но почему же их не несут?..

Пристально смотрит она в прорез ущелья... Но там — только камни, —как на взвороченной мостовой. Ветер крутит песок между камнями, выметает песок из ущелья, гонит по чахлой траве...

Бух-бух! —доносится из-за кряжа.

Шумит ветер, высоко поднимаются песчаные вихри...

И ей захотелось закричать что-то громко, броситься навстречу ветру... Она чувствовала, что уж не в силах владеть собою... Словно в ней самой был ветер и гнал ее вперед, в самое сердце охватившей в эту минуту, казалось, весь мир бури...

Точно и правда волна подкатывалась ей под ноги... Высоко-высоко взмыла волна...

— Нужно туда, нужно бежать...

### III.

Она стояла перед этим пожилым человеком с седеющей бородой, с лоснящимся, красным как кирпич лицом, глядевшим на нее несколько испуганно серыми в красноватых жилках глазами.

—Лягьте! — крикнул он ей отрывисто и быстро и в ту же минуту повернулся и вскочил на парапет внизу бруствера.

— Ро-та!..

Она не разобрала, что он закричал сейчас совсем другим голосом, чем за секунду перед тем крикнул ей. Ее поразил только этот голос, немного хриплый, дребезжащий, точно вылетавший из старой, распявшейся и растрескавшейся трубы.

Прямо перед ней была его спина, широкая, с идущей наискось по выцветшему мундиру портупей. Она сосчитала звездочки на эполете и схватила его за рукав.

— Капитан!..

— Пли!..

У ней зазвенело в ушах. Залп, казалось, раздался у ней над головою... Невольно она поднесла руки к ушам.

Капитан обернулся.

— Лягьте, говорят вам!

— У меня все вышло, все бинты...

Сбоку раздался стон.

Она вся вздрогнула нервной дрожью, пробежавшей по всему телу и по лицу и так же нервно, дрожащим голосом крикнула, прижимая концы пальцев к вискам, с мучительной болью в лице:

— О, Боже!..

Капитан опять стоял уже к ней спиной.

— Ро-т-та!

Она повернулась и побежала вдоль бруствера к тому месту, откуда слышался стон.

— Пли!

Снова залп... и потом почти непосредственно за залпом — одинокий запоздалый выстрел...

Этот выстрел точно оторвался от залпа, точно что-то крикнул вслед залпу отчаянно, резко.

И опять зазвучал надтреснутым, дребезжащим звуком голос капитана:

— Слушай команду!..

Капитан затем крикнул еще что-то, может-быть, какое-нибудь ругательство, но словно поперхнулся и вместо того прокричал, тараща глаза, все тем же дребезжащим голосом и тем же тоном, будто продолжал обращаться к солдатам:

— Сестра, назад! Сестра... стой!

И снова, когда его глаза от Вороновой, блуждая по всему брустверу (он искал раненого, к которому бежала Воронова) перешли на солдат, крикнул:

— Выдерживай залп!..

Он повернулся лицом в поле, крикнул и потом неторопливо и медленней, чем раньше, только еще громче, надрываясь изо всех сил, крикнул все ту же команду:

— Ро-т-т-а,!

— Какая-то ожесточенность слышалась в его голосе.

— Пли!

Это „пли“ точно кнут хлестнуло по воздуху.

Теперь залп вышел ровный, как один выстрел.

— Капитан!..

Он обернулся.

Она опять стояла перед ним, прижимая к груди ладони.

— Что же я буду делать! Нет бинтов, ничего нет.

Он заметил, что она без фартука.

— Санитары, — начал было он, но голос у него оборвался. Он бросил быстрый взгляд около себя и крикнул:

— Абдулка!

Откуда-то вынырнул невысокого роста солдат, сутулый<sup>7</sup> широкоплечий, с раскосыми глазами. Только на одно мгновение взглянул он на Воронову и потом, не мигая, остановил глаза на капитане.

— Давай мои бинты, каналья, и там еще что-то было...

Капитан кричал на Абдулку, будто Абдулка провинился в чем-то перед ним, и капитан на него сердился.

Даже ногой он топнул.

Она схватила его руку и поцеловала.

Он сделал вид, что не заметил этого и еще раз крикнул своим хриплым голосом:

— Давай, давай, каналья... Скорей!

И повел глазами мимо Вороновой...

\*\*\*

Когда на перевязочном пункте капитану, так, как и он тоже был ранен, один из субалтернов, также раненый, высказал удивление, зачем он отослал в общее пользование разные перевязочные материалы, принесенные для себя, он ничего не ответил и долго лежал, молча, смотря вверх широко открытыми глазами. Удивительное спокойствие было в его лице и какая-то грусть и нежность.

Потом он приподнялся на локти и сказал:

— Но как она тогда на меня глядела... Верите ли, никогда в жизни не видел я таких глаз.

И он опять лег навзничь и стал смотреть вверх, и, может быть, это неправда, может-быть, это так показалось лежавшему с ним рядом офицеру, — на одну минуту глаза у капитана словно затянуло влагой, и сквозь эту влагу блестел словно солнечный луч.

## Раненый.

### I.

Когда в него ударила маленькая японская пуля, в левую ногу, немного повыше колена, он потерял равновесие и скатился вниз.

Падая, он схватился рукой за ветку боярышника, и теперь эта ветка была в его руке.

Он лежал навзничь, откинув руку с боярышником назад вытянув здоровую ногу и согнув раненую; крепко растопырив прижимал он ладонь к раненому месту. Средний палец был весь в крови. Темным, все расплывающимся пятном проступала кровь сквозь сукно под рукой. От сукна кровь переходила на ногти и концы пальцев.

Будто он только что раздавил между пальцами спелую вишню.

Он дышал часто и быстро, бледный, с полуоткрытым ртом, опустил веки... Потом он поднял веки, и веки у него словно застыли; глаза округлились, не мигая, вытаращившись страшно, с выражением страдания и боли. Неподвижно, как у мертвого, остановились в самой середине белков помутившиеся зрачки.

Побелевшие губы растянулись, облекая плотно выступившие теперь между ними, крепко стиснутые зубы; а на щеках, в углах губ, кожа собралась в складки.

Он испытывал невыносимую боль во всем теле. Во время падения он расшибся о камни. Рана меньше давала себя чувствовать, чем те ушибы и ссадины.

Он продолжал держать в руке ветку боярышника, зажав пальцы в кулак, так что ногти впились в кожу на ладони. Временами он чуть-чуть ослаблял пальцы и опять медленно начинал сжимать их, надавливая все сильнее на ладони.

Дышал он теперь тяжело, сквозь губы, и при дыхании у него немного отдувались углы губ, и дыхание выходило со свистом, как из лопнувшего меха.

— Пе-рва-я!..



Он вздрогнул и задержал дыхание. Веки мигнули, и потом глаза снова широко открылись, и белки глаз, словно это был не живой человек, а восковая фигура, перекатились в сторону, в то время как тело оставалось неподвижным.

Зрачки были теперь почти в самых уголках глаз и опять, казалось, застыли.

Он вспомнил, как в тот момент, когда он покатился вниз по откосу на соседний холм с грохотом въехала артиллерия.

Ему даже бросилась тогда в глаза высокая фигура фейерверкера на передней лошади. Снизу он не видел пушек и остальной прислуги. Даже лошади фейерверкера он не видел. Он видел только самого фейерверкера, — его широкий большой: лоб, шапку, сдвинутую на затылок, круглое красное лицо с рыжими усами.

Он помнил еще, что в руке фейерверкера была плеть, и он держал ее, занеся высоко над головой, подавшись всем корпусом вперед и держа повод в руке, зажатой в кулак, почти над самым подбородком.

Того, как фейерверкер хлестнул лошадь, он не видел: в это время он перекувыркнулся через голову.

Теперь пушки, стало-быть, были уже на позиции.

Оглушительный выстрел раздался у него над головою.

Плавно, расплываясь все шире, захватывая все большее пространство, сталь оседать дым книзу.

— Вторая!..

И раньше, когда он лежал неподвижно над откосом, не прекращался беглый ружейный огонь с нашей стороны из кустарников, но он только сейчас, только после этой пушечной пальбы расслышал опять ружейные трещащие выстрелы.

Но слух уж не воспринимал их полностью. Казалось, наверху, где залегли стрелки, разложили гигантский костер, и это, именно, не ружейные выстрелы доносятся оттуда, а трещат дрова, как трещат дрова в печи, когда из печи с громким треском

выскакивают угли, — трещат и разгораются, все больше охватывая пожаром весь холм.

— Первая!

У него мелькнула мысль:

«Нужно перевязать рану».

Но для этого нужно было сесть.

Потихоньку стал он вытягивать больную ногу, подгибая в то же время здоровую.

Потом оперся рукою о землю и сел.

На минуту он прикрыл глаза.

Он чувствовал, что на дальнейшее у него уже нет сил.

Все силы ушли на то, чтобы принять сидячее положение.

И он сидел, вобрав голову в плечи, открыв рот, опустив и закрыв глаза...

Бессильно, как плети, повисли вдоль тела его руки.

«Нужно перевязать», опять мелькнула мысль.

Он зашевелился...

И сейчас же он почувствовал, что пальцы на одной руке у него слиплись от крови.

Он остановил глаза на ноге, где была рана. Почти до самой коленки расплылось по штанам бурое мокрое пятно.

И он вспомнил, как, когда он вытягивал больную ногу, и штаны тоже оттянулись под коленкой, в нем осталось после того ощущение, будто под коленкой мокро.

— Значит, навывлет...

## II.

Перевязав кое-как рану, которая оказалась, действительно, сквозной, он потерял сознание от потери крови, от возни с бинтом, принесённым им еще из Харбина и находившимся у него постоянно в кармане.

Сколько времени пробыл он в таком бессознательном состоянии, он не помнил.

Он очнулся, чувствуя на своем виске что-то горячее, — словно он лежал около затопленной печки.

Он открыл глаза и сейчас же опять закрыл их: прямо в лицо ему светило солнце.

Он заметил, что лежит несколько в стороне от того места, где делал себе перевязку... Как он попал сюда, он тоже: не помнил. Вероятно, переполз как-нибудь, уже теряя сознание.

По-прежнему он испытывал слабость и боль во всем теле. К этому примешивалась еще жажда. Во рту было сухо, и само дыхание казалось горячим.

Голова горела...

Он повел глазами, медленно вращая белками с красноватыми жилками, в одну сторону, потом в другую, потом запрокинул голову.

Веки тихо напоззли на глаза, Рот оставался полуоткрытым.

Он слабо, втянув в рот, прижал нижнюю губу зубами, и сейчас же губа, словно сама собой, высвободилась из-под зубов и отвисла.

— Воды...

Но он сам не услышал своего голоса... И он знал, что, если бы он имел возможность запросить громко, во весь голос, его все равно никто не услышал бы.

Но он опять повторил, почти беззвучно шевеля губами:

— Воды...

Облизнул горячие губы кончиком языка и прошептал еще тише:

— Хоть бы каплю...

Глаза совсем закрылись. Грудь задышала слабо, тихо. Еще больше запрокинулась голова...

Снова тихо зашевелились запекшиеся губы... Блеснули кончики белых зубов...

— Хоть бы росинку... Сестрица!..

Ему показалось в это мгновенье, что он на перевязочном пункте. Там много воды. Целые баки...

И он уж видел эти баки... И казалось ему — уже он слышит шум шагов... Вот-вот холодный краешек стакана коснется воспаленных губ...

Или, может-быть, воды принесут в корце?

Начался бред.

Но бред был мгновенный. Мысль о воде, мелькнувшая в мозгу, облеклась в формы и образы, но эти образы исчезли так же мгновенно, как мгновенно родились—вместе с другой мыслью:

«Скатился под откос... Один... никто не видит».

Он открыл глаза.

—Третья!

«А! пушки еще тут... Что-же тот фейерверкер?»

И опять мысли о воде.

Земляк, хотя бы ты... Небось, есть у батарейного.

— Четвертая!

Как же это он не расслышал третью? Он вспомнил про дым после выстрела. Дым, как и в тот раз, клубился над оврагом.

Только теперь он был гуще, как туман.

Как же это он пропустил выстрел?..

А вот теперь слышит... Ого, как гроыхнуло!..

Господи, хоть скорей бы кончилось...

Он приподнялся на локте, нагнул ветку чтобы не мешала видеть, что делается впереди, в поле, и поглядел туда.

Прежде всего он увидел налево черную волнующуюся линию трех или четырёх казачьих сотен, развернувшихся фронтом.

Казаки, должно-быть, готовились к атаке.

На солнце, над их головами, такой же неровной колеблющейся линией блестели пики.

Острия пик то потухали, то вспыхивали. Раз-два они загорались ровно по всей линии.

Лошади стояли одни спокойно, другие топтались на месте, выдвигаясь крупом назад из общей линии, опять равняясь, снова выпирая из фронта.

Хриплый, словно простуженный голос кричал что-то на фланг.

Впереди казаков дальше можно было рассмотреть неприятельскую пехоту.

Пехота отступала...

Вот ближайшие к казакам ряды пехоты остановились... Сверкнули штыки... И через секунду штыки затянуло синим дымком.

Раздался залп...

Опять сверкнули штыки, и из-за рассеявшегося дыма вырисовались спины отходивших врагов, мерно нога в ногу равняясь плечо к плечу.

Японцы, отступая, отстреливались.

— Первая!

Он видел, как шрапнель разорвалась над средними неприятельскими рядами, начавшуюся в рядах сумятицу, и снова потерял сознание...

Но, теряя сознание, он отчетливо расслышал впереди себя лошадиный топот. Как во сне, у него мелькнула мысль:

— «Пошли в атаку».

### III.

Пришел он в себя уже вечером.

Солнце садилось.

Кругом было тихо. Он посмотрел на холм, где стояла артиллерия, — никого...

Впереди—тоже пустое поле.

Его охватил ужас.

Значит, бросили... Может, искали, да не нашли. Может, считают убитым.

Значит, конец...

Значит, подыхать ему тут в овраге, как собаке...

Он попробовал встать и не мог. Попробовал ползти на четвереньках, но он полз в гору, туда, откуда свалился, и почувствовал сразу, что не в силах ползти в гору.

—О, Господи!

Он стоял на четвереньках, тяжело дыша, собираясь с силами. Потом схватился рукой за ветку, протянулся немного вперед и остановился опять.

—Нет, не могу...

Красные круги пошли перед глазами.

Он выпустил ветку и лег на спину.

—Умирать, так умирать...

Но сейчас же оперся обеими руками о землю и сел.

—Нет, что же это! Как же это умирать... За что?

Тихонько провел он ладонью по больной ноге. Кровь на штанах запеклась коркой; сквозь штаны он нащупал бинт. Бинт наощупь был тоже, должно-быть, в крови, и кровь на нем тоже засохла.

Но теперь кровь не идет больше. Все-таки ему удалось ее остановить.

Боли в ране он не ощущал почти никакой. Но страшно болею левое плечо, ломило грудь и спину.

Верно, сильно разбился он, когда летел по откосу по камням.

К плечу прикоснуться даже было больно. А тут еще слабость и озноб, как в лихорадке и по-прежнему—жажда.

Ему казалось, если бы теперь ему хоть два глотка воды, к нему опять вернулась бы сила.

Она ушла с кровью и пришла бы опять с водой.

Но он старался не думать о воде, потому что едва появилась эта мысль о воде, все в голове у него путалось. Глаза сами собой закрывались, и он чувствовал непоборимую потребность лечь навзничь и лежать так неподвижно, с закрытыми глазами и мечтать... Словно внутри его, в его душе притаились образы, которые были для него теперь радостью жизни и выплывали из души и становились перед глазами, едва он закрывал глаза.

Необыкновенно отчетливо и ясно он видел в это мгновение совсем близко руку с засученным рукавом и со стаканом воды... На стенках стакана по стеклу выступила словно изморозь от холодной воды. Ярko блестит по краю стакана кругленький ободок...

Нет, не нужно думать об этом.

Это бред начинается... Потом опять будет обморок, может-быть, смерть. Разве он знает?..

Нужно отдохнуть немного и потом ползти. Ползти, пока не устанешь. Тогда отдохнуть, опять и опять ползти...

Чтобы хоть отчасти освежить рот, ему пришло в голову жевать листья. Листья отзывались горечью, но жажда, правда, будто уменьшилась немного.

В кустах, выше по откосу, послышался шорох...

Он прислушался... Шорох повторился. Кто-то осторожно подкрадывался к нему сзади.

Шагов он не слышал, — слышал только, как раздвигались ветки. Точно полз к нему кто-то по траве, отводя кусты руками.

И вдруг что-то шероховатое, теплое и мокрое коснулось его щеки.

Потом он ощутил на щеке горячее дыхание.

Превозмогая боль, он повернулся.

Перед ним стояла собака, мохнатая, с острой мордочкой и острыми, как у лисицы, торчащими ушками.

И он подумал:

«Это по мою душу...»

Потом он стал шептать то, чему еще в детстве научила его бабка, — полумолитву, полузаклинание против разных злых духов, бродящих по земле в вечерний час.

Собака лизнула его в лицо.

Он перестал шептать, вытер губы и сплюнул:

«Тфу!...»

Он заметил на собаке какую-то сумку и еще что-то, притороченное на её лохматой спине. Он смотрел на нее, молча, широко раскрыв глаза.

Собака повернулась и стремительно бросилась от него прочь.

Минуту спустя, она появилась опять в сопровождении санитаров...

Собака была выдрессированная для разыскивания раненых, из санитарного отряда...

В её сумке нашлось и вино и все нужные для подачи первой помощи средства...

Раненого положили на носилки и отнесли на перевязочный пункт.



## Царство мертвых.

### I.

„О, Господи! хотя бы погасили эти прожекторы!“

Шмельков прикрывал глаза, чтобы не видеть того, что вырывали лучи прожекторов из окружавшей его тьмы... Но это было еще хуже.

Мутные круги колыхались перед глазами, выплывали, и таяли темные и светлые пятна... За ними где-то глубоко-глубоко, словно там разверзалась бездна, вспыхивали неясно и потухали тусклые искры.

Из мрака, рожденные этим мраком, выступали безобразные в кровавых пятнах головы, простирались руки... Окровавленный рот, один только рот, казалось, кричал о чем-то... И вдруг загорались глаза большие, выразительные и плакали... Опять тянулись руки, снова выплывали глаза, но уже с выражением дикой ненависти, опять проступали кровавые пятна.

Он старался настроить себя на иной лад. Представить себе, как молодецки шли его товарищи контратакой... И хотя они шли тогда этой контратакой без музыки, он пытался возобновить в своей памяти звуки военного марша.

Все равно!

На мгновение перед ним, действительно, очень отчетливо вырисовывались фигуры солдат, спиной к нему, в серых шинелях с черными поясами... Солдаты бежали вперед...

Но серые шинели пропадали сейчас же. Вместо серых шинелей мелькали белые рубахи все с тем же кровавыми темными пятнами... Мелькали руки, то поднимавшиеся, то опускавшиеся... Выступал темный, будто на зеленую траву накинули черную кисею, пологий бугор и на бугре по откосу, тоже словно затянутые кисеей, фигуры в белых рубахах, неподвижный, скорченные с неестественно вывернутыми

ногами и руками.

В последнее дело солдаты были ни в шинелях, ни в рубахах. Они были в мундирах.

Неприятель тогда бежал. Все место боя было покрыто трупами не в черных, а в синих мундирах.

Но когда он захотел представить себе идущих в атаку товарищей, почему-то он увидел их в серых шинелях и почему-то только на мгновенье...

Он отнял руку от глаз.

По-прежнему скользили лучи прожекторов по полю вчерашней битвы.

Трупы не были убраны.

Они лежали близко друг к другу. В некоторых местах они громоздились кучами.

Они то выступали ясно, как днем, то опять сразу исчезали в темноте, пока широкий луч прожектора, сделав полукруг, не озарял их снова...

— О, хоть бы скорее погасили этот прожектор!

С ужасом и трепетом он всякий раз ждал того момента, когда луч прожектора, уклонившись в сторону, лизнув далёкие вершины, замирал там на мгновенье и потом начинал передвигаться в обратную сторону...

Точно острый легкий нож приближался к его горлу, скользя по крутизнам, скалам, возвышенностям.

„Сейчас... сейчас... О Боже! Зачем эта пытка! “

Странный зуд начинался в крови, во всем теле точно кровь скипалась... Казалось, огненная струя пробегала от затылка вниз по позвоночнику и обратно.

Невольно закрывались глаза... Но и через закрытые веки блеснул свет прожектора... Будто заря загоралась под веками.

И тогда он не мог удержаться.

Свет прожектора, казалось, разверзал веки, проникнув под них.

Вон они, эти трупы...

Неподвижным, как стеклянным взглядом смотрит он

вперед. Жутко смотреть на эти трупы. Вон они... И по мере того, как скользить прожектор по трупам, тоска вливается ему в душу, колыхается и глухо шумит, как море... Точно несется в нем стон долгий и протяжный: „а-а-а“...

А светлый луч все дрожит над трупами...Он прикрыл глаза ладонью.

Мутное облако заволновалось перед глазами, и снова из глубины мрака, из бездны выплыли эти образы, горящие страданием, ненавистью, тоской, обрызганные кровью...

И он уж начинал сознавать, что куда бы он не ушел, чтобы не делал, эти образы все равно останутся с ним, всегда, вечно.

Может быть это была больная мысль, но в нем заныло сердце и закипели слезы... он почти физически ощутил, как словно впилося ему что-то в сердце и сосет сердце... Будто пиявки, присосались к сердцу.

Если бы вырвать из сердца эту боль, эту муку!.. Но разве возможно вырвать!

Мало по малу его охватило странное состояние... Казалось чужая жизнь поселилась в нем и живет за счет его жизни.

Крепко прижал он к груди ладонь и надавливая на грудь, провел растопыренными пальцами вверх-вниз и в стороны. „Господи, да что же это!“

Он открыл глаза.

Прожектор погас.

Кругом была тьма и тишина.

И вдруг до него долетел издали какой-то звук, определить которого он не мог. Что это? —застонал ли кто-нибудь или крикнут сдавленным голосом. Или это далекий выстрел? Может, еще какой другой звук...

Он насторожил слух. Но кругом опять было тихо.

Но неопределенный звук, долетевший издалека, не умер, а остался в нем. Он влил новую силу, зажег новым огнем образы, терзавшие душу... Они вспыхнули ярче, жизненней... Они застонали и заговорили. Не вспоминались, а зазвучали уже, как звучали в действительности, отдельные слова и

целые фразы, еще вчера носившиеся здесь в буре боя.

Он задрожал... Казалось, огненное пламя проникнуло весь мозг, охватило сердце...

Вон они тут недалеко, переставшие вчера дышать с этими словами на устах...

Теперь трупов уже не было видно...

Из-за дальней горы брезжил слабый свет месяца, с моря по скалам наплывали волны тумана, окутывая все пространство перед ним непроницаемой мутной мглой.

Волны тумана подкатывались ему под самые ноги.

То там, то тут от общей массы тумана открывались бесформенные дымчатые клочья, тянулись вверх, колеблясь, дрожа, и плыли вперед, постоянно меняя очертания, проникнутые тусклым светом месяца.

Казалось неведомые существа поднимались из недр тумана, простирали руки и крылья, стремясь вверх или туда, куда катились туманные волны.

Море тумана жило и дышало.

Но было что-то тоскливое в этих серых фигурах, постоянно менявших формы...

Месяц, казалось, зажигал в них жизнь, еще более слабую и большую, чем его мерцание...

И чудилось, они просили и молили о жизни, но месяц, этот источник их жизни, был далеко-далеко...

Его свет едва боролся с темнотой ночи, и уже в нем самом догорала жизнь...

Его лучи теплились только тускло в воздушных существах, моливших о жизни.

Все новые и новые бесформенные клочья всплывали над морем тумана, вспыхивая в почти горизонтальных лучах месяца, дрожа, трепеща, редая, разрываясь, сгущаясь опять, опять тая...

Дыхание неведомой жизни, этот свет далекой планеты, струилось по всему полю битвы, загораясь минутами то там, то тут, вызывая неясные, смутные образы...

## II.

Издали снова донесся странный звук, ни то стон, ни то крик.

Голоса боя, говорившие в нем, проклинаявшие, молившие о пощаде, призывавшие к мщению, на мгновение умолкли; их, казалось, спугнул этот звук, вырвавшийся из волн тумана. Голова будто опустела.

По телу побежали мурашки.

Что это?

Звук раздался и замер. Будто кто-то высунулся из серой мглы тумана, крикнул и опять скрылся.

А может-быть, это ему только почудилось— этот крик глухой и неясный... Может-быть, это—нервы?

Он оглянулся кругом, пристально вглядываясь в туман.

Ничего не видно. Только один туман.

И вдруг ему почудилось, что кто-то идет к нему в тумане, прямо к нему.

Сердце стукнуло и остановилось. Не мигая, смотрит он вперед. Опять—туман, один туман. Казалось, кто-то встал из тумана, взмахнул руками: и опять ушел в туман.

В голове пронеслась мысль:

„Нет, человек не может быть таким высоким. Это—туман. Подул ветер и колыхнул туман. Нужно стоять, пока не придет смена, и ни о чем не думать“.

И сейчас же новая, уже совсем нелепая мысль:

„А если его забыли... Поставили тут и забыли?“

Его охватил ужас.

Нет, ведь-же, действительно, есть какая-то жизнь в этом тумане. Вот опять... Будто рука поднялась длинная, безобразная. Конечно, это все туман, его волнует ветер. Но он все равно вздрогнул и похолодел, когда увидел эту руку.

„Все нервы, эти нервы! ... Не нужно думать... “

Но как же не думать или думать, когда не владеешь собой, и мозг воспринимает сразу на веру все, что кажется глазам.

Вон опять... Широкий серый платок... Платок относит в сторону, платок постепенно разворачивается.

Он закрыл глаза.

Он боится увидеть лицо, скрытое под этим плащом. Потом открывает глаза. Ничего нет. Только мутное, серое облачко. Но из облачка выплывает опять что-то, зарождается какая-то новая фигура.

„О, Господи! И зачем этот туман колыхнется? “

Снова он закрывает глаза.

А мозг усиленно работает.

„Да ведь это ж туман. В мире нет ничего. Кроме того, что мы видим. Это—мертвый туман“.

Но он все равно вздрагивает и с закрытыми глазами. От одних этих слов: „мертвый“, „в мире нет ничего, кроме того, что мы видим,“ холодеет сердце.

„Конечно, нет ничего! Нет ничего“.

Но он чувствует, как у него начинают чуть-чуть стучать зубы.

„Ничего, ничего! — старается оп втолковать самому себе.—Ничего!“—И поднимает веки.

Глаза лихорадочно пробегают все пространство перед ним.

Он уж ищет теперь сам ужаса.

— Как нет! Вон, вон...

А зубы стучать...

„Кто это!“

Крик готов вырваться из груди. Большое, большое лицо смотрит на него из тумана, желтовато-серое, с темными, словно заплывшими тенью глазами.

Но ведь не может быт такого большого лица!

Мысль эта, однако, мгновенна, как сверкнувшая и потухшая искра.

Нет ни большого, ни малого; ест только черты и формы.

О, какие у него глаза, темные, полные муки. А губы смеются. Зубы видны между губ. Потом глаза еще больше затянуло тенью, губы расплылись безобразно широко, и их

тоже охватывает тень. Все лицо отодвигается, уходит в туман.

Мгновенье, и его уж нет.

Но в нем остался этот взгляд, полный муки, вселяющий ужас в сердце.

И он сознает, если еще раз выплывет из тумана это лицо, он не выдержит и крикнет, чтоб оно не появлялось больше, чтоб оно уходило к себе туда, откуда оно явилось...

И уж он шепчет:

„Уйди, уйди... к себе..."

И старая мысль:

„Куда к себе? ...“

Опять холодеет сердце... Правда: куда? ... Ведь это ж туман... Оно и ушло в туман, как вышло из тумана... Оно... Да, это лицо. Значит оно само по себе, а туман сам по себе. Но ведь его же нет! Ведь это он сказал про него „оно“. А оно— туман.

Мысли путаются.

Снова—стон.

Теперь уже отчетливей и яснее... Опять колыхнулся туман, снова он видит, как движется в тумане что-то, направляясь прямо к нему.

Неужели это опять то, это лицо!

В висках у него застучало.

И откуда этот стон? И стон ли это?

Неопределенная фигура мелькнула в тумане и сейчас же пропала. Потом появилась опять, опять пропала. Нет, это идет кто-то... Кто-то еще новый выплыл из тумана.

Может быть это он застонал?.. Его начинает бить лихорадка.

Крепко смежил он веки.

Проходить секунда, еще секунда, еще...

И он чувствует, что уж не в силах стоять более с закрытыми глазами. Довольно! Теперь, вероятно, уж все пропало...

Он открыл глаза.

Прямо перед ним — окровавленное лицо, губы шевелятся, хотя бы сказать что-то: руки простерты вперед.

Он заметил только, что этот „новый“, вырвавшийся из волн тумана, стоит на коленях.

Он хотел крикнуть, хотел бежать и не мог. Сердце вдруг словно перестало биться. Без крика, без единого слова он грохнулся на землю.

### III.

Шмелькова отнесли в госпиталь.

Вместе с ним принесли в госпиталь и этого несчастного, полуживого человека с окровавленным лицом, молившего его о помощи и так его напугавшего.

Окровавленный человек в госпитале назвал себя.

Он офицер гвардии микадо. участвовал вчера в штурме, был ранен, потерял сознание и ночью очнулся.

—Потом вы подползли к нашему часовому?

—Да.

—Что у вас с ним произошло?

—Вы сами понимаете, что я не хотел сделать ничего дурного... Я даже стоял перед ним на коленях.

Японец прямо в глаза посмотрел доктору. После минутной паузы он спросил:

—Вы верите, что я стоял на коленях?

И, с усилием подняв руки, он заложил их за голову (он лежал навзничь) вздохнул и поднял глаза вверх.

—Почему же он упал?

Японец хрустнул за головой пальцами и потянулся как-то всем телом к щитку кровати, к подушке.

—О, Боже, —проговорил он,—почему я знаю! Почему я стал перед ним на колени, почему он упал! ... В другое время, вероятно, этого не случилось... я бы не опустился на колени, и он не упал бы, увидев меня.

И он закрыл глаза.



Японец лежал рядом с Шмельковым.

Шмельков все время внимательно прислушивался к разговору между доктором и японцем. Японец говорил по-русски.

Когда японец умолк, он поманил доктора к себе.

— Доктор, доктор, — шепнул он и сейчас же, быстро взглянув на японца, натянул на себя одеяло до самых глаз и, осторожно опять сдвинув одеяло, выглянул из-под него одним глазом.

Доктор подошел.

—Что вы?

—Нагнитесь, доктор.

Доктор нагнулся.

—Еще ближе.

Доктор склонился над ним совсем низко.

Скользнув все также мимо доктора одним глазом в сторону японца, он выпростал из-под одеяла руку и охватил ею доктора вокруг шеи.

—Переведите меня в другое место, — шепнул он.

Доктор тоже попробовал было взглянуть на японца, но ему нельзя было этого сделать, потому что Шмельков крепко держал его за шею. .

Он спросил:

—Вам здесь не хорошо?

—Я не хочу лежать с ним, — шопотом ответил Шмельков.

—С японцем? .

—Да. Переведете?

Он еще крепче охватил шею доктора.

—Я вам даже, вот что скажу: я ведь совсем здоров. Со мной был только обморок... А если не переведете...

Он выпростал из-под одеяла другую руку и сразу обеими руками обвил и крепко стиснул, надавливая длинными холодными пальцами сзади около затылка доктору шею. Прямо в глаза доктору он устремил блестящий взгляд. Что-то холодное и острое было в этом взгляде...

—Если не переведете...

—Переведу, конечно...

Он ослабил пальцы; они медленно скользнули по шее доктора книзу.

—Так смотрите ж, —шепнул он, и опять его глаза блеснули из-под одеяла холодным острым блеском.

Затем он натянул одеяло до самого лба и затих.

Его поместили в другой палате.

Когда ему показали его новую койку, он сейчас же юркнул под одеяло.

Он весь вздрагивал, повернулся на бок и раза два стукнул зубами.

—Как у вас тут холодно, — сказал он, ни к кому в особенности не обращаясь.

Потом отыскал глазами сестру милосердия, старую высокую, худощавую женщину.

—Сестрица!

Она подошла.

—А что же доктор?

—Вам нужно?

—Очень.

И он снова поежился и подобрал под одеялом ноги.

Минут через десять пришел доктор.

—Доктор! —крикнул он громко.

Доктор стоял койки четыре от него.

Он только молча повел глазами в сторону Шмелькова и, оглянувшись на него через секунду, улыбнулся и кивнул головой.

Шмельков тоже улыбнулся.

—Хорошо, я подожду...

Он все вздрагивал от времени до времени и все ежился, подобрав ноги, собравшись весь в комочек.

Доктор, наконец, подошел к нему.

—Ну, что?

Доктор улыбнулся опять, и он тоже опять улыбнулся вслед

за ним.

—Слушайте-ка, доктор... Вы, может-быть, думаете он из ненависти ударил меня, сбил с ног и от того я потерял сознание?

—Почему же вы потеряли сознание?

—Не знаю...

Казалось, у него оборвалась нить мыслей... Он повернулся на спину и провел по лбу ладонью... Брови сдвинулись.

И вдруг он словно вспомнил что-то. Почти радостное выражение разлилось по лицу.

Живо он снова лег на бок.

—Доктор!...

—Ну-те...

—Этот японец...

И он закусил губу и опустил глаза, потом опять поднял их.

—Вы знаете кто он? ...

Глаза его широко раскрылись и сейчас же сощурились. Один глаз он закрыл совсем.

—Знаете? ...

Он приподнялся на локте и снова широко открыл глаза.

—Покойник! ...

Теперь глаза у него остановились, не мигая.

—Покойник, —повторил он. —Вы ему не верьте... Он представляется... Его нужно— в могилу. Понимаете?..

Он все глядел на доктора, прямо ему в глаза.

Доктор сделал серьёзное лицо.

—Так вы говорите покойник?

—Уверяю вас. Вы не верите?

Как раньше, блеснули его глаза холодно и остро.

—Не верите! — крикнул он и схватил доктора за руку.

—Я его еще не выслушивал, —сказал доктор. — Тогда я вам скажу свое мнение...

Это его несколько успокоило.

Он выпустил руку доктора, кивнул головой.

—Не думаю, — заметил он, — чтобы я ошибся. Это видно

сразу, я еще тогда заметил. Я привык. Ведь вы не были ни разу в сражении, а я был.

Доктор ушел распорядится чтобы его перевели в отдельную комнату, а он лег на бок, накрылся одеялом и, как раньше, подогнул ноги.

—Как у вас холодно, как у вас холодно, — произносил он от времени до времени и вздрагивал, как в лихорадке, всем телом.



## Шпион.

### I.

Около фанзы была грязь.

Тускло блестела небольшая лужица как раз против маленького деревянного крылечка... Видно было, что около крылечка сильно натоптано.

Фанза, должно-быть, не была еще брошена или ее хозяева покинули ее совсем недавно.

На площадку крылечка от столбов, поддерживавших над ним навес, падала тень двумя черными и| тянувшимися наискось через площадку полосками. Доски площадки, залитые месячным светом, казались белыми, будто на них просыпали мел; они даже словно чуть-чуть искрились, как белая сахарная бумага... Кое-где между досками площадки проросла трава; трава тоже была видна отчетливо — низенькие тёмно-зелёные, почти черные кустики с резкими пятнами тени около них.

Кругом было тихо.

Днём шёл дождь. Но теперь небо прояснилось. Горели звезды, яркие, лучистые.

Когда поручик Синков, осторожно поднимая ноги, чтобы под сапогами не захлюпала грязь, двинулся к крыльцу, лужа, казавшаяся темною, блеснула ему вдруг в глаза серебряным светом — точно небо глянуло на него снизу... точно под его ногами был тоненький-тоненький слой земли, а дальше в глубь и в ширь — голубой воздух, необъятное пространство, полное сияния и блеска...

Длинная тень легла от него через лужу; все мгновенно потухло.

Синков сделал еще шаг и остановился.

Ему почудилось, будто в фанзе что-то стукнуло.

Он хотел отойти в тень за угол фанзы, но у него сейчас же вместе с мыслью, кто может быть в фанзе, мелькнула другая

мысль, что он как раз уходит в какую-нибудь лужу, которую теперь не видит...

Эта мысль, появившаяся в сознании мгновенно и также мгновенно, словно его кто дёрнул, задержавшая его на месте, расплылась бесследно и потонула в душе, и всю душу наполнила та первая мысль — кто может быть в фанзе.

Теперь он ни о чем больше не мог думать.

Он ничего не видел, кроме двери фанзы.

Месяц светил прямо на дверь... Поперёк крыльца и на двери, поднимаясь по двери вверх почти до самого косяка, лежала тень от его фигуры.

Одно мгновение ему показалось, что дверь отворяется: его тень чуть-чуть колыхнулась — и она непременно колыхнулась бы, если бы дверь отворяли... Но он подумал, что, может-быть, шевельнулся и сам и, чтобы проверить себя, слегка подался в сторону. Дверь словно опять дрогнула...

Ему стало спокойно.

Он не был трусом и — не трус сейчас, но им овладело странное нервное состояние... Весь он замер; все силы ушли на одно; вся душа, как иногда пламя разгоревшейся свечи вытягивается в тонкое, длинное жало и тянется выше и точно стремится вытянуться как можно выше, — горела одной мыслью: „что сейчас будет“...

Каждую секунду он мог ждать выстрела иди появления на крыльце нескольких людей, готовых кинуться на него и убить.

А с ним были всего на все взводный Андрееenko да рядовой Семенов... Да и тех он оставил позади.

Опять за дверью раздался стук, будто двинули стулом...

Он оглянулся кругом.

Теперь он выбирал место, где ему было бы можно пробраться, не рискуя произвести шума, к окну.

— Ваше благородие!

Он не сразу разобрал, что это такое. Ему показалось даже, будто кто-то зевнул в фанзе или где-нибудь сзади него, или захрипело в предсмертной агонии, когда не хватает в груди воздуха и голос гаснет вместе с жизнью.

Он вздрогнул от охватившей его какой-то непонятной жуткости и обернулся...

Но он никого не увидел позади себя...

В первую минуту он растерялся. В груди точно заняло что-то.

И тишина вокруг, и освещённое месяцем поле, и серебряный льющийся в этом безмолвии свет с неба, показались ему чем-то для него чужим и далёким, непонятным и непостижимым, скрывающим за собой что-то невыносимо мучительное и тоскливое.

Откуда это хрипело:

— Издесь я....

Теперь он разобрал.

Это Семенов.

— Я издесь, — повторил Семенов, опять понижая голос так, что Синков снова ничего не разобрал, кроме чуть слышного хрипенья.

Из-за фанзы показалась голова Семенова...

Из фанзы донесся кашель.

Голова Семенова скрылась.

Потом он показался опять из-за угла в полпояса.

Левой рукой, ладонью, он упирался в стену фанзы, в правой держал винтовку за ствол, совсем близко около штыка, опираясь о землю прикладом.

Осторожно занес он ногу, прижимаясь коленом к стене фанзы, скользнул ладонью по стене от угла и неслышно опустил ногу... Затем также осторожно, почти не производя шума, протащил другую ногу. Винтовкой он действовал как костылём, пробуя прикладом место около себя...



Ярко вырисовалась его тень с ним рядом на белой стене.

От крышки падала тень на верхнюю часть винтовки. Только деревянная накладка поверх ствола блестела как лакированная.

Синков поводил ему головой, указывая на крыльцо.

Семенов тоже наклонил голову. Он продолжал пробираться вдоль стены, скользя по ней рукой... Когда он наклонял винтовку, чтобы упираться или перенести ее на другое место, на штыке всплывал месяц.

Синков тоже стал подвигаться к крыльцу, стараясь ступить на каблуках, протянув в сторону руку, и двигал ее то вверх, то вниз, как делают это, чтобы сохранить равновесие.

У крыльца они сошлись...

— Я впереди, — ты за мной, — шепнул Синков и поставил ногу на ступеньку.

Ступенька скрипнула...

Синков закусил губу и оглянулся на Семенова. У того тоже губа была закушена. Видно, этот скрип и на него так же действовал, как на Синкова.

Однако, увидев лицо Синкова с застывшим на нём напряжённым выражением, он вытаращил на него глаза и прошептал:

—Ничего, ваше бродь.

И сейчас же поднес ко рту руку... Он подумал, что не хорошо так говорить начальнику, и словно затем удержал свои губы от произнесения других, таких же не деликатных слов.

Синков нажал ногой на ступеньку, собираясь поднять другую ногу.

Ступенька снова скрипнула...

И словно в душе у Синкова что-то тоже скрипнуло... Словно что-то горячее впилося в сердце, подкатилось к горлу... И он сам слышал, как стучит его сердце...

Секунду он оставался неподвижен, потом перекрестился и крикнул как-то хрипло, резким голосом:

—За мной!

И, взбежав на крыльцо, с силой толкнул дверь... Он едва было не упал на пороге, потому что дверь оказалась отпертой.

## II.

В фанзе на столе горела маленькая электрическая лампочка.

Свет был слабый, как свет лампадки.

Прямо, у входа, стоял человек в нижнем белье, со стаканом в руке.

Его, видно, томила жажда, и он встал напиться.

Ведро с водой помещалось в углу, на треножной скамейке.

Он не убежал, но вздрогнул, когда с шумом распахнулась дверь, и на пороге появились Синков с Семеновым.

Только лицо его необыкновенно побледнело.

Синков прицелился в него из револьвера.

Он не знал, кто этот человек... Мирный ли обыватель или хунхуз, шпион, разбойник...

Впрочем, он не был похож на японца... С длинными, тонкими, как шнурочки, усами, висевшими почти параллельно один другому по сторонам маленького с припухлыми губами рта, с начинающейся с конца подбородка редкой, но тоже, как и усы, довольно длинной бородкой, с одутловатыми щеками и прямой, как жгут, туго заплетенной косой, он напоминал скорее корейца или китайца из восточных провинций....

Но Синкову было известно, что население той местности, где сейчас он находился, все разбежалось с приходом русских.

Что же теперь намеревался тут делать этот кореец или китаец!

— Кто ты? — крикнул он: — говори!

И, вспомнив сейчас же, что перед отправлением в действующую армию выучил несколько японских, китайских и

корейских слов, повторил то же самое после некоторого колебания по-корейски.

Пристально уставился он прямо в глаза предполагаемому корейцу и тут же решил:

Конечно, кореец.

Он видел, как в лице корейца мелькнуло что-то неуловимое, быстрое как молния... Маленький рот полуоткрылся, глаза блеснули...

И ему показалось, что он видел в этих черных глазках с припухлыми веками что-то, быть-может, нехорошее, но что сверкнуло из их глубины мгновенной искрой и сейчас потонуло, опять ушло в глубь... И Синков не мог уяснить себе, радость ли это, скрытое ли какое-то торжество, злоба ли или еще что-то, другое какое-либо чувство, чему он не мог найти определения...

Кореец ответил ломаным русским языком:

—Я здешний, служил у китайского часторговца и бывал с ним в вашей Маньчжурии... Я знаю русских.

Его глаза прищурились.

Опять Синков почувствовал скорее, чем заметил, что загорелись его глаза слабым огоньком...

И, может-быть, он потому так быстро, смежил веки, что хотел скрыть этот огонек, все время, словно помимо его воли, то вспыхивавший, то потухавший?..

Но и в том, как прикрыл он веки, было что-то хитрое, недоброе... Множество маленьких, мелких морщинок собралось у него в углах глаз и возле висков...

И в Синкове тоже вспыхнуло нехорошее чувство к корейцу.

Он нахмурился и спросил:

—Значить, знаешь русский язык?

—Плохо.

— А научился по-русски в Маньчжурии?

—В Маньчжурии.

—А зачем здесь остался?

Кореец пожал плечами.

—Я знаю русских. Они не тронут...

И вдруг все у него передернулось...

Он приложил палец к губам и произнёс, высоко поднимая тоненькие, как ниточки, узенькие бровки:

—Но, цсс...

И сейчас же вздернул плечи, вобрал в плечи голову и указал через плечо, сложив пальцы в кулак, выставив большой палец.

— Там...

Тут он согнул стан и подавшись вперёд к Синкову, опять приставил к губам указательный палец.

—Там... японский капитан.

Его указательный палец продвинулся вверх по лицу, мимо носа, и остановился против глаз.

—О-о, — проговорил он, снова вздергивая брови.

Потом он выпрямился.

—Арестуйте его. У него какие-то бумаги.

„Шпион“, мелькнуло у Синкова.

Он взглянул туда, куда указывал кореец, и увидел дощатую переборку с низенькой, оклеенной цветной бумагой, дверью.

—Попридержи его, — сказал он Семенову и наклонился к переборке.

Отворив дверь, он увидел маленькую комнату со столом и кроватью...

В комнате никого не было.

Окно было открыто...

Слабый ветерок дул в окно с поля и шевелил разложенными на столе бумагами — планами, чертежами...

Пока он беседовал с корейцем, шпион успел бежать, воспользовавшись, вероятно, для этого окном...

Он заглянул под кровать. Там лежала кожаная сумка с медными застежками и замком, чем-то туго набитая.

—Семенов! — крикнул он, — он, сбежал.

Он вышел из-за переборки, кусая губы, сердито шевеля бровями, и прямо подошел к корейцу.

—Почему ты не сказал мне сразу?

И еще больней закусил губу...

На корейца он глядел с ненавистью и злобой.

Кореец закрыл лицо руками.

—Почему?! — крикнул Синков и топнул ногой. — Ну, говори — почему?

—Ой-ой, — прошептал тот, — разве я знал.

И, отняв от лица руки, он жалобно поглядел на Синкова.

—Он один.

—Один... Но все равно вы с ним ничего не сделаете...

Синков весь вспыхнул.

—Почему?

—У него лошадь... Он оставил ее тут, недалеко в кустах.

Синков обратился к Семенову.

—Ты не сдыхал ничего?!

—Так точно, ваше бродь...

—Я говорю, топота не слышал?

—Никак нет.

—Значить, он тут...

—Обязательно надо искать.

Синков поглядел на корейца, потом на Семенова и сказал, забрав ус в пальцы и прихватывая его зубами с угла рта:

—Так ты вот что... Карауль его, а я пойду искать...

И он направился к двери.

—Слушаю-с! — крикнул ему вслед Семенов.

Он запер за Синковым дверь и стал около притолки, взяв ружье к ноге.

### III.

Синков скоро вернулся.

Он никого не нашёл ни возле фанзы ни дальше, в кустах.

В одном месте ему показалось, будто на земле свежие следы лошадиных копыт.

Он нагнулся, стал рассматривать, но теперь уж и следов не заметил...

Вся земля вокруг него оказалась истоптанной или изрытой... Точно кто-то тут нарочно истолок землю, и не было ни одной рытвинки, похожей на след от лошадиного копыта.

Тогда он махнул рукой и пошёл обратно.

— Ничего, — сказал он Семенову.

Потом он взглянул на корейца.

Лицо у корейца было как деревянное, неподвижное, без всякого выражения...

И когда Синков остановил на нем глаза, глаза корейца глянули на него из-под полуопущенных век холодно как стекло... И его лицо стало еще более похоже на деревянное. Оно словно застыло. Желтая кожа разгладилась и плотно натянулось на выпуклостях скул, на лбу, на подбородке...

Гладкий желтый лоб лоснился, и на нем около висков отсвечивал свет от лампы.

Руки кореец держал на животе, переплетя пальцы, и чуть-чуть шевелил большими пальцами один около другого.

— Я тебя арестую, — сказал Синков.

Веки у корейца дрогнули едва заметной дрожью. Большие пальцы перестали шевелиться; потом он задвигал ими с большей, все возрастающей скоростью... Казалось, один палец хотел перегнуть другой.

Высоко раза два поднялась и опустилась грудь.

Медленно, точно это для него было трудно, он поднял веки и сказал тихо, слабо шевеля губами:

—Хорошо, только я не виноват.

И опять колыхнулась его грудь, поднимаясь высоко, с долгим вздохом...

Синков обратился к Семенову.

—Вынеси из-за перегородки сюда стол с бумагами и саквояж под кроватью.

Синков подошел к переборке, прислонил к ней винтовку и вошёл за переборку.

Синков, все время не спускавший глаз с корейца, заметил, как желтые белки его глаз, будто под белками у него было что-то жидкое, передвинулись, блестя из-под век, в сторону, где Семенов поставил ружье.

Ему показалось даже, будто вся фигура корейца чуть-чуть передвинулась в ту сторону, точно стала ближе к переборке... Но он видел, что кореец стоит неподвижно... Он чувствовал только, что все живое, что было в корейце, тянулось вместе с его глазами к переборке...

И вдруг он почувствовал, что кореец смотрит на него уголком левого глаза... И опять, переливаясь при свете лампы, желтые зрачки перекатились под веками, и теперь уже обе черные точки зрачков прямо остановились на Синкове...

Вошел Семенов со столом и кожаной сумкой...

— Осторожней с мешком, — сказал Синков.

Он подумал еще тогда, когда искал шпиона под кроватью, что в кожаной сумке может быть пироксилин, и теперь вспомнил об этом.

—Осторожно!

Синков тихо опустил на пол стол и мешок, взял ружье и, как раньше, остановился у входа.

Синков стал разбирать бумаги.

Все бумаги оказались съёмками с наших укреплений и прилегающих к ним местностей.

Синков сам делал эти съёмки для себя на память, и теперь ему казалось, он видит перед собой свою собственную работу, переведенную начисто, в большем масштабе и с японскими надписями и пометками.

—У тебя давно этот капитан?

Кореец поднял голову.

—Со вчерашнего дня.

—А раньше ты его знал?

Кореец широко открыл глаза:

—Откуда же?

И он расставил руки... Глаза его приняли совсем плачевное выражение.

—Раньше не знал?

—Нет! —Он отрицательно покачал головой.

Потом он заговорил, подняв глаза к потолку, наморщив лоб и опять медленно кружа большими пальцами одним вокруг другого:

—Он пришёл... Говорит, —„убью “. Что же мне было делать?

Санков продолжал рыться в бумагах...

— Он один пришел?

— Один.

—Тебя не посылал куда?

—Нет, не посылал.

Между бумагами Синкову попалась готовальня.

Он открыл маленький, длинный, изящный ящичек и вместе с циркулями, угольником и проч, нашел в нём небольшой медальон со вставленной в него фотографической миниатюрной карточкой девушки или женщины в высокой японской причёске и широком с крупными яркими цветами киримоне.



Фотография была раскрашена.

Синкова брала злоба на неудачу с шпионом на-этого корейца, который врёт ему, очевидно, все, от начала до конца...

Он был почти убежден, что кореец заодно с японцем.

И он сказал, показывая медальон корейцу кривя губы и усмехаясь злобно, нехорошей улыбкой.

— А это что же? Его...

Тут он употребил слово, за которое сам ответил бы выстрелом, если бы оно было сказано по адресу его сестры, невесты или просто знакомой.

Кореец побледнел... Потом яркий румянец разлился у него по лицу. Глаза вспыхнули.

Казалось, кровь отлила у него от лица в первую минуту и потом прихлынула опять, вместе с ненавистью, с обидой, с страданием и мукой...

Казалось, вся душа его загорелась и зажгла огонь в глазах, в лице...

Только губы были бледны... Синков видел, как они шевелятся трепетно и нервно...

Кореец крикнул что-то громко по-японски, поднял руку и бросился на Синкова.

В ту же минуту Семенов сделал прыжок ему навстречу и ударом кулака в лицо свалил на землю. Потом нагнулся и схватил за горло.

Кореец зубами впился ему в руку, охватив ее своими руками...

Семенов положил ружье на пол и, теперь уже действуя обеими руками, развел руки корейца, крепко стиснув их около подмышек.

Кореец оказался прижатым к полу. Надавив ему коленом на грудь, Семенов повернул лицо к Синкову и спросил:

— Ваше бродь, что с ним делать?

Синков поднял револьвер.

—Пусти его!..

#### IV.

Кореец стоял в двух шагах перед Синковым, сжав кулаки, тяжело переводя дух, бледный, и смотрел на Синкова, чуть-чуть шевеля губами...

Глаза были широко открыты и выкатились... Дикая ненависть горела в них. Только теперь глаза будто затуманились; ненависть светилась в них; будто изнутри сквозь мрачный сумрак другие какие-то чувства набежали тенью на все лицо.

Синков держал револьвер прямо против его груди.

— Ты знаешь эту женщину? — спросил он.

Ему казалось, что он начинает что-то понимать.

Жестокая мука разлилась в лице корейца... Ненависть совсем ушла из глаз... Он перевёл взгляд от Синкова в сторону, в угол...

Бледные губы дрогнули. Потом углы губ опустились. Он коротко мигнул веками.

Две слезы выкатились из глаз и повисли на ресницах.

Но он смигнул их и опять, переводя взгляд на Синкова, скрипнул зубами...

Теперь в его глазах была безнадежность, и они опять казались полными мрака.

— Вы не имели права поступать так, — глухо сказал он.

Синков словно увидел перед собой другого человека.

От того корейца, с которым он только что разговаривал, не осталось и следа... Теперешний кореец держал себя спокойно и с достоинством.

Синков тоже переменял тон.

— Ведь вы — японец, признайтесь? — сказал он. — Да?

И потом, после минутного колебания, добавил

— Японец и шпион?

— Я — японец...

Голос у него по-прежнему был глухой.

—Офицер?

—Да, офицер...

И, бросив на Синкова исподлобья мрачный взгляд, он произнес медленно:

—И после войны вы будете иметь со мной дело.

—Но вы шпион...

И Синкову стало самому жалко, что он произнес это слово...

Он словно толкнул японца этим словом больно и в больное место. Все лицо его болезненно передернулось и потемнело, будто на шее у него затянули веревку. Он шатнулся даже немного...

Но он поборол себя и выговорил твердо:

—Да, я шпион...

И казалось, действительно, что-то давит ему шею. Заведя два пальца за ворот сорочки, он потянул ворот вперёд, повел головою сверху вниз и проглотил слюну так, как будто у него что-то застряло в горле и мешало глотать и дышать...

Потом повторил опять:

—Да, я шпион.

—Тот самый, про которого вы рассказывали?

Синков, согнув указательный палец, постукал им по кучке бумаг:

—Да!

—Да, тот самый?

И вдруг Синков увидел, что он ищет что-то глазами у него на столе. Затем ноги у него подогнулись, и он опустился перед Синковым на колени...

Опять его лицо вспыхнуло горячею мукой...

И вместе с мукой в лице его был стыд... Но стыд слетел совсем с лица, когда он заговорил...

Осталась только одна мука, великая, неизъяснимая, охватившая всего его, заставившая его затрепетать, как от рыдания.

Он говорил:

— Послушайте, отпустите меня... Ведь вы знаете, кто это (он повел глазами по столу между бумаг). Вы сами молодой человек...

Синков встал.

Тогда он простер к нему руки с выражением мольбы и отчаяния.

—Погодите!

Но Синков даже не взглянул на него.

Его лицо было обращено к Семенову...

Японец заметил, должно-быть, что он собирается отдать какое-то приказание Семенову.

—Погодите! — крикнул опять он, поворачиваясь на коленях вслед за Синковым. — Поручик!..

И опять выкрикнул надорванным голосом:

—Погодите!

— Ну? — хмуро сказал Синков.

Он через плечо взглянул на японца. Брови у него были сдвинуты, лицо строго и серьезно... Он чувствовал только, что не может прямо смотреть в лицо японцу.

Тот крикнул снова:

—Ах, поручик!

И затем продолжал, путаясь и мешая русские слова с японскими:

—Она, моя невеста... Слушайте, возьмите себе бумаги и все. Слушайте, поручик...

—Семенов! — возвышая голос и чувствуя, что голос у него выходит будто чей-то чужой, пресекающийся в гортани, крикнул Синков...

Японец закрыл лицо руками и наклонил голову, как бы в ожидании удара.

Он совсем затих и ждал этого удара, этого приказания Синкова схватить его, связать и вывести из фанзы.

Но Синков медлил.

Наконец, он выговорил отрывисто, словно выбросил свои слова:

—Возьми его!

И тяжело приводил дух.

\*\*\*

Японца через два дня уже не было в живых.

Его расстреляли.

В последнюю ночь Синков выпросил у начальства передать несчастному карточку его невесты...

Когда он пошёл к пленнику и протянул ему медальон, тот схватил медальон и прижал его обеими руками к сердцу...

Несколько секунд смотрел он глазами, заволокшимися слезами, вдаль, мимо Синкова, потом спрятал медальон за пазуху и протянул Синкову руку.

— Вы все-таки человек...

Но Синков руки не принял.

Он покачал головою и сказал:

—Вы — шпион...

И, повернувшись, пошел прочь...

Японец присел на корточки, взял опять в руки медальон, потом смотрел на него, скрючившись весь и низко наклонив голову.

## Егоркин хунхуз.

### I.

На беглых с каторги у Егорки был свой взгляд.

Он их приравнивал к пушному зверю немного поценней белки.

Сам он был охотник.

Он говорил про беглого.

— За белку мне дадут пятак за шкурку, а у него (т.-е. у беглого), уж как не верти, всякой хурды-мурды найдется на гривенник.

И, крякнув, он сдвигал густые рыжеватые брови и пригибал к ладони палец на левой руке; толстый и корявый как дубовый сучок, с редкими длинными волосами по всему пальцу с тыльной стороны.

Казалось, от мозолей или отчего другого пальцы у него не сгибались свободно так, как у людей, и чтобы пригнуть палец к ладони, он надавливал на него другим пальцем на правой руке на самый кончик, на ноготь и, пригнув к ладони, придавливал еще, словно для того, чтобы палец не выпрямился как-нибудь сам собой.

—Первое, — произносил он тоном знатока, очень важного хорошо ему известного зверка, непризнаваемого, однако, за дичь другими охотниками. — Первое — котелок.

Тут он вздергивал свои рыжие брови и поднимал значительно указательный палец.

—Э! у всякого бегуна есть котелок... Второе...

И он загибал другой палец совершенно так же, как первый, сначала вытянув его, потом захватив с исподу пальцем правой руки.

Одну по одной он перечислял все вещи, могущие оказаться у беглого.

В заключение он говорил:

— Вот тебе и беглый.

И, прищуривав левый глаз, усмехался самодовольно и с отражением в лице и в глазах, которое можно было перевести так:

„Я брат, нигде не пропаду“.

Но ведь как бы то ни было — он охотился на людей. И всякий, кто выслушивал эти признания, словно слышал в этих признаниях запах крови.

Егорка был один, совсем один, у него не было приятелей.

И когда он приглашал с собой кого-нибудь на охоту—даже в те дни, когда трудней всего было встретить беглых в лесу—он получал отказ.

Тогда он отправлялся один, угрюмый и мрачный, потому что и ему тоже чудился словно запах крови, пропитавший и его всего... Запах человеческой крови.

Каждый год он уходил на эту „тягу“ на беглых.

Он был отличный стрелок, и у него была отличная берданка, карабинского образца, коротенькая и очень легкая.

Называл он ее гусаркой, потому что в свое время такими карабинами были вооружены наши гусары.

Был у него и обшитель для патронов, и прибор для вставки пистонов.

Он прекрасно знал тропы, проложенные беглыми, —не хуже самих беглых.

Он собственно не искал беглых, не выслеживал их, а переселялся на известное время в те места, где беглых больше можно было встретить.

И он никогда не промахивался.

Он не промахивался даже по белке.

Он жалел патроны, потому что у него их было мало, и они иногда лопались. Паять их было трудно, да и все равно это ни к чему не повело бы.

Спаянный патрон опять лопнет.

Он знал это по опыту.

И он старался целить непременно в „убойное место“—в висок, в затылок, под сердце.

А белку он бил в носик или в глаз.

Тихо в лесу. Полдень. Егорка остановился на отдых. У него тонкий слух и большая опытность. Он отличит сразу, отчего хрустнула ветка — близко ли, далеко ли—все равно лишь бы звук, хоть обрывок звука долетел до него.

— Человек, —шепчет Егорка, вытягивает шею и сам весь вытягивается.

На лбу собрались морщины, губы поджаты. Серые большие глаза широко открыты.

Но он еще не встает с земли. Он только прислушивается—не ошибся ли.

Он слышал, как захрустели в лесу сухие ветки. Потом сразу стало тихо.

И он стоит на коленях и боится встать, чтобы не произвести шороха, и чтобы этот шорох не раздался по случайности одновременно с тем, чужим хрустящим звуком, которого он ждет каждую секунду.

Весь он словно замер.

—А-а, — произносит он почти беззвучно... Его глаза остановились совсем. Голова поворачивается так, чтобы лучше слышать, в ту сторону, где захрустели ветки.

До него опять донесся этот характерный сухой, то вспыхивающий, то потухающий хрустящий звук ломающегося валежника, когда по валежнику идет человек.

— А-а...



Правая рука тянется за берданкой, шарит по земле, нащупывает, наконец, берданку.

Потом он встает.

Он выше кустарника, в котором притаился; он встал, сгибая спину. Шея по-прежнему вытянута.

На лоб из-под шапки нависла прядь волос. Не меняя положения, он отвел ее назад за ухо.

Снова хрустнули ветки.

Теперь уже совсем близко.

Захватив правой рукой берданку вокруг шейки приклада, одним движением пальца он взводит курок. Потом медленно поднимает берданку.

Вот он.

Среди деревьев мелькнула человеческая фигура.

Егорка видит фигуру только по поясу... Он видит землистого цвета лицо, бритое, со щетиной коротких волос на щеках и продолговатым острым подбородке. Широкий с толстыми на висках жилами лоб.

Ворот рубахи расстегнут. Грязная шея, грязная грудь, отливающая в желтизну.

Егорка прицелился.

Сразу поставил он мушку в рогульки прицела, повел ствол... и трррах!.. Густой дым клубится между кустарниками, расплываясь по сырой земле белой волной.

Егорка выбрасывает, ловко ловя его на лету, стреляный патрон и сейчас вставляет свежий.

Он давно привык делать это всякий раз после выстрела, и даже не замечая сам, как менял патроны. Он точно был частью берданки, дополнением её механизма. Иногда ему казалось даже будто берданка у него какая-то особенная, волшебная, вечно заряженная.

Дым совсем осел книзу. Между деревьями уж не видно человеческой фигуры.

Вот тебе и гривенник.

Но когда началась война, Егорка избобрел себе новую охоту.

## II.

Когда началась война, Егорка стал охотиться за шпионами.

Это уж была дичинка, куда повыгодней беглого.

Ему, правда, так и не удалось словить ни одного шпиона. Но он не унывал...

Он говорил:

— Авось, и на меня Бог оглянется.

Избивая беглых, он не испытывал угрызений совести.

Ведь беглый—все равно человек отпетый. Беглый хуже разбойника.

По закону разбойнику нельзя стрелять в спину. Ему непременно нужно бить в грудь, в лицо, в живот— только не в спину.

Иначе попадешь под суд и могут засудить. Самого обвинять в разбое.

Только жандарм может стрелять в разбойника, как ему понравится: в спину или в грудь.

Но для того необходимо опять-таки, чтобы жандарм убедился, с кем он имеет дело—с разбойником или нет.

А про беглого нечего говорить.

Беглый—он так и есть беглый. Часовому приказано:

—Бей, не долго думавши.

Он даже в том смысле произносит присягу.

Вот тут и вся разница.

Жандарму разрешено:

—Можешь бить.

А каторжному часовому приказано:

—Бей непременно.

И, стало-быть, не все ли равно, кто убьет беглого? Он ли, Егорка, или часовой.

Он только помогает часовому.

Часовой промахнулся—и на здоровье. Пусть его. Егоркина пуля видит.

Шел-шел беглый, может-быть, не одну сотню верст прошел.

И думает:

—Слава тебе, Господи!

—Ан нет, погоди, молодчик! А про Егорку-то забыл?

Только что, Господи, благослови, выбрался на волю, а тут—хлоп и готово!

Будет: отгулялся.

Так думал Егорка про беглых.

И потому он не испытывал угрызений совести и бил по беглому с легким духом, наплевав на указательный палец, чтобы он не скользнул по спуску, выцелив как следует—будто стрелял не в человека, а в дерево.

Он также стрелял бы и в шпионов, если бы шпиона сразу можно было отличить от обыкновенного человека и, если бы за них платили деньги, все равно как, например, за волков.

Пришел куда следует: столько-то волчьих ушей, голов или лап, — сейчас чиновник:

—Раз, два, три, четыре...

Пересчитает.

—Твой?

—Мои-с.

Возьмет счеты: хлоп, хлоп.

—Всего столько-то, за штуку по столько-то, и того.

Подотчет еще на бумажке, воткнет перо в лапку с дробью, сдвинет очки на лоб.

—Значит, тебе полагается...

И скажет сколько полагается.

Дескать:

—Три рубля.

—Так точно, ваше благородие.

Святое дело. Скоро и чисто. Все равно, как на почте.

А шпиона надо доставить живого.

И главное, как его узнать, что он шпион?

На нем не написано.

Егорка почему-то был уверен, что за шпиона ему непременно заплатить.

Ведь платят же за волков!

И за шпиона заплатят... Еще лучше, чем за волка.

Волк, он так и есть волк... Он все больше насчет лошадей, овец, у кого есть овцы... Конечно, иногда и на человека нападает, если в стае...

А шпион... Шпион—он первое дело человек, и у него динамит.

И он, как чуть что зазевался—сейчас и до свиданья.

Либо болт из моста вывинтит, либо еще что свистнет.

Он с разумом.

Первое, что и себе удовольствие доставил, потому что за болт всегда дадут деньги, а второе, и его начальство довольно.

Приведут его к ихнему генералу. Сейчас генерал:

—О дескать, Васильев, ты.

Или еще там как-нибудь по-ихнему. Небось, у них тоже и фамилия, и имя, отчество — все как следует.

Да...

—Ты, дескать.

—Я, ваше превосходительство.

Возьмет и вытащить болт.

—Видали? —дескать.

Здоровенный болт, в руку.

Тряхнет им.

— Видали?

А генерал:

—Ого! Железнодорожный?

Потому что, прежде всего, он военный и, если, что насчет сабли, или какого винтика из винтовки—понимает, а где же ему разобрать. какой болт из моста, а какой из рельсы.

—Железнодорожный.

—Никак нет, ваше превосходительство, с моста.

— Не врешь?

—Ей Богу-с, ваше превосходительство, для чего врать. .

—Сам вывинтил?

—Сам-с.

Позовет инженеров.

—Может от того болта мост обвалиться?

Ну те, конечно, сейчас—циркуль, ватерпас, отвесы. Принесут...

—Может.

—Позвать адъютанта.

Придет адъютант. вытянется, руку к козырьку, —все по форме.

А генерал:

—Выдать шпиону Васильеву из моей собственной казны десять целковых.

Большой фантазер был Егорка!

Необыкновенно живо и картинно представлял он себе этого японского шпиона Васильева.

И ему казалось, что если изловить такого вредного и пройдоху человека, то его ни за что не оставят без награды.

### III.

И вот однажды Егорка явился к начальству с хунхузом.

—Поймал-с, —заявил он. —Ну, ты.

И, схватив хунхуза сзади, за крепко стянутые локти, выдвинул вперед.

—Вот он-с.

Он словно лошадь показывал.

Он даже отступил немного в сторону и потом назад и окинул хунхуза с головы до ног довольным взглядом.

Словно сам он вырастил того хунхуза и теперь вывел на продажу.

Потом он похлопал хунхуза по плечу и перевел глаза на офицера.

—Здоровенный, ваше благородие, страсть какой.

И толкнул хунхуза слегка ладонью в плечо.

—И не сдвинешь...

Его попросили рассказать, где он достал хунхуза.

Он говорил долго, не опуская ни одной подробности и, как всегда, необыкновенно картинно.

„Иду, значит, так лошinka, этак лесок.

„На охоту вышел.

„Думаю:

„Может, что попадется.

„Сами извольте знать, какие наши дела! Что убьешь — тем и сыт. Да, хорошо... иду... Конечно, тишина это, никого. Иду, думаю:

„Эх, хоть бы Бог благословил.

„Вдруг слышу:

„Та-та-та, та-та-та.

„Говорят где -то... Остановился... Слышу и то турукают. Прислушался— не по-нашему.

„Стой, —думаю.

„А у меня всего на всего восемь патронов... Ей Богу-с... Хорошо, думаю...

„Как быть... Непременно это они.

„Зашел в кусты, пополз.

„Земля это мокрая, сами изволите знать —только оттаяла. Руки в грязи, борода в грязи, колени в грязи.

„Одначе, ползу.

„Сам ползу сам молитву читаю. Потому что, посудите сами, ведь один, и всего на всего, восемь патронов. Ей Богу-с, не вру. Да один еще не лезет: раздуло.

„Ползу и думаю:

„Как попадется мне этот патрон после первого выстрела, что я тогда буду делать.

„Отметил я его крестиком, да ведь тут уж где разбирать?

„Сам себя ругаю:

„— Дурак ты, Егор, как есть дурак; было бы тебе этот патрон положить отдельно.

„Хорошо, полз-полз, и вдруг мое почтение... Вижу—сидят трое... Недалеко лошади ходят. Закусывают.

„Ну и вы знаете, как это у них? Сейчас возьмет кусок в рот, оттянет как, с позволения сказать, резину, ножом — чик, отхватит, и проглотить, опять оттянет и опять—чик...

„Совсем недалеко.

„Даже слышно, как чавкают.

„Как быть? Вижу — у них ружья.

„Опять же лошади... Подумал, подумал.

„Эх, была не была.

„Конечно, их трое, конечно, у них ружья. Да... Но тут запятая. Они меня не видят, а я вижу.

„Приложился.

„И знаете, не сразу выстрелил.

„Оторопь взяла.

„А ну как, думаю, мимо, а ну как, я-то в них, а они-то в меня... Да в три ружья, да ружья-то, вижу, у них магазинные... Стало-быть, я-то раз, а они пятнадцать раз.

„Но, между прочим, выстрелил.

„Гляжу один—брык.

„Поглядел этот ли, по которому стрелял? Вижу — этот. Крайний, как сидел, так и уткнулся носом.

„Я опять, вложил патрон, а уж стреляный не подобрал. Приложился опять.

„И тут слышу: хлоп! хлоп! Потом опять: хлоп! хлоп! По дыму бьют.

„Одна пуля сюда, другая сюда, третья прямо в землю, да знаете, это, с отскоку: ж-ж-ж...

„Прямо над ухом.

„Хорошо.

„Погоди ж ты, —думаю.

„Выбрал одного, навел.

„Тут опять: хлоп!.. И вижу сбился я с цели, а они опять: трах!..—не дают прицелиться.

„Я это, только за спуск, а тут: ж-ж-ж... Сами посудите, ведь это хоть на кого доведись.

„Хорошо. Однако, еще одного все-таки ранил. Да, должно-быть, плохо задел. Качнулся только. Потом вскочил на лошадь; другой тоже.

„И, значить, сейчас в лес.

„А я вдогонку. Раз, другой. Гляжу—со всего размаху бряк лошадь. Так и покатилась.

„Подбежал, вижу живехонек, т.-е. он-то, вот этот.

„Ну я, конечно, сейчас руки ему бечевкой и к вашей милости, потому что думаю:



„Они рассудят, кто прав, кто виноват. Говорят, они мосты портят“.

И, кашлянув в руку, Егорка отступил назад и опять, оглянув хунхуза со спины, произнёс:

—Вот он какой дубина.

#### IV.

От солдат Егорка узнал, что его хунхуза отдадут китайским властям.

—А что он там будет делать? — спросил Егорка.

—Он-то?

—Да.

И Егорка сейчас же высказал свое предположение:

В городовые его поставят, либо еще куда-нибудь.

—Это разбойника-то?

—Да ведь кому разбойник, а кому друг милый, — возразил Егорка и отвел глаза в сторону и нахмурился.

—Пытать его будут.

Егорка живо повернулся.

—Кого?

—Да хунхуза-то.

—Ври больше!

— Говорят тебе.

—Да за что пытать?

—Известно за что!..

—Ну?

Егорка нахмурился еще больше.

—За грабеж.

—Значить, допрос?

—Какой допрос! Говорят, тебе пытать.

—То-есть как это?

—А очень просто. Сейчас нажгут, нажгут углей и сейчас: „А ну-ка, друг милый, снимай сапоги “.

—И на угли?

—Известно.

Брови у Егорки опять сдвинулись. На лицо легла тень.

—Да ведь он ихний же, — сказал он неуверенно.

—Мало ли что ихний... не разбойничай.

Егорка задумался.

Лицо его по-прежнему было мрачно.

Исподлобья взглянув на солдата, он проговорил:

—А ты не смеешься.

—Дурак ты, — сказал солдат—вот что, —и отвернулся. —Что с тобой говорить, с дураком.

—Не смеешься? —повторил Егорка и схватил солдата за рукав.

Он крепко держал рукав и тянул солдата к себе. Глаза его поблескивали под густыми бровями, мрачным огоньком.

—Ну? — сказал солдат, подумав:

„Чистый зверь “.

Егорка потрянул его за рукав.

—Говори, по правде.

Голос у него стал хриплый. Грудь дышала тяжело. И в глазах под хмуро сдвинутыми бровями все словно пробегали искорки.

—Да ведь ты глухой что ль! — крикнул солдат и потом добавил:

—Лесной ты житель—вот что, и совсем озверел там со зверями.

Все так же хриплым голосом Егорка спросил:

—Так пытать будут?

—Пусти! — уже сердито крикнул солдат и дёрнул руку. Егорка разжал пальцы.

—Пытать? —переспросил он.

—Конечно, пытать.

—А потом?

—Чего потом?

—После того, как отпытают.

Солдат бросил на него сердитый взгляд. Егорка уже надоел ему своими расспросами и своей бестолковостью.

—А что с тобой будет, когда подохнешь? —сказал он.

Глаза у Егорки широко открылись.

Он молчал секунду, потом проговорил медленно, повёл губами, словно губы у него ослабли вдруг:

—Как так?

— Запытают до смерти, — сказал солдат.

Нижняя губа у Егорки отвисла, глаза остановились.

—До смерти? — произнес он, поглядел на солдат, потом вокруг себя и опять остановил глаза на солдата.

—Как до смерти?

Но солдат махнул рукою и плюнул, и пошел прочь.

Егорка опять явился к офицеру.

—Ваше благородие!

—Чего тебе?

—Значить, его теперь в Китай?

—Кого его?

—А этого, моего-то.

—Ну в Китай, а что?

Офицер хотел было попросту выпроводить Егорку, но его поразило его лицо, взволнованное, побледневшее, его растерянный взгляд и голос хриплый, задыхающийся.

—И его там сейчас на угли?

— Не знаю, — сказал офицер.

— А пытаться все-таки станут?

— Непременно.

— И попытают?

— Скорей всего.

Егорка обеими руками схватился за грудь.

— Ваше благородие! — почти закричал Егорка, вытягивая шею. — Господин офицер. Ой, ваше благородие!

Он хотел говорить дальше и не мог. Только затряс головою, и его крючковатые толстые короткие пальцы заскребли по груди, будто грудь ему жгло изнутри.

Офицер глядел на него с любопытством.

Егорка громко стукнул себя кулаком в грудь.

— Наврал я, ваше благородие! — крикнул он, — все наврал... Какой это хунхуз. Только одна одежда. Проезжий он китайский мужик, вот он что!

И, разыскав глазами икону, он опустился на колени и перекрестился.

— Вот вам крест.

Офицер растерялся.

— Зачем ты это сделал? — произнес он.

Не вставая с колен, только повернув к нему голову, Егорка ответил:

— От бедности, ваше благородие! Думаю, награда будет. Это я лежал у себя в землянке и все выдумал, как говорить, разве я знал...

Вся эта история могла бы кончиться очень скверно для Егорки. Его спасло одно только его круглое невежество.

Потом он просился в добровольцы, когда узнал, что японцы хотят отвоевать у России чуть ли не всю Сибирь, и проникся сразу дикой ненавистью к японцам. Ему казалось, что японцы не Сибирь отнимают у России, а у него самого кусок хлеба.

Но его не взяли в добровольцы.

Тогда он взял свою „гусарку“ и ушел с нею и с своей ненавистью на юг, туда, где разыгрывалась кровавая военная драма. С тех пор о нем не было ни слуху, ни духу.

## Лазутчик.

### I.

Смирнов осторожно приподнялся на локте, просунул голову между двумя лежавшими близко один подле другого, и посмотрел вперед.

Эти камни издали, когда он подползал к ним, показались ему в темноте сначала одним камнем. Затем он разглядел посредине камня трещину, и, наконец, уже когда был совсем близко, камень словно раскололся и разъехался на две стороны.

Открывалось отверстие, длинное и узкое...

Впереди была тьма...

На совсем почти черном небе на горизонте мигала одинокая звезда.

Откуда-то пахло свежей землей, откуда-то тянуло гарью.

Смутно вдали обозначалась ни то скала, ни то башня, ни то дерево... И трудно было сказать, далеко ли до той башни или скалы, или дерева...

Смирнов прополз мимо камня, и сейчас же перед ним из темноты выплыло опять что-то мутное, белое, как тогда, когда он еще неясно различил в первый раз те два оставшихся теперь позади камня.

Еще камень...

Он глянул в сторону. Там тоже маячило неопределенно, как в темном погребе, что-то белесое.

Всю дорогу ему попадались камни.

Казалось, кто-то и когда-то давно, давно, так что тяжелые песчаные глыбы успели врасти наполовину в землю, закидал сверху всю страну камнями.

А тут камней было особенно много.

Будто тут именно они грохнулись сразу кучей и потом уже раскатились во все стороны, по всей стране.

Кругом по-прежнему было и темно, и тихо-тихо...

Чувствовалась сырость. Чувствовалось, как садилась роса.

Камни осклизли. Мундир на Смирнове тоже отволг, и к нему неприятно было прикоснуться: пальцы липли, будто это не роса осела на руках и на мундире, а выступило что-то из сукна и из пальцев...

Все дальше пробирается Смирнов между камнями.

В тишине прогудел жук и сейчас же оборвал свое гуденье, как только пролетел мимо, словно провалился в темноту позади Смирнова.

Смирнов остановился, поднял голову...

О чтоб тебя!

И двинулся дальше. Но через секунду остановился опять.

За голенищем у него был кинжал. Он дрыгнул ногой раз, потом еще раз... Казалось, за голенищем нет ничего. Раньше кинжал его беспокоил. Теперь кинжал совсем не ощущался.

Будто одна портянка обмотана вокруг ноги...

Он подтянул ногу, пощупал.

„Нет, цел кинжал“.

Он опять пополз...

Еще камень, еще... Направо невысокая скала...

При каждом движении теперь он чувствует за голенищем твердый предмет... Кинжал опять беспокоит ногу, раздражает кожу сквозь портянку...

Будто к самым нервам прикасается... Нервный зуд бежит дальше по всему телу, по спине, в пояснице... Будто какая-то неприятная изморозь проступает сквозь кровь...

Глубокая рытвина.

Смирнов не заметил, как подполз к ней.

Только у самого края он рассмотрел ее. Дна не видно, ни противоположного берега рытвины. Земля словно тут провалилась. Рытвина полна мрака.

Он ползет берегом рытвины влево.

Под руками и коленями чувствуется песок, мелкие острые камешки.

Он ополз рытвину кругом, взял опять прямое направление.  
Впереди все та же тьма...  
Башня или скала вдали пропала... Только звезда мигает.  
Все время он полз прямо на эту скалу или башню.  
И он даже дышать перестал и вытянул шею и, не мигая,  
вперил взгляд вперед...  
Где эта скала?  
Тускло блеснула ему в глава звезда.  
Но он не сразу сообразил, что это значить, что он не сбился  
с пути, когда звезда все там же, где была раньше.  
Потом в нем мелькнула мысль.  
Стало-быть, он не заблудился...  
Стало-быть, скала—так и есть скала...Он только сейчас  
прополз мимо неё, перед этой рытвиной  
Скала осталась позади.  
Далеко ли? Близко ли?  
Скала казалась совсем далеко, там же, где звезда, на самом  
горизонте.  
Он оглянулся назад...  
Вон она...  
И опять не разберешь, дерево ли это, башня ли, скала ли!  
Опять она так же далеко, на самом, кажется, горизонте, как  
была раньше.  
А может-быть это не та скала, которую он миновал только  
что? Может, это другая скала или какое-нибудь дерево,  
которого он раньше не заметил?..  
Тихо кругом.  
И в нем все затихло.  
Мрак повсюду... И не знаешь, что притаилось в этом мраке  
и что сейчас будет...  
Далеко-далеко мигает звезда.  
Он оглядывается кругом.  
Темный высокий предмет маячит вдали — это скала или  
башня, или Бог ее знает что...  
Жутко и смутно на душе... Словно мрак, объявший все



вокруг, захлестнул душу...

Раньше он прямо полз на эту скалу... А теперь скала, если это только скала, вон она—назади, спряталась в темноте... А если и звезда эта другая, на другой стороне? Или одна звезда закатилась, а другая взошла?

Он останавливает глаза на звезде.

Та ли?... Разве узнаешь!..

О, Господи!..

## II.

Он все-таки пополз дальше, держась прежнего направления.

Вокруг все так же было тихо....

Но каждую секунду мог вспыхнуть где-нибудь неподалеку, из какой-нибудь рытвины или из-за скалы огонь выстрела... Мог раздаться оклик из неприятельской заставы.

Может-быть, неприятель от него не дальше той скалы, что осталась позади.

Нет, нужно подвигаться вперед еще осторожней, чем раньше. Каждый шаг приближает его к неприятелю, а каждое неверное, неловкое движение—к смерти.

Снова мелькает мысль:

„Цел ли? кинжал“. Снова он ощупывает сапог... Пока он соображал, не заблудился ли, а кругом была тьма и тишина; эта тьма и тишина подавляли его, захватили всего, словно пришибли... Он не только перестал ощущать, как за несколько минут перед тем, кинжал за голенищем, —он не мог даже сказать, что сейчас у него под руками—песок ли, земля ли или камень.

„Нет, тушь кинжал“...

Опять он пополз...

Иногда, когда он сворачивал за камень или спускался в какую-нибудь неглубокую рытвинку или впадину, мерцавшая впереди звезда пропадала за углом камня или за краем рытвины.

Он выбирался на ровное место, а звезда словно выплывала откуда-то снизу... Точно она вместе с ним и скрывалась в рытвинах, пряталась за камни, точно следила за ним, за каждым его шагом.

— А, ты вот она!..

Тускло блестит она ему издали.

И это—что звезда то пропадала, то вспыхивала опять почти через равные промежутки — начинало мало по малу раздражать его... Тот же болезненный зуд, какой испытывал он от ощущения постороннего тела в сапоге, дергал нервно раз за разом, минуту за минутой, давая нервам отдых только на мгновение, чтобы снова загореться в них.

Словно глаз какой-то блестит ему из темноты.

Сверкнет, потухнет и опять блеснет...

„Ага, ты вот где!.. Ты опять выполз на чистое место“.

Он нарочно стал задерживаться подольше за камнями и в рытвинах...

Тут ему было спокойней...

Тут даже звезда его не видит...

Иногда свет звезды казался ему необыкновенно ярким. Словно она разгоралась...

И ему было больно смотреть на нее.

Её короткие лучи словно впивались ему в глаза, словно слепили глаза. Словно смотрел он не на звезду, а на близко стоящую свечку.

Попробуйте пристально долго смотреть на свечу, даже на самую маленькую свечку, даже на огонек лампадки... Получится то же.

Даже слезиться начинали у него глаза с болью, с резью под веками.

Красные круги выплывали и потухали перед глазами.

И потом, когда он отводил глаза в сторону, мрак казался еще более глубоким, будто он забирался куда-то все глубже-глубже книзу, в какую-то пропасть.

Вдруг он остановился...

В эту минуту он только что выбрался из-за невысокого пригорка. Совсем близко, тут же за пригорком, чуть теплился небольшой костерчик, кучечка поломанных тоненьких веток...

Пламя было слабое... Видно, кучечку веток только что подожгли... Синеватая снизу, извивающаяся лента пламени волновалась между ветками, обвивала ветки... Курился легкий дымок.

В первое мгновение ему бросился в глаза только этот костер. Потом он различил фигуру, сидевшую около костра на корточках боком к нему.

Фигура была неподвижна...

Отблеск пламени искрился слабо на синем мундире и на чем-то блестящем на земле с боку фигуры.

Один он, или тут их несколько?

Он долго, так что костер успел разгореться как следует, подгибал и подтягивал правую ногу, где за голенищем у него был спрятан кинжал...

Он видел, как разгорается костер... Светлое пятно вокруг костра, сначала трепетное, дрожащее, будто умирающее, расплывалось по земле теперь, захватывая быстро все больше и больше пространства.

Около пригорка была трава.

Будто жидкое зеленоватое пламя разливалось вокруг костра.

Ветки, из которых был сложен костер, были сухие и загорелись дружно, как-то все сразу.

Зеленоватое пламя, казалось, торопилось разлиться во все стороны, захватить возможно большее пространство.

Будто оно подкатывалось ему под колени.

Когда он подался немного вперед, подбирая ногу, от его головы на освещенное пространство легла резкая черная тень, круглое черное пятно.

Он увидел эту тень и быстро, задержав на мгновение ногу, всем корпусом сразу подался назад.

Словно он обжегся.

Наконец, он подтянул ногу настолько, что мог достать кинжал.

Так же долго и так же осторожно вынимал он кинжал из ножен...

За все это время он не спускал глаз с японца.

И ему это было трудно — одновременно и следить за японцем и следить за тем, чтобы клинком кинжала как-нибудь не царапнуло по ножнам...

Внимание раздвоилось...

Будто он косил глазами в разные стороны, не зная откуда ждать нападения...

Когда он вынул кинжал, стало легче.

Теперь он немного подвинулся назад...

Что делать?

Один он или нет?.. Он бросил взгляд вверх по пригорку... Нет ли там кого?

Нет, никого, кажется...

А не может быть, чтобы никого... Что он тут один делает?..

Он опять перевел глаза на сидящего перед костром.

Теперь костер освещал японца ярко и полно...

„Подожду пока станет погасать“, — решил он.

### III.

Притаившись, весь съежившись, почти припав к земле, он ждал, пока погаснет костер...

Ждать пришлось недолго.

Светлый круг на земле около костра стал суживаться. Пламя стало трепетное, неровное, дрожащее. Опять со всех сторон надвигалась темнота.

В темноте ярко блестели угли.

Ветки уж не трещали больше... Языки пламени укорачивались, уходя вниз, в угли... От времени до времени языки пламени забирали силу, вырывались вверх, но сейчас же опять прятались в угли...

Теперь или обождать?

Каждую секунду он готов был вскочить и броситься.

Он понимал, что действовать нужно быстро, ловко и наверняка...

Чтоб японец не крикнул, не застонал.

Прямо в сердце...

Японец сидел к нему боком. Надо вскочить, схватить его левой рукой за руку в локте, а правой рукой ударить в бок. Сердце—там.

Или за горло схватить?..

Или оглушить ударом ручки кинжала в темя?..

Он положил кинжал, расправил пальцы.

А если, действительно, схватить сразу обеими руками за горло и удушить?

Ему не один раз приходилось видеть смерть, участвовать в рукопашных схватках... Но он никогда не соображал, как лучше бить, и никогда не помнил, как он убивал.

Он колол штыком или разбивал черепа прикладом, как придется...

Если и то схватить за шею и задавить?..

Захрипит...

Костер погас почти совсем.

Теперь пора...

Но он все еще медлил... Он слышал, как кровь стучит у него в висках... Будто это не кровь, а самые мысли, горевшие в мозгу, били и колотились в виски...

За шею или в бок? В бок или за шею?

Но чувствовал, что он все равно не может решить, как он поступит, т.е. как убьет.

О том, что японец тоже может его убить, он не думал почему-то в эту минуту.

За шею или в сердце?

И вдруг он вскочил.

Его будто что подбросило.

Японец не успел подняться. Каблуком сапога Смирнов

ударил его в висок, потом, не давая опомниться, схватил за воротник, повалил на спину и ударил кинжалом под сердце.

Японец так и остался лежать.

Он только чуть-чуть потянулся, словно оборвалась в нем какая-то сдерживающая пружина, точно распустилось что-то, и члены приходили из состояния напряженности в состояние покоя...

Еле-еле освещали угли, уже покрывавшиеся темным налетом, фигуру японца.

Смирнов быстро скользнул назад и спрятался за камнем.

Опять в висках застучала кровь.

Нужно было уходить как можно скорей отсюда, не теряя минуты, но у него мелькнула мысль:

— А, может-быть, нужно обождать?

И опять заколотились мысли: уходить или обождать?.. Если тут поблизости есть кто-нибудь—могут прибежать на шум... Тогда будет слышно, откуда бегут, и, стало-быть, можно будет определить, в какую сторону спастись...

А, может-быть, и шума не было никакого?..

Разве он знает, был шум или не было...

Он прислушался.

Нет, все тихо...

Прислушался опять повернув голову в другую сторону... И вздрогнул...

Не то хрипенье, не то стон пронеслись в тишине, там, где лежал японец.

Значит, жив еще... Значит, не убит...

А он думал, что уж все кончено... Страшное состояние охватило его. Словно он шел, шел по скверной дороге, долго шел, измучился в конце, и оказывается, что не нужно возвращаться назад опять по той же скверной дороге, опять мучиться...

Да может, это только почудилось, послышалось.

О, как тяжело идти по раз пройденному пути.

Нет, стонет...

Стонет—значит могут услышать, могут прибежать.

Снова он пополз...

Слабо тлели угли... Розоватый отблеск лежал на лице японца... На губах чернела кровь или тень—нельзя было разобрать.

Японец зашевелился...

Голова перекатилась на сторону ближе к плечу... Зрачки глаз медленно перекатились в сторону Смирнова.

Смирнов перестал ползти. Нечаянно он задел кинжалом о камень. Кинжал звякнул.

Теперь глаза японца остановились уж прямо на Смирнове.

Он быстро спрятал голову за камень.

О, Господи, да когда же все это кончится? Ведь японец же видит его и, значить, знает, зачем он к нему подбирается.

Может, он и кинжал видел?

Кинжал словно самому Смирнову царапнул лезвием по пальцам...

Он высунул голову из-за камня.

Прямо в глаза ему блеснул блестящий взгляд.

Опять кинжал, казалось, хватил Смирнову по сердцу. Он спрятал голову, прижался весь к земле и пополз, стараясь не шуметь, в сторону.

Все равно, добить его нужно.

Только не может, не может он его бить, когда он на него смотрит...

А добить нужно. Еще услышат, прибегут...

Нужно заползти с другой стороны и тогда ударить... Чтобы японец не видел, не ожидал...

Пока он полз, японец простонал только раз, тихо, чуть слышно и потом затих.

Смирнов выглянул из-за камня.

Теперь уж японец не мог его видеть... Он осторожно встал и нагнулся к нему.

Он сам не слышал своих шагов.

Он подходил к японцу, как кошка.

И вдруг японец опять завозился... Смирнов увидел сверху, что теперь японец смотрит на его тень, смутно при слабом блеске углей обозначающуюся на траве возле него.

Значит, японец опять его заметил... по тени.

Он остановился.

Но нужно добить, добить!.. В ушах у него звенело... Ноги отказывались идти дальше... Добить... Он хотел двинуться и не мог...

Секунду он оставался неподвижен, потом схватился обеими руками за голову, при чем кинжал у него выскользнул из пальцев, повернулся и исчез в темноте.



## Чемодан с деньгами.

### I.

—Есть свободные номера?

Василий Никитич встал со скамейки, стряхивая с красной с белыми городками рубашки скорлупу от семечек и в то же время вглядываясь пристально прищуренными глазами в лица двух молодых людей, в резиновых плащах с поднятыми капюшонами, и ответил с заминкой:

—Нумера?.. Нумера есть...

Глаза его совсем сузились; зрачки почти скрылись под веками и блестели между ресницами, как две маленькие-маленькие искорки.

Вдруг он словно опомнился.

—Как же, есть! Пожалуйте.

И, повернувшись, подошел к двустворчатой двери, ведущей в номера.

Взявшись рукой за скобку двери, он помедлил секунду, словно раздумывая о чем-то, потом потянул скобку к себе.

Одна половина двери отворилась с пронзительным визгом; что-то забултыхало и застучало внутри притолоки. На мгновение из номеров, должно быть, из поварской, донесся drobный стук ножа по доске или по столу.

— Входите.

Василий Никитич посторонился, придерживая дверь спиной и руками.

Теперь он глядел во все глаза на новых своих квартирантов. Они взбирались мимо него вверх по ступенькам, придерживая плащи. У одного Василий Никитич заметил под плащом ручной чемодан.

Лестница в номерах была крутая и узкая с перилами, выкрашенными в черную краску, с темно-красным половиком, прибитым к ступенькам наглухо. На нижних

ступеньках, от нанесенной на сапогах с улицы грязи, половик был, как мокрая кожа, склизкий и липкий. Всюду по лестнице валялись папиросные окурки, обгорелые спички. Какие-то жирные, темные пятна проступали по половику. На одной из верхних ступенек прилип кружочек лимона, и тут же лежала раздавленная пустая папиросная коробка и пустой разорванный конверт с грязным следом каблука.

Пропустив молодых людей вперед ступеньки на три, Василий Никитич отслонился от двери и пошел вслед за ними.

Опять заскрипела дверь, опять забултыхало и застучало внутри притолоки; слышно было, как визжит блок; потом что-то глухо и отрывисто гроыхнуло об пол внизу притолоки.

Теперь по лестнице раздавался только скрип сапог Василия Никитича да шуршанье резиновых плащей. Вверху на площадке, молодые люди остановились. Один откинул капюшон. Тот, у которого был чемодан, поставил чемодан на пол и повернулся к Василию Никитичу. Его взгляд прямо встретился со взглядом Василия Никитича.

— Направо! — крикнул Василий Никитич немного запыхавшимся голосом.

Он торопливо поднимался по лестнице, опираясь правой рукой о перила и показывая из-под рубахи попеременно то правую, то левую коленку. Он был в синих штанах; на коленках штаны выцвели, стали из синих почти белыми, и когда он, откинувшись корпусом назад, переставлял по ступенькам ноги, выворачивая их как-то странно, точно ноги спешили сами собой вверх, а грузное короткое туловище оттягивало назад вниз, — эти белые пятна выделялись резко на его темной фигуре и на общем темном фоне лестницы.

Голова Василия Никитича была поднята, густая рыжая борода выставлялась вперед. Сверху из-за бороды видны были только его ноздри, брови да лоб.

О площадки направо вела дверь с мутными стёклами, защищенными переплетом из медных прутьев. Молодой

человек, не имевший с собой никаких вещей, отворил дверь. Его товарищ опять взял чемодан, теперь уже не в правую, а в левую руку, и оба они взошли в коридор, длинный и мрачный, освещенный только одним окном в самом конце.

Тут они снова остановились.

В коридоре было совсем тихо. Но через секунду откуда-то донеслось тиканье больших стенных часов и вслед за тем их протяжное хрипенье. Потом часы стали бить. Ударили раз, дребезжа на весь коридор, затихли на мгновение, захрипели опять... Долго хрипели. Второй удар... Точно тонкие железные полосы одну на другую бросали в железной лавке.

Коридорная дверь скрипнула.

—Пожалуйста-с... Номер двадцать восьмой... Позвольте-с.

Василий Никитич протискался между молодыми людьми и пошел по коридору, все так же выворачивая ноги.

Громко заскрипели его сапоги, —еще громче, чем на лестнице. Этот скрип раздавался во всех углах коридора. И если закрыть глаза, то трудно было бы сказать, где именно родится этот скрип и где он родит эхо. Точно весь коридор заскрипел.

А часы все били.

—Это ваши номера?

Василий Никитич остановился и круто повернулся назад. Его словно кто дёрнул сзади.

Широко открыв глаза, он прямо устремил их в лицо очутившемуся теперь всего в расстоянии шага перед ним человека в резиновом плаще.

—Чего-с?..

И он приложил ладонь к уху, чуть-чуть повернув голову в бок. Закусив слегка нижнюю губу, он стоял неподвижно и смотрел теперь не на своего постояльца, и вниз.

Потом он сказал тихо:

—Ну-те?..

И еще больше повернул голову в сторону и совсем оттопырил ухо ладонью.

—Хозяин этих номеров вы?..

Василий Никитич ответил не сразу. Отняв руку от уха, он медленно опустил ее вдоль тела, наклонил голову, и на лице его на мгновение застыло такое выражение, будто он разгадал что-то сразу и неожиданно, что также неожиданно пришло ему на ум.

Брови поднялись, глаза стали неподвижны, губы полуоткрылись, и между губами, словно облизывая губы и зубы, мелькнул и опять моментально спрятался кончик языка.

—Я,—произнес он наконец и встряхнув плечами, пошел по коридору дальше.

\*\*\*

Василин Никитич беседовал у себя в „конторке“ с своим номерным Жмуркиным.

Жмуркин был невысокого роста, тщедушный человек, с узкой грудью и острыми, немного приподнятыми плечами.

Василий Никитич сидел за столом, а Жмуркин стоял у притолоки. Он держался довольно свободно с Василием Никитичем. Голову он запрокинул назад, так что затылок как раз упирался в край притолоки, руки скрестив на груди, выпятив вперед локти и точно нарочно выставляя на показ темно оранжевые пятна на пиджаке под мышками, выгоревшем в этих местах от пота.

Одну ногу, согнув ее в коленке, он прожимал ступней и каблуком к притолоке, а другою упирался в пол.

На нем были очень короткие, сразу видно, что подшитые снизу, брюки из какой-то необыкновенно толстой материи одного цвета с пиджаком, все в пятнах. Жилетка, измятая и морщинистая, приподнялась, напозла кверху по животу и из-под жилетки белела рубашка.

Смотрел Жмуркин не на Василия Никитича, а в потолок, от времени до времени почесывая о притолоку голову то в том, то в другом месте, для чего извивался всем своим жидким сухим телом.

— Жмуркин, я тебя спрашиваю, видел ты их?

Почесывая о притолоку голову, Жмуркин ответил:

—Известно, видел.

На секунду только он скользнул глазами сверху вниз из полуоткрытых век, потом опять уставился в потолок и продолжал:

—Я думаю так. Василий Никитич: подам я прошение в главный штаб к его высокопревосходительству... Ей Богу-с... Они, конечно, примут...

Тут зрачки его глаз словно выплыли из-под век и остановились на Василии Никитиче.

Вы полагаете, я не могу состоять при них в должности переводчика?..

Василий Никитич нахмурился и стукнул пальцем по краю стола. На пальце у него было кольцо, и звук вышел короткий и громкий, словно стол треснул.

—Будет молоть!..

Жмуркин все так же, из-под век, поглядел на стол и на палец Василия Никитича.

Потом он выпрямился и тряхнул головой.

—Чиво-с?

—Ведь ты знаешь по-японски?

Жмуркин присвистнул, мотнув головой снизу-вверх.

—Фью!..

Затем прищурил глаза.

—А вы спросите, по-каковски я не знаю... Например...

И, сдвинув брови, он отвернул голову в сторону и пристально поглядел в окно.

—Гм, — сказал он и еще больше сдвинул брови.

—Стало, понимаешь?..

Жмуркин отвел глаза от окна и остановил их на Василии Никитиче.

—Например, — произнёс он глупо, — мутер... Или опять...

Брови его снова сдвинулись. Лицо приняло сосредоточенное выражение.

—Жмуркин!..

Жмуркин встрепенулся.

—А по-японскому...

И тут он взял свой указательный палец левой руку большим и указательным правой и, поднеся обе руки ко рту, вздернул с уголка верхнюю губу, обнажив желтый клык, и погрыз этим клыком кончик указательного пальца на левой руке.

—Вот как-с... До тонкости. Можно сказать, собаку съел.

—Ну и что же ты скажешь?

—А то я скажу, что это японцы... Вот эти.

Он качнул головой в сторону двери и пояснил:

—Которые в резинах.

Василий Никитич внимательно поглядел ему в лицо.

—Подслушивал?..

Лицо у Жмуркина стало как деревянное.

Каким-то скрипучим голосом он сказал:

—А вы изволили слышать про лазутчиков? Так я в роде лазутчика.

Он снова запрокинул голову, уперся затылком в притолоку и уставился в потолок.

Значит, под дверью стоял?

—Не под дверью, — ответил Жмуркин, все глядя в потолок, — а как бы и засаде.

—Ну, а дальше...

—А дальше, про вас говорили...

—Про меня?..

Василий Никитич даже чуть-чуть приподнялся в кресле, положив обе руки ладонями на край стола. Глаза у него округлились; зрачки стали прямо посередине белков.

—Как про меня? —выговорил он глухо.

—Про вашу, значит, наружность и про нумера...

Жмуркин крикнул.

—Говорят, вот, мол... Один говорить: „Можно на него положиться?“ А другой: „Я такого не в первый раз вижу. Если, —говорит, —он при часах и сапоги лаковые и притом

номера держит, то можно“.

Он умолк.

Молчал и Василий Никитич. Глаза у него стали как стеклянные, без всякой мысли. Весь он словно оцепенел.

Жмуркин заговорил снова:

—И потом, говорит это другой, говорит: „а кроме того, я навел справки, что он торговал водкой потихоньку“. По-нашему, значит, из-под полы —пояснил он от себя и кашлянул в руку.

—По-японски говорил? —крикнул Василий Никитич, блуждая по комнате глазами и на мгновение даже остановив их на потолке, на том месте, куда смотрит Жмуркин.

—Я же вам сказал, —ответил тот.

Василий Никитич встал из-за стола и заходил по комнате.

—Мне и то казалось, — бормотал он, разводя руками, — чего они на меня так смотрят... И опять же по выговору слышу... Гм...

Вдруг он остановился перед Жмуркиным.

—Жмуркин!.. А ты не врешь?

—Вот вам крест, — сказал Жмуркин и перекрестился.

\*\*\*

В комнате, снятой таинственными путешественниками в резиновых плащах, находились Жмуркин и Василий Никитич.

Таинственные путешественники только что ушли, заперев дверь своего номера на ключ.

Но у Василия Никитича нашелся другой ключ, и он сказал Жмуркину:

— Жмуркин, пойдем и посмотрим.

— Как вам угодно-с, —ответил Жмуркин.

После некоторого весьма непродолжительного колебания Василий Никитич решил вскрыть чемодан... Ведь он, собственно, для того и вошел в номер, чтобы добыть какие-нибудь сведения о своих постояльцах.

На паспортах у них значилось: мещане такого-то города... Василий Никитич, просмотрев паспорта, бросил их сейчас же в ящик стола с таким видом, с каким он, перебирая иногда бумаги, бросал в этот ящик векселя, по которым нельзя получить. Паспортам он не придавал никакой цены.

Вынув из кармана связку ключей, он один по одному совал ключи в замочную скважину чемодана.

Пружина вдруг щелкнула.

Василий Никитич приподнял крышку чемодана, отвернул потом газетный лист, закрывавший сверху то, что было в чемодане.

Чемодан оказался полон пачками совсем новеньких трехрублевки. Каждая пачка была перевязана бечевкой.

По улице в это время по неровной, изрытой копытами и колесами, совершенно пересохшей дороге с грохотом двигались пустые зарядные артиллерийские ящики. Чувствовалось, как содрогается почва и дрожат стены.

Когда Василий Никитич увидел деньги, грохот колес, оглушительный, немолчный, от которого дребезжали стекла в окнах, вдруг словно потух в его ушах.

Стекла перестали дребезжать...

Каким-то задыхающимся шопотом, широко раскрывая рот, он произнес, точно выдыхая из себя это слово:

—Жмуркин...

Потом сунул руки в чемодан между пачками.

—Фальшивые, —сказал Жмуркин... —Слышали, небось... Они в роде Наполеона... Хотят напустить их побольше, чтобы подорвать кредит.

—Молчи —зашептал опять Василий Никитич, —на... Только молчи...

И, выхватив дрожащими руками несколько пачек из самой середины, он подал их Жмуркину.

Но Жмуркин спрятал руки за спину.

—Бери сам, —сказал он грубо.

Брови у него сдвинулись. Невыразимое презрение



изобразилось на его лице.

И, отступив назад к дверям, он произнёс сквозь зубы:

—Христопродавец...

Скривив губы, несколько секунд он молча смотрел на Василия Никитича, потом заговорил, все так же кривя губы:

—Правильно они про тебя поняли, что на тебя можно положиться... хотя, впрочем, что от тебя ждать...

Василий Никитич вскочил.

Он вспомнил, что час тому назад ему говорил Жмуркин.

Точно толкнуло ему что в грудь.

Опять загромыхали за окном колеса, задребезжали стекла... Казалось, не по улице, а в нем самом грохочут колеса и давят его.

—Гадина! —сказал Жмуркин. —Люди на смерть идут, а ты...

Дверь чуть-чуть скрипнула, приотворилась и сейчас же опять быстро захлопнулась.

Щелкнул ключ. Вслед затем по коридору раздались быстрые, почти бегом, удаляющиеся шаги...

—Они! — крикнул Жмуркин. —Давай ключ.

Но Василий Никитич забыл, куда он сунул ключ. Он остановился неподвижно посреди комнаты и тупо глядел на Жмуркина.

По-прежнему по улице грохотали зарядные ящики, и Василию Никитичу чудилось, будто зарядные ящики проваливаются куда-то вниз, и он проваливается вместе с ними.

И вдруг в нем вспыхнула злоба на себя, на японцев, этих владельцев неисчислимого богатства, заключающегося в чемодане.

Он подбежал к окну, вышиб стекла и закричал:

—Держи их, лови!...

На мгновенье среди пешеходов, лепившихся по деревянным мосткам-тротуарам, мелькнули серые плащи.

— Вон они!...

Но плащи мелькнули и скрылись...

Василий Никитич схватился руками за голову, крепко зажав в пальцах волосы, и заскрипел зубами.

\*\*\*

Было холодно и сыро. Моросил мелкий дождик.

На крылечко маленького низенького домишка под деревянной почерневшей от дождей и времени крышей торопливо взбежали два человека.

Один из них худенький, невысокого роста, в коротком однобортном черном пиджаке с поднятым воротником, застёгнутом на все пуговицы до самого верха, был брюнет с желтым болезненным лицом, другой, немного повыше его, блондин с круглой густой бородой и подвитыми усами.

Застегнув пиджак, брюнет, кроме того, еще расправил отвороты на груди и, придерживая их рукой снизу спрятал в них подбородок и кончик носа. Он горбился немного, поднял плечи и вобрал голову в плечи. Воротник пиджака почти касался его больших оттопыренных ушей.

Очутившись па крыльце, он стукнул в дверь согнутым указательным пальцем, костяшкой этого пальца, став к двери боком, согнувшись и все продолжая другой рукой придерживать под подбородком отвороты пиджака.

Мгновенье спустя, он стукнул опять и затем через секунду снова подряд три раза.

Стук... Стук-стук-стук...

Дверь скрипнула и открылась.

Ежась, все так же сгорбившись и потирая руки, брюнет юркнул за дверь. Вслед за ним так же быстро, как он, юркнул и его спутник.

Дверь захлопнулась.

Дверь вела в проходной коридор: в конце коридора была другая дверь, выходившая прямо на двор. Сейчас дверь эта была не плотно прикрыта. Узкая полоска света белела между притолокой и краем двери.

Коридор только и освещался сквозь эту щель между притолокой и дверью. Окон в коридоре не было.

Смутно и неясно различались в полутьме фигуры вошедших в коридор и отворявшего им дверь.

Один из вошедших, болезненный брюнет в коротеньком пиджаке, произнес тихо:

— Сам дома?

И, сейчас же дернув своего товарища за рукав, нагнулся к нему и что-то шепнул ему на ухо.

Затем спросил опять:

— Дома?

Глаза его успели уже несколько привыкнуть к темноте... Оклеенные белыми обоями стены коридора выплыли из сумрака по обе его стороны. Довольно ясно разглядел он теперь стоявшего перед ним молодого парня, в простой без пояса рубашке, босого, в нанковых серых штанах.

— Дома?

— Дома-с.

— А гости есть?

— Есть.

— Много?

— Порядочно.

А белые стены постепенно словно впитывали в себя темноту. Даже тень разглядел он на стене позади парня, падавшую от него. Маленькие черненькие глазки скользнули через плечо парня дальше в глубь коридора и сейчас же опять остановились на парне.

— Там?

Он мотнул головой на дверь.

— Там-с.

Парень посторонился.

Брюнет вскинул глаза на блондина.

— Пойдем?

Тот кинул утвердительно головой и двинулся вперед.

Дверь в конце коридора, как уже сказано, вела прямо на

двор.

В глубине двора было какое-то длинное каменное здание с маленькими почти под самым карнизом окошками, — не то сарай, не то конюшня. На крыше не было труб. Но, вероятно, здание было обитаемо: из одного окна наружу сквозь круглое отверстие, прорезанное в стекле с жестяной накладкой, как это делается в вентиляторах, высывалась короткая железная черная от копоти трубка вершка два в диаметре.

Брюнет и блондин направились прямо к этому зданию: брюнет — впереди, блондин — сзади, сейчас же за ним, ловко перескакивая по большим серым камням, набросанным в некотором расстоянии один от другого по прямой линии от двери из коридора через весь двор.

Им опять пришлось стучаться так же, как на улице, в дверь каменного здания: в несколько приемов, с короткими перерывами:

Стук...

И потом после небольшой паузы раз за разом:

Стук-стук-стук.

Дверь отворилась. Она была узенькая и низенькая, словно прорубленная карликами и для карликов. Согнувшись, они скользнули в эту лазейку один за другим тихо и бесшумно, как два зверька.

Они опять очутились в темноте.

Но темнота теперь уже была полная.

Блондин опросил шопотом:

—А что ж дальше?

Под ногой он чувствовал каменные плиты. Пахло сыростью, как пахнет в подвале или погребе. Когда он протянул руки, чтоб ощупать стены, пальцы его встретили что-то твердое, влажное и холодное.

Невольно он отдернул руку и сейчас же сообразил:

„Кирпичи... верно, подвал“.

Шопотом он окликнул товарища.

—Сейчас, — отозвался тот невнятно и глухо. По звуку его

голоса можно было догадаться, что он уже переменял место, отойдя куда-то дальше в глубь подвала. Подвал, видно, был большой.

Потом там же, где прозвучал его голос, что-то скрипнуло, и вслед затем в темноте блеснул свет.

Свет, казалось, родился из этого скрипа.

—Ага, —сказал блондин, двигаясь вперед.

Но свет сейчас же потух.

Брюнет все также шопотом произнёс:

—Сюда.

Опять вспыхнул свет.

На блондина из мрака глянуло знакомое ему худое болезненно-желтое лицо...

—Идите сюда.

Когда брюнет произносил эти слова, черная резкая полоска тени легла у него между губ... Потом полоска исчезла, губы словно посерели и провалились. Только лоб, щеки и нос белели рельефно, как вылепленные.

Слабый бледный, немного дрожащий свет продолжал струиться сверху, искрясь чуть-чуть на стенках там, где на кирпичках была известка.

Опять что-то скрипнуло.

На одну минуту блондину показалось, будто слегка приотворили дверь в комнату, где собралось много народа: сразу вместе с этим скрипом ударил ему в уши слитный и смутный гул голосов, шмурыганье и громоуханье шагов по каменному полу...

Но дверь — если это точно была дверь — сейчас же закрылась: звук голосов и шум шагов вспыхнул в тишине и потух мгновенно, словно налетел и бесследно унесся. Словно упал камень куда-то, где звук не родит эха.

Свет усилился.

Теперь уже ясно было видно, что свет идет чрез небольшое полукруглое окошко под самым потолком. Под окошком стояла железная лесенка, прислоненная к краю подоконника

верхним концом. Нижним концом она упиралась в пол. Направо от лесенки смутно различалась дверь, проделанная в каменной стене. Дверь устроена была аркой.

— Ступайте за мной, — шепнул брюнет.

Он стоял возле лесенки, сбоку, держась за нее одной рукой.

— Слышите? Наверх...

И, повернувшись, он ловко закарабкался по лесенке, как обезьяна, хватаясь за перекладины лесенки то левой, то правой рукой и также попеременно быстро переставляя ноги.

На ходу, взбираясь по лесенке, он еще раз оглянулся на блондина.

— Сюда...

\*\*\*

— Мы должны бежать, — сказал блондин.

Он поглядел на брюнета и перевел затем глаза на сидевшего на корточках возле маленькой железной печки человека в кожаной куртке, с большим покатым лбом и реденькими, словно выщипанными, на голове, щеках и подбородке волосами.

Человек в куртке поднял руку и почесал у себя под глазом. Брови у него были сдвинуты. Почесывая левую бровь, он медленно, не вставая с пола и не разгибая колен, повернулся чуть-чуть корпусом в сторону блондина.

— А?

Он еще больше сдвинул брови и жмурился.

— Нужно бежать, — повторил блондин.

Брюнет кивнул головою; пока блондин говорил, человек в куртке, словно уже заранее решив, что блондин ничего нового ему не скажет, остановил глаза на брюнете.

И брюнет на этот безмолвный вопрос ответил также безмолвно кивком головы.

— Вы ошиблись, мой друг, — снова заговорил блондин, — вы указали на этого содержателя меблированных комнат, но он оказался большим патриотом...

Человек в куртке слабо вздрогнул, выпрямил потом спину и затих, чуть-чуть подняв голову.

Блондин продолжал:

—От нашего номера у него оказался запасной ключ, и когда мы ушли, он вошел в номер, распаковал чемодан...

Человек в куртке снова вздрогнул.

Казалось, и в глазах его тоже дрогнуло что-то, словно трепетный-огонек сверкнул на мгновение сквозь выражение испуга, внезапно изобразившееся в них...

—Счастье, что мы не потерялись, — продолжал блондин. — Мы застали, когда вернулись в номер, как раз у открытого чемодана. Я успел вовремя замкнуть его на ключ в номере. Потом мы бросились на улицу... Я слышал, как он кричал в окно, чтобы нас задержали.

Лицо у человека в куртке побледнело, словно серая тень легла на него.

Губы побелели.

Немного хрипло он произнес:

—Ну? ...

И потом спросил, прямо в упор уставившись на блондина:

—А никто не видел, что вы скрылись сюда?

Рот у него после того, как он произнес эту фразу, остался полуоткрытым.

—Никто.

—Я думаю, —заговорил брюнет (и сейчас же человек в куртке повернулся к нему), —я думаю, что он, конечно, не прочь был воспользоваться фальшивками, которые нашел в чемодане, но его смутило наше появление.

—Так никто не видел? — живо переспросил человек в куртке, снова поворачиваясь к блондину.

—Никто... Нас могли заметить по плащам, но по дороге мы бросили плащи.

—Но все-таки нам необходимо бежать, — сказал брюнет.

—Необходимо, —подтвердил блондин. — Будут искать.

Он поднял глаза.

— Нам нужно бежать... Поезд отходит ровно в два. Есть у вас что-нибудь, во что переодеться?

—Есть.

Голос у человека в куртке стал еще более хриплым. Цзын-Тун, содержатель тайного игорного дома, китаец по происхождению, но воспитанный в Японии и имевший теперь дела с японцами по сбыту фальшивых русских кредиток, этот маленький тщедушный человек, совсем растерялся.

Он сидел на корточках у своей железной печки, согнув спину, сгорбившись, съежившись, боясь шевельнуться, изредка только вытягивая худую морщинистую, словно состоящую из одних позвонков и обвисшей кожи, шею и прислушиваясь с напряженным выражением на желтом лице к глухим звукам, временами доносившимся снизу из-под пола.

Там были подвалы. Там в четырех просторных залах днем и ночью шла игра в банк.

Точно парил над ним ястреб, а он, Цзын-Тун, был цыпленок, не оперившийся, выгнанный бурей из гнезда. Он и правда походил теперь на цыпленка: худенький, сгорбленный с редкими, будто выщипанными на половину, короткими волосами.

—Я все устрою, —сказал он.

Он встал и ушел за перегородку. Минуту спустя, он вернулся.

Он принес с собой зеркало, бритву и два дамских платья.

О, как он ухаживал за своими гостями!

С каким старанием одергивал юбки, прикладывал банты и ленты.

Когда все было готово, он сказал:

—Теперь хоть в Москву! Ведь вы прямо на поезд?

—Да, —ответила одна из дам.—Но как мы дотащим наш багаж?

У них, действительно, был большой багаж, — два мешка с золотом. Для чего предназначалось это золото, было ли оно



точно золото, или стоимость его не превышала стоимости фальшивых ассигнаций, Цзын-Тун не знал.

Но золото хранилось у него.

—Вы дадите нам провожатого?

—Хорошо,—сказал Цзын-Тун.

Он на все был согласен.

Он мало теперь о чем думал. Одна мысль владела теперь им:

„Пусть едут, пусть едут“.

Эта мысль с каждым бьением сердца была ему в грудь.

„Пусть едут, пусть едут“...

И он сказал:

—Хорошо.

\*\*\*

По направлению к вокзалу чрез огромный пустырь шли две дамы в сопровождении высокого, бородатого субъекта в старой обтершейся кожаной куртке.

Когда-то эту куртку носил Цзын-Тун. Потом он подарил ее завсегдаю своего заведения, местному мещанину Иванову.

Иванов был страстный игрок и спустил у Цзын-Туна не одну сотню. Но теперь ему было нечего спускать. Цзын-Тун оставил его у себя в качестве прислуги.

Когда Цзын-Тун платил Иванову жалованье, Иванов проигрывал его в тот же вечер.

Иванов был всегда неразговорчив и мрачен. Он шел за своими дамами, высокий, взъерошенный, как медведь, опустив голову, угрюмо поглядывая вперед из-под густых черных бровей.

Спускалась ночь.

На всякий случай Иванов захватил с собой дубовый кол.

Вдруг Иванов остановился.

Глухой удар. Потом удар еще...

Быстро во всю прыть бежит Иванов, а на том месте, где он стоял только что, корчатся две темные женские фигуры.

\*\*\*

Цзын-Тун метал банк.

Вокруг небольшого столика, за которым он сидел, стояло кучкой несколько человек.

Просторная низкая комната, скорее подвал, а не комната, со сводчатым потолком, обитым железными выкрашенными в белую краску листами, освещалась только свечкой в медном низеньком, с ручкой, подсвечнике, стоявшей на столе перед Цзин-Туном.

Свечка горела неровным широким пламенем. На полу и на стенах от стоявших около Цзын-Туна лежали огромные тени.

От времени до времени Цзын-Тун оставлял карты, протягивал к свече руку и своими крепкими желтыми ногтями очень ловко, словно маленькими острыми щипчиками, отрывал верхушку обгорелого фитиля. Тогда пламя свечи становилось меньше, тени сбегали со стен, и самые стены точно отодвигались куда-то в глубь, в темноту. Но свеча скоро опять разгоралась, пламя забирало силу, колебалось, трепетало, вытягиваясь кверху, и вместе с ним из-под стола и из-под ног, играющих выползали опять огромные безобразные тени и занимали свои места на полу, на стенах, на потолке.

Стены выступали из мрака. Красноватый отблеск пламени вспыхивал слабо вверху на потолке, на железных листах.

В комнате было тихо. Слышался только шорох тасуемых карт да их шелест, когда Цзын-Тун, перетасовав, принимался метать.

Что-то скрипнуло в глубине комнаты слабо и тихо... Потом по каменному полу громко раздались шаги.

К столу подошел Иванов.

Цзын-Тун узнал его сразу — по шагам. Не переставая тасовать карты и не ронимая головы, он спросил:

— Проводил?

Сейчас же он услышал, как задышал Иванов. Дышал

Иванов всегда с полуоткрытым ртом, шумно вбирая воздух, одновременно ртом и носом. Точно нос у него постоянно был заложен.

—Восьмерка, — сказал Иванов.

Снова слышалось его сопенье. Через секунду Иванов добавил:

—Бубновая.

Во время игры Иванов обыкновенно имел при себе свою колоду карт. Прежде, чем назначить карту, он пробовал счастье: вынимал из колоды, спрятав руки назад, какую-нибудь карту, —какая попадется.

Сейчас в руках у него была бубновая восьмерка. Он держал ее за уголок, приблизив к губам. Пристально смотрел он на руки Цзын-Туна.

—Проводил? —опять спросил Цзин-Тун.

Иванов промолчал, как и в первый раз.

Казалось, он не слышал совсем, что сказал ему Цзин-Тун.

Карты ложились на столе против Цзын-Туна, направо и налево, почти бесшумно одна па другую, двумя ровными кучечками.

—Восьмерки все не было.

Положив левую руку на плечо одного из играющих, Иванов вытянул шею, наморщил лоб; брови у него поднялись высоко; глаза мигали редко и коротко.

—Бита, —сказал Цзын-Тун.

Восьмерка упала налево.

Иванов вынул золотой и бросил его на стол.

Цзын-Тун теми картами, что остались у него в руках, пододвинул золотой к себе, действуя картами, как лопаточкой, и, не взглянув даже на Иванова, произнёс:

—Желаете?

Он смотрел теперь на человека в форме железнодорожного кондуктора, стоявшего как раз против него.

Иванов бросил на стол еще золотой.

—Я желаю,—сказал он.

Исподлобья он взглянул на Цзын-Туна и закусил чуть-чуть с уголка нижнюю губу.

Цзын-Тун слегка вздрогнул.

Он уже ожидал услышать снова стук тяжелых сапог Иванова по каменному полу...

Он нарочно возвысил голос, обращаясь к кондуктору, так как ожидал, что Иванов сейчас же, как проиграет, уйдет от стола и застучит сапогами. Иванов всегда отходил от стола после неудачной ставки.

Когда игра шла на два стола, Цзын-Тун умел по одному звуку шагов Иванова (если Иванов играл не за его столом) угадать, выиграл он или проиграл. Иванов тогда, ступая по полу, еле волочил ноги, словно на ногах у него были свинцовые гири.

Цзын-Тун одним глазом новел снизу-вверх в его сторону; черненький зрачок перекатился в угол глаза, и сейчас же веки медленно опять наплыли на глаза.

Иванов еще больше закусил губу, потом порывисто сунул руку в карман пиджака, задержал ее на мгновение в кармане и немного с хрипотой проговорил:

—Другой золотой...

Его рука дернулась кверху, как-то нервно, с дрожью... На стол упал еще золотой.

—А карта? —спросил Цзын-Тун

—Та же.

—Восьмерка?

—Восьмерка...

Глаза Иванова скользнули мимо играющих куда-то в сторону, в глубину комнаты.

—Пиковая, — произнес он и тяжело перевел дух.

—Пиковая?

—Да, пиковая.

Иванов опять сунул руку в карман. Видно было, как он перебирает в кармане пальцами.

На секунду в уголке правого глаза Цзын-Туна опять

блеснул зрачок и сейчас же потух, словно потонул под веком.

Цзын-Тун кашлянул и стал бросать карты.

И на этот раз Иванов проиграл.

—Все? — спросил Цзын-Тун.

Иванов оперся левой рукой на край стола, согнув спину, и опустил на середину стола правую руку, сжав ее в кулак.

Когда он разжал кулак, — на столе оказалась кучечка золотых.

—Валей! — сказал он и прямо в упор уставился на Цзын-Туна.

Грудь его тяжело поднялась и опустилась.

Цзын-Тун слегка побледнел...

Иванов откачнулся от стола, мигнул веками и выговорил с трудом, будто слова у него цеплялись во рту:

—Ну... я сказал.

—Карта? — произнес Цзын-Тун, совсем так, как Иванов, изменившимся голосом, двигая челюстями медленно и тяжело, словно помимо воли.

—Все та же!

—Бубна или пика?

—Пика!

Теперь Иванов выиграл.

Цзын-Тун поднялся со стула...

—Пойдем ко мне.

Он дернул Иванова за рукав.

Иванов в это время тасовал свою колоду. Он поднял голову и посмотрел на Цзын-Туна.

—А?

Глаза его не мигали, рот был открыт. Он смотрел на Цзын-Туна, но казалось, он его не видит и не слышит, и не понимает, что от него нужно Цзын-Туну.

—Пойдем, — повторил Цзын-Тун.

Только теперь Иванов его понял...

—Пойдем, — сказал он и двинулся от стола, положив свою колоду в карман.

Он шел вслед за Цзын-Туном, громко стуча сапогами, опустив голову и сунув руки в карманы пиджака.

Вдруг он схватил Цзын-Туна за плечо.

— Зачем?

Цзын-Тун оглянулся. На минуту в его глазах мелькнуло выражение испуга... Он словно колебался.

— Ну, идем, — сказал Иванов и опять опустил голову.

\*\*\*

— Ты откуда достал деньги?

Иванов молчал.

Он стоял перед Цзын-Туном, опустив голову, как-то весь сгорбившись, держа руки в карманах пиджака.

— Ну!

— Достал, — сказал Иванов, подняв голову и вздернув плечи.

Глаза его широко открылись.

Цзын-Тун забарабанил по столу пальцами.

— Где достал?

Иванов пожал плечами.

— Мало ли где...

И он развел руки...

Пальцы Цзын-Туна выбивали по столу дробь все громче и громче.

И вдруг он неожиданно подступил к Иванову почти вплотную.

— Где, спрашиваю?

Он так и впился в лицо Иванова маленькими глазками.

Руки теперь он держал опущенными вниз, растопылив и согнув пальцы, как будто у него были не пальцы, а когти, и он собирался впиться ими в Иванова.

— Ну, где?

Иванов немного попятился.

Но Цзын-Тун сейчас же опять очутился возле него.

— Где?

Иванов оглянулся на дверь, потом растерянно поглядел вокруг.

—Убил? —зашептал Цзын-Тун, тоже оглядываясь назад.  
—Убил? ... Слышишь?

Иванов побледнел.

—Ведь ты пошел проводить до вокзала?

—Зачем вокзал? —произнес Иванов все так же растерянно.

Неподвижным взглядом смотрел он в одну точку, продолжая разводить руками.

—Зачем? ... Какой вокзал? ...

—Убил? — снова зашептал Цзын-Тун. — Где ты девал этих барынь?

Иванов опустил руки и быстро-быстро зашевелил пальцами. Нижняя его челюсть тряслась. Глаза забегали по комнате и вдруг сразу, словно увидев что-то страшное, остановились.

Нижняя челюсть отвисла. Еле ворочая языком, он произнес:

—На пустыре...

—Значить, убил?...

—Не знаю...

Все так же быстро перебирал он пальцами.

Голову он держал прямо и прямо неподвижным взглядом смотрел перед собою.

—Как не знаешь?

—Не знаю, —повторил Иванов.

Он словно всматривался во что-то, что пока различал смутно и неясно.

—Не знаю.

Голова его затряслась.

—Не знаю...

А глаза все смотрели неподвижно, слабо, в одну точку.

—На пустыре? —спросил Цзын-Тун.

—Эге, —сказал Иванов. —Эге.

Он кивнул головой.

—Только я не убил.

И он затряс отрицательно головой.

—Нет?

—Нет...

Он снова потряхнул головой.

—Они копошились.

—Копошились?

—Да...

—Куда же они делись?...

На лбу Иванова выступили крупные капли пота.

—Не знаю.

—Может, ушли?

Он снова повторил:

—Не знаю.

Цзын-Тун поспешно оделся.

—Пойдем на пустырь.

—Пойдем.

Они отправились на пустырь.

—Где?

—Вон там.

Иванов протянул вперед руку.

—Там.

Он шел рядом с Цзын-Туном, прямо держа голову. Иногда он спотыкался. Но он все равно не глядел под ноги, о что споткнулся.

Он подвигался вперед как лунатик, как автомат.

Цзын-Тун тяжело дышал. Слова срывались с его губ отрывисто и глухо. Он силился разглядеть то, на что ему указывал Иванов, но ничего не видел.

Вероятно, и Иванов тоже не видел ничего, так как темень была страшная, но ему, должно-быть, казалось, что он видит что-то...

Может-быть, он наполовину галлюцинировал.

Наконец, они почти наткнулись на два женских трупа...



Чтобы скрыть следы несчастных, их тела пришлось бросить в реку...

\*\*\*

Много времени спустя, в токийских газетах появилась заметка о двух „безвременно погибших богато одаренных юношах, талантливых художниках“, пустившихся ради своей родины на рискованное дело.

Когда эта заметка попалась Цзин-Туну, он сказал:

— Конечно, им не зачем было пускаться в рискованное предприятие, раз у них есть свой особый талант. Но все равно, разве не могло их обоих придушить балкой, когда они, например, занимались бы расписыванием потолков в каком-нибудь новостроящемся доме?

## В блиндаже. (набросок).

### I.

— Нельзя-с, — сказал Семен, — нам это никак нельзя...

Сунув большой палец за борт своего узенького, застегнутого на все пуговицы пиджачка, он забарабанил сверху по борту остальными пальцами.

— Н-да, — сказал Гурин, — конечно.

Он поставил руку локтем на стол и, прикрыв нижнюю часть лица — подбородок и губы — ладонью, поглядел в окно. Его глаза серые, немного мутные, словно в них в самую середину зрачков попала капелька мыла и расплылась в них, не мигали, остановившись неподвижно; брови приподнялись, кожа на лбу, собралась в длинные через весь лоб тонкие морщины.

Лицо у Гурина было худое, отливавшее в болезненную желтизну. Желтая тонкая кожа, казалось, не имела под собой мяса, присохнув непосредственно к кости.

И когда он говорил или шевелил бровями, ясно было видно, как под кожей двигаются, надавливая на кожу, скулы, десны, височные кости.

Словно мертвую голову обтянули тонким эластичным пергаментом или тонкой резиной и заставили функционировать иссохшие мускулы...

В серых глазах огонь жизни мерцал тускло, как не своим, а чужим, отраженным светом. Глаза были как стеклянные — из мутного белесого стекла...

Гурин смотрел в окно, но то, что было видно сквозь окно, может-быть, только отражалось в этих потухших глазах, как отражался в них переплет оконной рамы, и не проникало глубже.

Будто и душа у него тоже застыла, засохла и потухла... И никакой мысли не было в глазах. Маленький изогнутый крестик — это отражение вертикальной и горизонтальной перекладины в оконной раме — блестел в них, все равно как

блестел бы этот крестик на поверхности мыльного пузыря.

— Никак невозможно, — повторил и Семен, —сами посудите.

Он слегка подался вперед корпусом, все продолжая держать большой палец за бортом пиджака и барабанить сверх борта остальными пальцами. Потом пальцы его растопырились, и он крепко прижал их к груди.

Вытянув шею и уставившись на Гурина широко открывшимися глазами, он сказал:

—Будь я один, а то...

В глазах его было такое выражение, будто он просил Гурина обернуться к нему. Такое же выражение было и в его голосе.

И сквозь это выражение светилось в глазах что-то другое: словно он сомневался, слушает ли его Гурин и может ли принять к сердцу и понять то, что он ему говорит.

—Когда бы один... А то ведь возьмите: жена, теща-мамаша, дети...

Он выпрямился.

—Никак нельзя, —сказал он и крикнул, поднеся руку ко рту.

Крякнув, он сейчас же собрал пальцы в горсть—будто схватил в горст этот свой кашель.

Гурин повел глазами в его сторону слабо, медленно. У него словно не хватило сил повернуть голову так, чтобы глаза остановились прямо на Семене: зрачки глаз перекатились опять в обратном направлении, только чуть-чуть скользнув по фигуре Семена.

Вытянув руку по столу, он стукнул по крышке стола раза два пальцами.

—Гм, —сказал он, —так уедешь, значит?

Он опять поглядел в окно.

Брови у него шевельнулись и чуть-чуть сдвинулись.

—Уеду-с....

—А когда?..

Семен вздернул плечи.

— Говорят, еще можно недели полторы.

Гурин кивнул головой.

— Через неделю будет поздно, — сказал он.

Он все смотрел в окно.

Его брови сдвинулись еще больше.

Семен вздохнул.

— Поздно, — повторил Гурин и, помедлив минуту, заговорил опять, придвинув к себе свечку в жестяном подсвечнике и ковыряя ногтем указательного пальца застывший на донушке подсвечника стеарин. Он говорил тихо, тянул слова и делал короткие паузы, когда стеарин плохо поддавался ногтю...

Казалось, движение его пальца находится в непосредственной связи с тем, как срываются с его губ слова, обращенные к Семену. Когда палец, сколупывая стеарин встречал сопротивление, и слова, казалось, спотыкались неожиданно, или обрывались совсем... И звучали опять легко и свободно, если палец благополучно преодолевал препятствие.

— У меня есть к тебе дело... Да... Видишь, ты каменщик?

— Каменщик...

— А хороший?

— Как сказать...

Семен пожал плечами.

— А, например, можешь вынуть камень из стены?

— Камень-с?..

— Да...

— Это какой-с...

И подумав секунду, Семен добавил:

— И опять же, какая кладка.

— Как какая кладка?

— Кирпич? — спросил Семен и пояснил сейчас же: — Кладка бывает разная. Изволите видеть...

— Нет не кирпич, — перебил его Гурин...

— Не кирпич?

— Нет.

— Дикий камень?

— Дикий.

— На цементе?

— На цементе...

— Теперь Семен знал, что ему отвечать. Заложив руку опять за борт пиджака, он сказал с уверенностью:

— Можно-с.

— Значит, и два камня можно вынуть?

— Можно — с. Лишь бы один, а там легко.

— Легко?

— Легко... Главное первый.

— А первый трудно?

— Опять же говорю, какая кладка.

— Можно, значить, например, в стену вмазать шкаф?

Глаза у Турина сузились. Казалось, он что-то внимательно разглядывает на своем подсвечнике.

— А?

Голос у него стал немного хриплый. Он словно каркнул.

— Можно, — ответил Семен.

— А потом заложить опять, и чтобы один камень вынимался, и его опять можно было бы поставить на место...

Семена будто кто неожиданно толкнул в грудь. он вздрогнул.

— А? — опять так же глухо и с хрипотой спросил Гурин, продолжая ковырять пальцем стеарин на подсвечнике.

— Можно-с.

— И не будет заметно?..

— Потайной, значит?

— Да.

— Можно...

Гурин вынул спички, зажег свечку и, поднявшись с кресла, запахнул халат.

— Пойдем за мной, — сказал он Семену, в первый раз

взглянув ему прямо в лицо. Он сдвинул при этом брови и в его глазах глубоко сквозь их мутный блеск сверкнуло что-то острое, точно короткий луч. Но сейчас же он прикрыл глаза веками: он словно боялся, что Семен поймет и разгадает мысль, вспыхнувшую в нем в эту минуту и блеснувшую в глазах навстречу глазам Семена.

Но он все равно словно кольнул Семену душу этим взглядом.

Семен пошел за Гуриным, осторожно ступая на носках по паркетному полу. Ему казалось, что Гурин будто не доверяет ему.

## II.

Гурин решил остаться в городе на все время осады. У него на это были свои виды.

Что крепость может быть взята, он этого не допускал. Конечно, много побьют народа, но крепость останется все равно в руках храброго гарнизона.

А ему, Гурину, нечего бояться смерти.

Еще в начале осады он устроил у себя на дворе блиндаж, согласно всем требованиям военной техники. Дом может быть разрушен, но в блиндаже он обезопасен совершенно от всяких бомб.

Смерть может летать над городом, но в блиндаж она к нему не заглянет.

В блиндаже не было окон. Вход был устроен из подвального этажа дома. В случае разрушения дома, если бы обломки и щебень загромождали вход, из блиндажа можно было проникнуть на двор и в сад по небольшому тоже очень надежному тоннелю.

Семен понадобился Гурину для того, чтобы сделать в толще подземные стены блиндажа шкаф, где Гурин предполагал хранить деньги, вино и консервы.

Про деньги Гурин Семену не сказал ничего, но про консервы и вино объяснил. Он попросил даже Семена помочь

ему уложить в шкаф жестянки с консервами и бутылки с вином.

—А то мне одному не справиться, —сказал он.

Жестянок и бутылок было, правда, много. Видно было, что Гурин рассчитывает на долговременную осаду.

Пока Семен расставлял жестянки на полках, Гурин ходил взад и вперед по блиндажу медленными шагами, опустив голову и заложив руки за гарусный пояс своего халата справа и слева на бедрах.

В блиндаже был полумрак: свечку, чтобы было виднее, Семен поставил около себя на полу и совсем заслонил ее от Гурина.

Ни один звук не долетал сюда извне.

Только шлепали по каменному полу туфли Гурина; шлеп, шлеп — с равными промежутками.

Вдруг Гурин остановился.

—Семен!

Семен в то время стоял на полу, на коленях, разбирая консервы, отбирая в руку одни, отодвигая другие.

—А? —сказал он, поднимая голову и глядя вверх через плечо. Он отслонился при этом немного в сторону. Из-за груды жестянок сверкнуло пламя свечи. Расплывчатая тень сзади Гурина, падавшая от него на сырую от покрывавшего ее цемента стену блиндажа, вырисовалась теперь резко и отчетливо. Стена слабо заискрилась, и фигура Гурина тоже определеннее выступала из мрака...

Он стоял неподвижно за спиной Семена. Неподвижно чернела его тень на серой стене... И он казался таким маленьким перед этой громадной до самого потолка остановившейся за ним тенью.

Эта тень словно дожидалась Гурина, чтобы, когда он повернется и опять пойдет по блиндажу, двинуться за ним вдоль стены бесшумно и тихо.

—Так ты, значить, теперь когда идешь?

—После завтра...

—После завтра?

—Да.

—А ты не говорил никому, что у меня делаешь?

—Кому-же говорить...

—Никому?

Гурин качнулся слегка вперед, дернул было руку из-за пояса, но сейчас же оставил руку и совсем низко нагнулся к Семену.

—А! —произнес он у него над ухом тихо, почти шопотом, двинув при этом головой в его сторону. Говоря, он широко открыл рот и когда сказал, рот у него остался открытым.

—Никому, —сказал Семен... — Для чего говорить.

Рот у Гурина сомкнулся. Верхняя губа легла на нижнюю; губы подобрались и потом выпятились. Он пожевал челюстями и выпрямился.

—То-то, смотри!

—Знаю сам.

Гурин опять нагнулся.

—Что знаешь?

—Мало ли какие есть люди.

Семен, не вставая с колен потянулся за коробкой, раньше им отложенной в сторону, и вздохнул:

—Охо-хо...

Гурин дал ему поставить коробку на полку и все тем же потухшим голосом, все также раскрывая рот, как будто хотел крикнуть, громко спросил:

—Какие люди?

—Жулье.

Семен потянулся за другой коробкой.

Стоя склонившись над Семеном, Гурин закивал головой и зашептал:

—Да-да-да...

Потом более громко спросил:

—Так никому?



—Сказал же вам.  
—Побожись.  
—Ей Богу ж, Иван Петрович.  
—Ну, хорошо... Верю, верю.  
Черная тень сзади Гурина колыхнулась.  
Гурин опять заходил по комнате.  
Минуту спустя, он опять остановился на прежнем месте.  
—Ведь я чего боюсь...  
Семен повернул к нему лицо.  
—Ась?  
—Воров, —сказал Гурин. —Обокрадут, что же тогда: помирать? Ведь я тут на все время остаюсь.  
—Торговать будете?  
Подумав немного, Гурин произнес несколько удивленно:  
—Чего? ...  
—Я говорю, торговать будете?  
Гурин отрицательно качнул головой.  
—Нет.  
Семен опять повернул к нему лицо.  
— Чего же так?  
Гурин уставился ему прямо в глаза, вытянув шею.  
—Нечем, брат.  
И он пожал плечами, расставив локти.  
—Нечем... А остаюсь... Ты думаешь, почему я остаюсь?  
Он вздернул брови и наморщил лоб.  
Все также пристально глядел он в глаза Семену.  
—Почему? —сказал Семен.  
Он видел, что Гурин ждет от него именно этого вопроса.  
Он словно просил у него взглядом этого вопроса.  
Гурин вынул руку из-за пояса и сделал рукою неопределенный жест.  
—Нет, брат, ничего.  
Немного он заикался. Глаза у него искрились. И вдруг Семен заметил маленькую-маленькую слезинку в уголке одного глаза. Слеза у него выступила, как иногда выступают

слезы на морозе. Это Семен понял сразу. Во всяком случае Гурин не плакал. Он даже осклабился, растянув губы в какую-то странную трепетную улыбку.

—Все, брат, распустил... Говорят, у меня денег много. Какие деньги! Одному сто, другому триста. Все просят... Теперь вот для того и остаюсь: собрать надо... Да...

Он умолк опять на секунду, словно соображая что-то. Потом заговорил:

—И как получу, так сейчас и в банк, так и в банк—от соблазна.

### III.

Гурин только что убил Семена.

Он выстрелил в него из револьвера в то время, как Семен собирался стрелять в него.

Но Семен умел плохо владеть оружием... Он так долго тянул за спуск своего дрянного дешевого бульдога, что Гурин успел пустить в него одну за другой две пули.

Одна пуля попала прямо в руку, другая под сердце.

Семен не уехал из города, как говорил...

На четвертый месяц осады Гурин застал его у себя в блиндаже. Потайной шкаф был открыт, на полу валялись жестянки с консервами...

Когда Гурин кинулся с револьвером на Семена, Семен тоже выхватил револьвер...

Тогда Гурин убил его.

Но прежде, чем выстрелить, он крикнул:

—Злодей! Вор! Что ты делаешь?..

—Сам злодей! — закричал Семен.

Гурин никогда не слышал у него такого голоса. Он кричал, как иступленный. Он еще хотел что-то крикнуть и не мог, только закусил губу. Потом он засопел часто и быстро, широко раздувая ноздри.

—Злодей! —повторил он и заскрипел зубами.

Он прямо в упор смотрел на Гурина и вдруг щелкнул

зубами, как волк, и опять раздул ноздри...

Гурину казалось, что он хочет кинуться на него и перегрызть ему горло. Дикой злобой горели его глаза. Дышал он тяжело и весь вздрагивал, точно буря, бушевавшая у него в груди и высоко поднимавшая грудь, сотрясала его всего... И у него не хватило сил совладать с нею.

Опять он попытался говорить и словно поперхнулся словом, словно у него вдруг захватило дух.

Губы растянулись, обнажив белые зубы... Опять скрипнули зубы.

—Злодей, сам злодей!..

Казалось, самое это слово „злодей“, с которым он обратился к Гурину, было для него ненавистно, и он хотел растереть его зубами.

—Консервы, —заговорил он, наконец, — вино... На целый полк хватить. Там люди мрут... ранены... Все из последнего...

Семен выхватил револьвер.

Гурин нажал на спуск... раз, другой.

Он почти не слышал выстрелов... Выстрелы, казалось, хлопнули где-то внутри него неясно и глухо.

Перед глазами у него был никелированный ствол Семенова револьвера, и сейчас он видел только этот ствол. Он словно оглох в эти минуты.

Семен упал.

Он подошел к нему и нагнулся...

Семен хрипел и что-то бормотал между хрипением.

Потом он перестал бормотать и хрипеть...

Он умер.

С величайшим усилием Гурин вытащил его тело из блиндажа в подвал, вернулся опять в блиндаж и запер дверь на ключ.

Теперь он был один в блиндаже.

Он взобрался на кровать с ногами и сел, прислонившись спиной к стене.

Он не помнил, сколько времени он просидел там.

Он помнил только, как что-то зашевелилось вдруг у него в душе... Будто проснулось что-то и медленно приподняло веки.

И он сам вздрогнул и широко открыл глаза...

Необыкновенно ясно, будто Семен не умер, а был тут где-то, он услышал его хрипенье и то, что бормотал он среди хрипенья, лежа в луже крови.

— Разве я для себя... Я не за деньгами... В госпитале нужно вина...

А, так он, вон какой Семен!..

Он чувствовал, как под кожу у него забрался холод и как стучат зубы...

Вон он какой!.. А разве его узнаешь.

Он сидел, опустив голову, и боялся поднять ее. Он чувствовал, что Семен здесь, и он сейчас же увидит его, как только поднимет голову.

Но он сознавал вместе с тем, что не может не поднять головы.

Семен здесь, и все равно, сколько бы он ни противился, заставить его взглянуть на себя...

И вдруг он закрыл глаза ладонями, вскочил с кровати, согнулся, будто его хотели ударить, отнял потом от глаз одну руку и, вытянув ее вперед, побежал, путаясь в халате, через блиндаж к выходу в тоннеле.

Будто сам собой, помимо его воли, вырвался у него из груди громкий, во всю силу легких крик:

— А-а-а!

Казалось, вся душа его, потрясенная ужасом, рвалась с этим криком...

Он выбежал на улицу.

На улице был ад.

Рвались бомбы, сверкая ослепительно ярким огнем. Несли раненых. Среди грохота рвущихся снарядов слышались стоны.

Вон они те, за кого умер Семен...

Он его убил, Семена... Когда люди, за спиной которых он спасался в своем блиндаже, умирали от недостатка в питье и пище, он наслаждался вином и консервами...

На мгновение он стал себе гадок.словно человеческую кровь пил он у себя в блиндаже.

И тут ему вспомнилось какое-то бранное слово, крикнутое ему когда-то одним из его должников.

Он остановился...

Будто кто-то назвал его по имени... Но он еще не мог определенно воскресить в памяти тот момент и то слово.

И вдруг он вспомнил.

Вот оно: „людоед“.

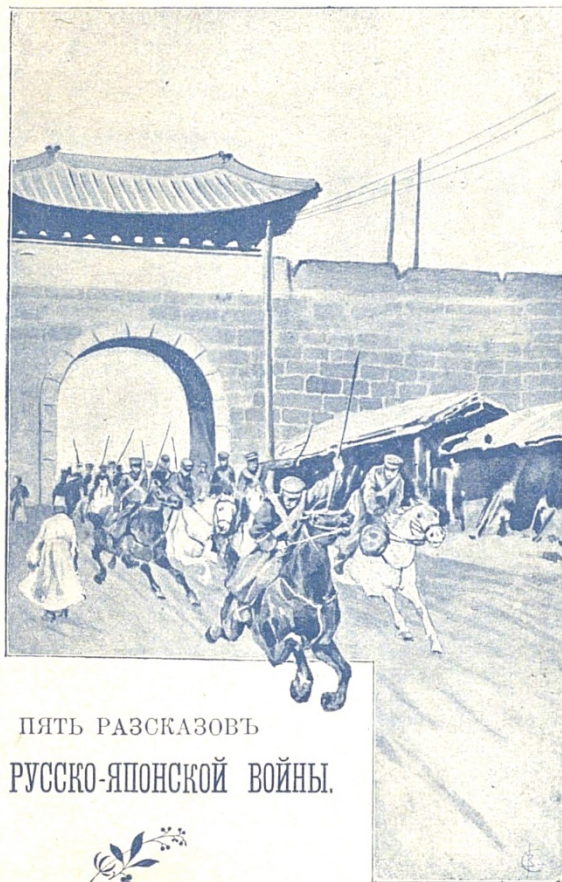
Огромная бомба хлопнулась на противоположной стороне площади, вырыв глубокую, сажени в две, яму на месте разрыва.

Он подбежал к краю этой ямы и стал неподвижно. Теперь ему хотелось смерти... Ему казалось почему-то, что и второй раз сюда может попасть снаряд.

Подняв голову и крепко захватив в пальцы воротник халата, он прошептал с мукой:

— Господи! возьми меня...

# Боевая Жизнь.



ПЯТЬ РАЗСКАЗОВЪ  
ИЗЪ РУССКО-ЯПОНСКОЙ ВОЙНЫ.



## На разведке.

### I.

Вдали завиднелась деревня.

Казаки попридержали лошадей, и они пошли легким шагом, мягко ступая по пыльной дороге. Пыль, клубившаяся все время под ногами лошадей, медленно оседала книзу; позади шагах в тридцати, пыль еще дымилась мутно-желтой волной; но эта волна уж не катилась за казаками, а была почти неподвижна и расплывалась вправо, влево, назад и вперед, как дым от догоревших дров, затягивая серой мутью низкую, жидкую траву по сторонам дороги...

Лошади были потны и мокры. Из-под седел, около серых войлочных потников, выступала пена белыми мыльными хлопьями. Казаки подвигались вперед почти без шума: по глубокой пыли не было слышно стука копыт; только изредка раздавался лязгающий, короткий металлический звук, когда подкова задевала за подкову, да постоянно екала под брюхом селезенка у лошадей.

Солнце уж было на закате.

Большое красное, оно стояло над грядой невысоких скалистых гор; оно казалось совсем неподвижным и словно застывшим на изжелта-золотистом небе. Мягким светом теплились камни и песчаная равнина перед ними... На песке от камней лежали голубые тени.

Кругом было тихо и безлюдно.

Неслышно скользили в горячем свету солнца по пыльной дороге казаки, вытянувшись один за другим. Блестели их пики, будто внутри отполированного острия горели красные угольки и просвечивали сквозь металл, пронизывая его весь золотисто-красным светом. Красный

отблеск заката лежал и на лицах казаков, и на одежде, и на их лошадях...

Длинные-длинные тени от них бежали с ними рядом по песчаному плато, отчетливо выделяясь на желтом песке.

Казаков было пятеро: урядник и четверо рядовых.

Когда они совсем близко подошли к деревне, они съехались в кучку.

Теперь уж никакой звук не нарушал тишину степи.

Чуть-чуть колеблясь теплились пики в воздухе, горели ровным, широким светом магазинные коробки закинутых за спину винтовок, искрились серебряным огнем короткие стволы, в местах незащищенных деревянной накладкой: возле затвора и на самом конце.

Когда кто-нибудь из всадников шевелился в седле или зачем-нибудь нагибался, оттопырив ногу со стороны, противоположной той, куда нагибался, по всему карабину наискось по спине от локтя до самого уха словно проглядывала вдруг широкая серебряная молния... Казак выпрямлялся снова, и молния разрывалась пополам, вспыхивая опять ярко над плечом и под локтем.

— Ну, что же, ребята, назад, что ль?.. Вон она, деревня...

Голос был сдержанный, словно казак говорил в присутствии засыпающего или спящего человека и не хотел его тревожить... Он обернулся к товарищам, посмотрел на них и оперся рукой о круп лошади...

— А? как скажете?..

Казаки молчали.

Он опять поглядел на них сразу на всех и, помолчав с минуту, сказал:

— Тишь-то какая.

И повел глазами по степи...

Один из казаков приложил ладонь ребром ко лбу прижимая большой палец к виску, а указательным охватил лоб и стал



смотреть, немного привстав на стременах, через плечи товарищей в сторону деревни. Потом он отнял от лба руку, опустил ее вдоль тела и проговорил медленно, точно запинаясь, и продолжая смотреть на деревню:

— Будто пустая.

Деревня издали от солнца была вся розовая... Маленькие домишки под камышовыми крышами со скатом в одну сторону обмазанные кругом глиной, казалось, горели и таяли в солнечных лучах; румянились позади их жиденькие, невысокие деревца с белой корой.

Былки камыша, неровно торчащие по карнизу на концах, точно тлели слабо от края до края вдоль карниза.

— Так как же? —заговорил опять урядник, вопросительно поглядывая на казаков то на одного, то на другого...

Голос у него все был такой, будто он говорил в присутствии спящего... Только теперь в голосе, вместе с тем, сквозили и другие нотки... Будто он старался возвысить голос, и это именно потому теперь так странно звучал его голос, словно надтреснутый, словно он не находил в себе достаточно силы сказать, так как он говорил обыкновенно с подчиненными густо и сочно... Слова у него обрывались... Казалось, вот-вот забрали слова силу и сразу вдруг словно соскочили куда-то вниз и разбились как стекло.

Он крикнул:

—Волчков!..

Казак Волчков выпрямился в седле и слегка подался корпусом вперед.

—Поезжай-ка ты, братец, освидетельствуй...

Волчков хлестнул коня, выдвинулся вперед и затрусил по дороге.

Ноги его лошади сразу затянуло золотой пылью...

Минуту спустя, урядник сказал, поглядев в лицо казакам:

—Ишь ты, пыли-то сколько нанесло... И не слышать как

скачет...

И опять повторил, уже ни к кому не обращаясь и словно чуть-чуть удивленно:

—Тишь-то, тишь какая... Ах ты, Господи.

Нижний край солнца коснулся скал; от скал через всю степь потянулись лучи низко над песками.

Скоро лучи стали короче... Тени от скал потемнели. С песков, казалось, кто-то невидимой рукой сдергивал воздушную кисею золотого газа и пески обнажались, принимая свой обычный желтый цвет.

По небу сквозь золото заката просвечивал зеленоватый оттенок.

Уж больше чем на половину ушло солнце за скалы... Через несколько минут только небольшое сияние осталось на том месте, где недавно горел его огненный диск.

## II.

Чем ближе Волчков подъезжал к деревне, тем беспокойнее становилось у него на душе.

Пристально вглядывался он прямо вперед перед собою, подобрав покороче поводья, готовый каждую секунду остановить лошадь или повернуть ее назад...

Винтовку он держал наготове поперек седла...

Тишина в степи по-прежнему была полная. Деревня казалась вымершей. По улице против каждой хаты смутно обозначались на земле тени, падавшие от хат... Смутно белели в тени их стены.

Что-то мелькнуло в тени около одной из хат—точно возле хаты лежала белая бумага и ее подхватило и подняло ветром... Несомненно, это была человеческая фигура, но Волчков видел ясно только именно одно — это белое пятно, может-быть, рубашку... Пятно казалось вынырнуло из темноты и остановилось, смутно белея в воздухе... И сейчас же Волчков различил расплывчатые очертания головы и такие же расплывчатые очертания ног, казавшихся совсем черными...

Он попридержал лошадь и затем шагом стал подвигаться вперед.

В ту же минуту белое пятно двинулось в сторону—куда—он не мог различить, вправо или влево, и пропало.

Он продолжал подвигаться вперед.

Сердце его билось ускоренно быстро.

Он все еще не знал, как он поступит: вернется ли назад к товарищам, или доберется до деревни. Учащённым стуком билось его сердце и, казалось, мешало ему решить этот вопрос.

Мысли словно прыгали, словно бились одним темпом с сердцем...

Изредка, сквозь мысли, сознание воспринимало мягкий стук лошадиных копыт неясно и неопределенно, — точно этот стук неся откуда-то издалека...

Являлись новые мысли:

— А ведь там, небось, не слышно...

И мгновенно эта новая мысль гасла в сознании, и к сердцу подкатывала будто холодная волна... Он чувствовал, как кровь стучит в висках, —точно жилки на висках то наливаются кровью, то опять кровь отливает от них.

— А вдруг...

Разве враги не могли засесть в деревне и поджидать его... А потом—хлоп и готово. Кто этот человек в белой рубахе с босыми ногами. Зачем он убежал?... Куда?

Глаза беспокойно бегали по сторонам, поминутно останавливаясь на ряде домишек, тянувшихся вдоль дороги с одной стороны (деревня была построена в один рядок).

Ему казалось, что не он приближается к деревне, а деревня надвигается на него.

Было мгновенье, когда он не чувствовал под собой лошади и не чувствовал, как она везет его, потому что в это мгновенье вся его душа сосредоточилась на одной мысли: что сейчас будет... Эта мысль словно вырывала душу из тела... И душа горела одна, независимо от тела.

Он один, а там их, быть-может, много...

Ближе, ближе надвигается деревня.  
Вот он поравнялся с крайним домиком.  
— Вернуться или нет?..  
Домик остался позади... Другой: домишка шагах в десяти.  
Из глубины улицы веет свежестью... Там совсем темно.  
Ничего не видно.  
А лошадь все идет, идет...  
Нужно бы свернуть в тень ближе к домам... Нужно, непременно нужно!  
Но он не шевелится...  
Учащенно бьется сердце. Хоть бы скорей... Глаза смотрят вперед прямо на одну точку...  
Выстрел.  
Точно ожгло ему щеку, точно веревка продернулась по щеке, разрывая кожу.  
Он поднял было руку, но в это мгновение в темноте впереди опять, как тогда замаячило что-то белое.  
Он схватил винтовку, выстрелил, почти не целясь, потом повернул коня и пустил его рысью по улице по направлению к выезду.

### III.

Волчков выскочил из деревни и поскакал по дороге.  
Каждую секунду он ждал выстрелов вдогонку, но выстрелов не было. Он поехал тише. Впереди его слышался топот. Он совсем остановил лошадь и съехал с дороги в сторону.  
Он хорошо понимал, что если бы в него стреляли не один, а десять человек, товарищи, может-быть, ограничились бы только тем, что подъехали бы к деревне самое большее на ружейный выстрел и тут стали бы поджидать его, предоставив ему самому спастись от преследования, как ему угодно.  
Он и сам поступил бы так, потому что вчетвером против десяти все равно ничего не поделаешь.  
Но казаки, оставшиеся позади, слышали только его выстрел да выстрел этого неизвестного человека, ранившего его в

щеку...

Они, несомненно, теперь спешат к нему на помощь.

Он вынул из кармана большой ситцевый платок и приложил его к щеке, где была рана. Потом отнял от щеки и поднес к глазам.

На платке оказалось темное пятно.

Расправив платок и свернув его так, чтобы окровавленное место приходилось внутрь, он снова приложил платок к ране. Он чувствовал, как бежала под платком теплая кровь по щеке вниз, и крепче прижимал платок.

Пуля задела его только слегка, но рана саднила, дергала и щипала.

Он понимал, что рана пустая, но она все равно давала себя чувствовать. Он не знал при этом, как остановить кровь. Мгновеньями кровь, казалось, переставала течь. Тогда он прислушивался к топоту, несущемуся издали.

Но вот опять теплая струйка, точь-в-точь как тогда, когда во время купанья, зальется в уши вода и потом вдруг потечет из уха и в ухе станет горячо, — выступала из-под платка, набегала на щеку...

Лошадиный топот вдали вдруг словно обрывался, словно шуршанье платка, который он начинал снова разворачивать и складывать, заглушало топот.

— Волчков! Ты, что ль?

Пред тем только что громко, прямо врываясь ему в уши, неся издали топот лошадиных ног, и тогда же у него мелькнула мысль:

— А скоро ж они...

Но эта мысль сейчас же потонула в другой мысли:

«Опять потекло».

Топот стал глуше, смутней, точно потух в ушах.

— Волчков!..

Почти над ухом у него фыркнула лошадь.

Волčkова окружили казаки.

Он видел, как они смотрят на него тревожно и вместе с

любопытством и сдерживают лошадей, чтобы как-нибудь не толкнуть его. Даже какую-то боязливость прочел он в их глазах... И прочел, кроме того, что-то другое, —будто он, Волчков, для них стал иным, не тем, что он был раньше...

Он слышал, как кто-то шепнул:

—В висок...

И потом вслед за этим шопотом чей-то вздох и еще чей-то голос:

—Господи, Господи!

Кто-то смыгнул носом, кто-то кашлянул, но осторожно, должно-быть, в руку.

В нем закипело что-то в душе, какая-то обида, против кого и за что—он не знал...

И он крикнул почти со злостью:

—Да не в висок, а в морду... Во!

И отнял платок от щеки.

Точно тяжесть свалилась у него с плеч. Он смотрел на товарищей, перебега взглядом от одного к другому, и еще несколько раз повторил:

—В щеку, говорят вам, в морду!.. Ну!

Казак заговорили все. разом, не так как за минуту перед тем, громко, громче чем следовало, перебивая друг друга...

Они расспрашивали Волчкова, что с ним случилось в деревне.

Он рассказал.

Урядник решил обыскать деревню.

Волчкову и еще одному из казаков он велел оставаться на месте, а с остальными затрусил по направлению к деревне.

#### IV.

Урядник живо добрался до деревни.

Он ехал впереди, помахивая плетью. У въезда в деревню он попридержал лошадь и оглянулся назад...

Один из казаков держался немного правей его, другой несколько левее.

Они не сразу должно-быть заметили, что он убавил ходу и продолжали трусить легкой рысцой, чуть-чуть подпрыгивая в седлах.

Потом, как по уговору, на секунду замявшись на месте, повернули лошадей в его сторону...

Лошадь под тем казаком, что ехал слева, фыркнула, когда казак поворачивал ее, тряхнула головой и гривой...

Урядник совсем остановил своего коня.

Через секунду казаки были около него.

Он взглянул на одного и шепнул:

—Валяй задами...

И махнул плетью на крайнюю хату.

—А мне? —тоже шопотом в тон ему произнес другой казак.

Урядник как раз в ту минуту опускал плеть.

—А ты со мной!

И он слегка хлестнул лошадь плетью.

Лошадь сейчас же двинулась вперед крупным шагом, выгибая шею, дергая и натягивая поводья.

На улице теперь было совсем темно.

У первого домика урядник опять остановился. Остановился и казак, следовавший за ним.

—Нужно осмотреть, —шепнул урядник и, перегнувшись с седла вниз, поправил что-то под брюхом у лошади.

Потом опять выпрямился в седле.

—Пахомов!

Затем он тронул лошадь и придвинулся к Пахомову почти вплотную.

—Слышал, что сказано...

В темноте перед ним белело лицо Пахомова; черты различались смутно... Он придвинулся к нему еще ближе. Теперь он заметил, как Пахомов повел в его сторону глазами...

Вытягивая шею, прямо ему в лицо, урядник зашептал опять каким-то свистящим шопотом:

—Струсил... А? Знаю я тебя. Про Волчкова вспомнил.

Сам он не трусил. Будь с ним не Пахомов, а какой-либо

другой казак он может-быть сам вошел бы в хату.

Но Пахомов был молодой казак.

Молодых надо учить.

—Слезай с коня!

Пахомов прыгнул на землю. Громко по земле стукнули каблуки его сапог.

—Тише, дурак!

—На-те лошадь! —как-то надорвано и с хрипотой крикнул Пахомов, повернув лошадь за удила головой к уряднику, и бросил на седло ему поводья.

Потом он выругался:

—О, дьявол!

Урядник слышал, как он оттолкнул ногой шашку, вероятно запутавшуюся у него между ногами.

—Тише, сын собачий!

Он принял от Пахомова поводья и, поворачивая свою лошадь так, чтобы она стала рядом с Пахомовской, зашептал опять:

—Тише, чорт, говорят тебе!

Но Пахомов уже бежал через улицу к хате...

На пороге он остановился на секунду и выхватил шашку. Потом фигура его разом пропала в темноте сеней.

В ту же минуту в сенях словно треснуло что-то громко на всю деревню...

Из темноты сеней брызнул яркий свет на мгновение и также мгновенно осветилась отблеском этого света промасленная бумага в окошках, заменявшая стекла.

В наступившей затем темноте и тишине раздался долгий стон похожий скорее на мычание, и глухой стук.

## V.

Пахомов был убит наповал.

Как оказалось потом, в него стреляли разрывной пулей. Пуля попала в грудь и прошла насквозь в спину, сделав на спине



страшную, более чем в ладонь, рану.

Убийцу Пахомова, вероятно, какого-нибудь фанатика, не пожелавшего оставить деревню в то время, когда бежало все население деревни, казаки пристрелили тут же.

Правда, им много было с ним возни, но они все равно отомстили за товарища.

Всего израненного они вытащили его на улицу и тут урядник пустил ему последнюю пулю в висок, потому что и раненый, он все еще продолжал обороняться.

А труп Пахомова они положили на лошадь и повезли домой.

И это была грустная встреча, когда они сошлись опять, теперь уже четверо, а не пятеро, на пыльной дороге в степи за деревней.

Кругом по-прежнему было тихо.

— Кого? — спросил Волчков.

Он хотел было выехать вперед навстречу приближающимся товарищам и уже тронул лошадь, но потом остановил ее и снял шапку.

Он заметил, что и урядник, и казаки, ехавшие с ним рядом тоже без шапок.

Что-то большое и темное лежит поперек седла на третьей лошади.

Медленно едут урядник с казаком... Медленно ступает завьюченная лошадь.

— Кого?

Но урядник молчит, молчит и казак. Вот уже совсем близко.

Волчков вытягивает шею, силится разглядеть, поднимает глаза на всадников.

— Пахомова?..

— Значит Пахомова, когда мы целы.

Кто это сказал? Урядник или другой кто? Хмуро смотрит на него урядник, почти со злобой. Потом отворачивается. Волчков видит, как он закусил губу.

— Прямо в грудь, — говорит казак. Также медленно, не убавляя и не прибавляя шага, они продвигаются мимо

Волчкова и того казака, что был с ним и едут дальше.

Волчков с товарищем становится им в хвосте.

Вдруг урядник оборачивается, ищет глазами Волчкова.

—А ты рад что не тебя? выкрутился!.. Голос у него звенит злобой... Даже зубами он скрипнул.

Затем он опять принимает прежнее положение в седле.

—Мы, ведь, и то думали, —говорит сосед Волчкова, —что тебя в висок...

Волчков опускает голову.

Тихо ступают лошади.

Проходит полчаса, час. Казаки молчат. И кругом вся степь будто вымерла.

И вдруг, Волчков начинает протяжно и немного в нос:

„По диким степям Забайкалья...“

Сидит он в седле согнувшись, наклонив голову. Он несколько поотстал от товарищей. Лошадь у него идет еще медленней, чем у них.

— Ты же это что!

Он вздрагивает и выпрямляется. Перед ним урядник. В руке нагайка.

Волчков совсем растерялся, мигает глазами.

—Забылся... Ей-Богу... — лепечет он бессвязно...—Знаю покойник... нельзя...

Словно пыхнуло ему из души в лицо что-то и разлилось, озаряя все лицо.

—Ведь жив, —говорит он, —жив... А вы говорите в висок...

## Предатель.

### I.

Веревкин хорошо знал Хын-Лунга.

Он даже считал его своим приятелем.

Как то раз вечером, когда Веревкин сидел на заднем дворе на серых каменных, с обсыпавшимися углами, ступеньках и играл на гармонике, пригибая голову то к левому, то к правому плечу, растягивая гармонику во всю её ширину и покачиваясь медленно из стороны в сторону, весь отдавшись тягучим, немного хриповатым звукам, то замиравшим в тонких нотах, то хрипевшим громко, как старые расшатавшиеся ворота, — из за дощатой изгороди осторожно высунулась маленькая сухая головка с желтым, в мелких морщинах, лицом с черненькими глазками, в синем платке, повязанном по-бабьему.

Головка высунулась и сейчас же опять спряталась...

Потом показалась снова.

Гладкий высокий лоб блестел из-за изгороди как колено. Косые лучи солнца били Хын-Лунгу прямо в лицо. Он сощурил глаза, затем напряженно раскрыл их остановив на Веревкине...

Глаза приходились как раз в уровень с верхним краем загородки. Тонкие белесые брови поднялись над глазами, кожа на лбу собралась в морщины, длинные, извилистые, пересекавшиеся вертикальной морщиной посередине лбы и поднимавшиеся над бровями параллельно бровям.

Хын-Лунг схватился руками за перегородку и выставился из-за изгороди еще больше, до самого подбородка.

Пыльцы у него были большие, с острыми, выпиравшими на суставах, костяшками, с широкими желтыми ногтями.

Хын Лунг крепко держался руками за изгородь. Его ногти, казалось, впились в полусгнившую доску.

Закусив нижнюю губу, неподвижным, остановившимся

взглядом он смотрел ны Вережкины.

Когда гармоника в руках Вережкина, словно ослабежая или изнемогая, вдруг замирала и её звуки, вырвавшись перед тем из-под клавиши смело и резко, уходили опять внутрь и догорали там тихо и слабо, — Хын-Лунг поводил длинной тонкой шеей медленно, почти незаметно.

Потихоньку шея у него словно вырастала или вытягивалась, как шея гуся...

Голова пригибалась тоже совсем по-птичье набок, к плечу, — совсем так, будто Хын-Лунг прислушивался к ястребиному клетоту, раздававшемуся далеко в небе.

А когда гармоника начинала опять хрипеть и ворчать или взвизгивала на высоких нотах и сам Вережкин, будто эти высокие ноты врывались ему в грудь и бушевали в нем самом, откидывался назад всем корпусом и запрокидывал голову, устремляя глаза кверху или прямо перед собою и сдвигая черные брови, — Хын-Лунг тоже поднимал голову, выпрямляя шею, и его губы складывались в трубочку, будто он хотел присвистнуть, глаза вытаращивались; затем губы у него словно раздувало изнутри, и он произносил тихо:

—Хо!..

Вережкин, наконец, увидел его.

Он перестал играть, положил гармонику на колени и сказал Хын-Лунгу:

—Ну?

Потом прищурил один глаз, скривил губы и показал Хын-Лунгу кончик языка.

Хын-Лунг улыбнулся...

—Хо, — сказал он и закивал Вережкину головой.

—Хорошо? — спросил Вережкин, опять для чего-то нахмурившись...

На желтом лице Хын-Лунга появилось такое выражение, будто он проглотил что-то сладкое. Он повел шеей, прищурил глаза и ответил по-русски:

—Хорошо.

Хын-Лунг умел говорить по-русски.

В этот вечер у них и началось знакомство—у Хын-Лунга и Веревкина.

Хын-Лунг был «кули» — жалкий человек, работавший слишком много для других и слишком мало для себя.

Он однажды сказал Веревкину:

—Если бы я был лошадейю... о...

И тут он потряс головой и поглядел вверх на небо. Потом остановил глаза на Веревкине...

Почти испуг прочел Веревкин в этих маленьких широко открытых глазках...

Испуг словно сразу и внезапно охватил душу Хын-Лунга и не мог вместиться в душе и хлынул наружу, навстречу взгляду Веревкина, расширив, как только можно глаза Хын-Лунга...

И вместе с тем Веревкину казалось, что Хын Лунг смотрит не столько на него, Веревкина, сколько внутрь себя, в свою собственную душу.

Потом веки у Хын Лунга дрогнули и на ресницах блеснуло что-то на мгновение...

Углы губ опустились, и Хын-Лунг стал кусать нижнюю губу, глядя вниз и все быстрее мигая веками и все кусая губу.

Но Хын-Лунг удержался.

Он не заплакал.

Он словно проглотил свои слезы и свою муку...

Веревкин видел, как по его длинной грязной шее, там, где был кадык, будто пробежало что-то в гортани, —будто он и правда проглотил эти слезы и эту муку.

—Скверно, —сказал затем Хын-Лунг, —когда человек начинает завидовать лошади.

— Скверно—согласился Веревкин.

Он хотел еще что-то сказать Хын-Лунгу, потому что он хорошо его понял и мог бы сказать ему много, но он сказал только одно это слово... У него и у самого защемило на сердце...

Хын-Лунг был худой—кожа да кости... Веревкин видел его

локти сухие и острые, выступавшие под тонкой грязной кофтой, его плечи, на которых кофта висела как на вешалке... А когда Хын Лунг нагнулся, и кофта натянулась у него на спине, прилипнув между лопаток в том месте где от кожи на кофте было темное пятно, и хужоба Хын-Лунга стала еше более заметной, —он вспомнил почему-то в это мгновение худую, потертую чересседельником спину своей деревенской лошади, с мослаками, которые, казалось, терли кожу изнутри при каждом движении, при каждом шаге, двигаясь под кожей, как острые кости под слабо натянутой резиной.

—Погоди, — сказал он хмуро, встал, опираясь о плечо Хын Лунга, и ушел в дом. Через минуту он вернулся, держа в руках бутылку с водкой...

## II.

Японцы дали Хын-Лунгу целую пачку новеньких кредиток и круглое зеркало.

Хын-Лунгу незачем было теперь надрывать свои силы непосильной работой.

Но за это Хын-Лунг должен был служить японцам...

Ему сказал японский капитан:

—Хын-Лунг! Ты станешь нам сигнализировать вон с того холма: ты будешь указывать оттуда русских.

—Хорошо, —сказал Хын-Лунг.

Он говорил тихо, опустив голову.

Он плохо сознавал, что он говорить.

В руке его была пачка шелковистых бумажек... И от пачки по руке до самого сердца в крови по жилам точно пробежал горячий огонь.

Голова у него горела.

Огонь, казалось, проникал в самый мозг и наполнял весь мозг собою...

И мозг пылал... Почти физически он ощущал, что точно искры вспыхивали в мозгу....

На лице у него то потухали, то выступали опять красные

пятна.

Капитан продолжал:

—А если ты, Хын-Лунг, передашься русским, так тебе все равно не жить.

Хын-Лунг поднял голову:

—Я буду служить японцам.

Он крепко сжал в руке деньги... О, как их много!

И, мигнув глазами, он крикнул громко:

—Да, я буду служить вам.

Глаза у него заблестели... Прямо в лицо смотрел он «капитану», то ослабляя пальцы в той руке, где были деньги, то сжимая их сильнее.

Он был как загипнотизированный.

Маленький, тщедушный человечек с желтым лицом стоял перед ним. Хын-Лунг видел, как он дышит, как мерно поднимается и опускается его узкая, впалая грудь под синим мундиром... Не отрываясь смотрел он на него и ощущал в себе что-то странное, —точно то, чем дышит японец, что поднимает его грудь, невидимой силой вливается в него, в Хын-Лунга, помрачая сознание, загораясь огнем в огне его собственного сердца.

Точно победная, торжественная песнь звучала в душе. Точно бушевал, крутясь и поднимаясь все выше, пламенный вихрь.

Вот они, деньги...

Крепко он держит свое счастье и не упустить.

Даже зубами он скрипнул... Что-то плотоядное, дикое сверкнуло в глазах, разлилось по лицу, и лицо сразу изменилось и стало гадким, лишенным всего, чем природа отличила человека от зверя.

—Ну, иди, — сказал японец. —Иди, Хын-Лунг.

Он отвернулся.

Может-быть, ему было противно смотреть на Хын-Лунга!

—Иди, —повторял он.

Хын-Лунг ушел.

Хын Лунг стал шпионом...

И вот был день...

Хын-Лунг стоял на вершине сопки и делал сигналы японцам...

А у подошвы сопки между грудками камней и кучками нанесенного ветром песка лежал, притаившись, Вережкин.

Он давно уже заметил Хын-Лунга.

Но он пока не знал еще Хын-Лунг ли это, или другой китаец.

Осторожно стал он подвигаться вперед, вверх по сопке.

Хын-Лунг стоял к нему спиной.

Ветер дул в лицо Хын-Лунгу, захлестывая вокруг его ног его синюю юбку. Юбка то прилегала к ногам, то трепалась сзади.

На голове у Хын-Лунга теперь была шляпа. Из-под шляпы вниз по спине висела длинная черная коса.

Когда Вережкин был уже недалеко от Хын-Лунга, Хын-Лунг вдруг повернулся.

Вережкин вскочил и вскинул винтовку к плечу...

Он и теперь еще не разглядел как следует Хын-Лунга...

В рогульках прицела он видел только худую желтую щеку да угол глаза.

— Стой! — крикнул он, и в тот момент, когда крикнул, ствол винтовки у него вздрогнул, колыхнулся на сторону, потом немного кверху и загородил совсем Хын-Лунга, — будто это не ствол отклонился, а сам Хын-Лунг вдруг отпрянул в сторону с места, захваченного прицелом...

Вережкин живо поставил винтовку опять как следует.

И тут он увидел Хын-Лунга...

Хын-Лунг был бледен.

Прямо в глаза ему блестел штык, — точно серебряный луч сверкнул навстречу его взгляду, когда Вережкин перевел винтовку.

Невольно он закрыл глаза... Потом открыл их и уставился, не мигая, на Вережкина.

Вережкин опять крикнул, не отнимая от плеча приклада:



—Стой!..

И опять на конце винтовки вспыхнула яркая широкая полоса, как язык длинного белого пламени... Сверкнула еще раз и—застыла...

Теперь штык только сверху отливал в серебро, а с боков и снизу казался почти синим.

Хын-Лунг опустил голову.

Веревкин подошел к нему еще ближе.

Теперь он опустил ружье.

—Пойдем! —сказал он.

Голос у него был отрывистый, немного глухой... Голос будто звучал где-то внутри его, глубоко в груди.

Смотрел он на Хын Лунга исподлобья, сдвинув брови, и так же хмуро, как в тот раз, когда ему так стало жалко Хын-Лунга.

### III.

Хын-Лунга нужно было передать китайским властям.

Сидя под караулом, Хын-Лунг слышал за стеной следующий разговор:

— Послушайте: что, он еще цел?

—Кто?

—А этот, как его, Хын-Фынь...Как его?

—А!.. Цел.

—Можно снять фотографию?

—Пожалуйста. Для журнала?

— Для журнала.

И затем Хын-Лунг услышал какое-то мудреное слово, ему совсем неизвестное.

Впрочем, он и без того не совсем ясно понимал, о чем говорили у него за стеной.

Через минуту к нему вошел офицер в сопровождении солдата и сказал, кивнув головой на отвернутую дверь:

—Выходи!

Хын-Лунг поднялся и вышел.

Когда он переступал порог, он увидел недалеко от входа

господина в высоких сапогах, подвязанных ремешками немного пониже коленок в кожаной куртке и клетчатом картузе.

Сапоги и куртка были совсем новенькие. Еще не обмявшаяся куртка шумела и шуршала при каждом движении. В руках господин держал фотографический аппарат.

Хын-Лунга заставили стать спиной к стене.

Он стал, выпрямился, сложил на животе руки, потом опустил их вдоль тела.

Его губы чуть-чуть шевелились, глаза останавливались то на господине в куртке, то на офицере, то на стоявшем с ним рядом солдате. Веки мигали слабо и коротко, едва набегая на глаза, и сейчас же опять поднимаясь и застывая неподвижно над глазами.

Словно он боялся пропустить что-нибудь из того, что вокруг него происходит.

Когда он увидел перед собою фотографическую камеру на трех высоких острых ножках, он вдруг повернул голову к офицеру, приложил руку к груди, под самый низ груди, и секунду или две шевелил губами беззвучно и с усилием, будто хотел говорить, а слова прилипали к губам.

Потом он выговорил, заикаясь:

—Что со мной делают?

—Стой спокойно, — сказал офицер, поглядел на господина в куртке и повернулся опять к Хын-Лунгу.

—Мы с тебя снимем портрет.

Он, может, думает, что его собираются расстрелять? — проговорил господин в куртке, высовывая голову из-под черного платка, которым он было накрылся. —А!..

На секунду он взглянул на офицера и затем скрылся опять под платок, протянув под ним руки и надвигая платок на аппарат.

Офицер махнул рукою:

—Они этого не боятся.

—А, не боятся! — откликнулся фотограф из-под платка. —

Ну, хорошо.

И, выглянув из-под платка еще раз, он остановил теперь глаза на Хын-Лунге.

—Стой смирно!

Хын-Лунг вытянулся и затих...

Фотограф снова убрал голову. .

Видно было, как шевелятся его руки под платком, как он нагибает голову то вправо, то влево.

Вдруг он быстро высвободил голову из-под платка и крикнул немного визгливо:

Смирно, тебе сказано!

Затем перевел глаза на офицера:

—Скажите ему...

Раздалось рыдание...

Хын-Лунг, закрыв лицо руками, медленно опускался на землю, прислонившись к стене и скользя по ней спиной и локтями, подгибая колена.

Слезы бежали у него по пальцам.

Плечи судорожно вздрагивали; грудь тяжело поднялась и опустилась трепетно, с перерывами.

Хын-Лунг сел на корточки возле стены, все не отнимая рук от лица, всхлипывая, вздрагивая всем телом.

—Встань, смирно! — крикнул ему офицер.

Но он только закачал головой и остался сидеть, согнув ноги так, что коленки поднялись высоко, почти до подбородка, и скрыв лицо в колени.

Он сидел и шептал. Но никто не слышал его шёпота, потому что он и стонал вместе с шёпотом, как от невыносимой боли, раскачиваясь из стороны в сторону.

Он шептал:

—Я знаю одного капитана. Капитан снимал нас всех, — отца, мать, меня и сестер, давно, давно... — совершенно так же, совершенно так же... Боже мой, Боже мой!.. Отец мой, мать моя! Что со мной сделали... Ой, бедные мы, бедные!..

## Харакири.

### I.

Костер догорал.

Угли покрылись пепельно-серым налетом. Только когда от широкой теперь совсем темной низины тянуло ветром угли с краев начинали рдеть чуть-чуть сквозь пепел молочнорозовым светом. Синие огоньки вспыхивали то там, то тут между углями; над ними на мгновение, трепетно дрожа, загорались острые язычки красного пламени и сейчас же гасли, словно уходили вниз, в угли.

Марченко взял сырую ветку с оторванными листьями и разгрёб немного угли.

Угли сразу вспыхнули ярко, точно глянули из золы и пепла... Кое-где затрещали еще не прогоревшие как следует листья и сучья; золотое пламя широкими ясными языками занялось в двух-трех местах над углями. Угли разгорелись еще ярче... Горячий огонь слизнул, казалось, с них покрывавший их пепел и наполнил их насквозь до самой сердцевины.

Несколько углей с сухим звенящим треском покатались в разные стороны.

Марченко подгарнул один уголек поближе к себе, разбил сверкавший в зеленой траве как рубин огненный: кусочек ударом ветки надвое и, захватив сразу потускневший осколок прямо в пальцы, перенес его на трубку. Потом стал раскуривать трубку, быстро отдувая и опять втягивая щеки, чмокая губами и вперив глаза неподвижно в костер прямо перед собою. Только брови у него чуть-чуть шевелились.

Уголек разгорелся, отсвечивая на медной оправе трубки и на пальце Марченко, которым он придерживал крышку трубки.

В трубке около самой головки заклокотало и захрипело, точно там забралась вода. Видно было, как табак горой

выпирает из трубки.

Марченко пальцами сбросил уголек на землю и осторожно прикрыл крышку трубки.

Затем он лег, как лежал раньше, поставив левую руку локтем на землю и подперев щеку ладонью и стал курить, вынимая изредка изо рта трубку и пуская дым струей вниз в траву...

Елкин встал и пошел прочь от костра.

На траве от костра дрожал слабый отблеск, и сейчас же как встал Елкин поперек освещенного места легла его тень. В свету были только его ноги; спина различалась смутно и неясно.

Елкин сделал два шага; освещенное место сразу очистилось от тени. Фигура Елкина пропала в темноте, будто он провалился сквозь землю.

Через минуту он появился опять в освещенном пространстве. Теперь уже его тень лежала сзади него двумя расплывчатыми косыми полосами, тянувшимися от его ног и сливавшимися таким же расплывчатым мутным пятном на границе света и тени.

В руках Елкин держал охапку хвороста.

Он бросил хворост на угли и сел на прежнее место.

От хвороста повалил черный дым, сначала реденький, потом все гуще.

Между хворостом забегали огоньки; сухие ветки затрещали. Потом ветки вспыхнули разом.

Мгновенно осветилась фигура Елкина. Черная уродливая тень протянулась от него, дрожа, волнуясь, то укорачиваясь, то удлиняясь, —сообразно тому, разгоралось ли, или ослабевало опять пламя костра.

И по самому Елкину пробежали тени— от деревьев, от Марченко, от кустов.

Тени переплетались, сливались в одну общую, почти сплошную тень, то закрывая всего Елкина, то разрываясь и оставляя пятно света на его лице, груди, руках, коленях.

Марченко вынул изо рта трубку, повернул голову в сторону и сплюнул.

Потом он расправил усы снизу большим и указательным пальцами, собрав их сначала над усами в щепоть и затем разведя в стороны—указательный в левую сторону по левому усу, а большой—по правому.

—Елкин!

—Ну?

Елкин качнулся немного на бок, оперся рукой о землю и глянул из-за пламени на Марченко, сдвинув брови и сощурил глаза.

От огня лицо у него было совсем красное. Каждая морщинка была видна. Пламя костра переливалось у него по лицу, освещая более ясно то подбородок, то конец носа, то щеки, то лоб.

Марченко смотрел вниз, продолжая разглаживать усы и каждый раз, как его пальцы продвигались по усам, сдвигая и опять раздвигая брови.

—Гм, —сказал он и вскинул глаза на Елкина, задержав свои пальцы у углов рта. Глаза его теперь были неподвижны и широко открыты. Красные края век казались еще краснее от огня. Брови высоко поднялись над глазами и тоже, казалось, застыли.

—Гм, —повторил он, —гм...

И вдруг, мигнув веками, прямо в упор уставился на Елкина.

—Елкин!

Брови сдвинулись, кожа на лбу собралась в морщины.

—Дай-ко трубочки! —сказал Елкин.

—Ты знаешь, о чем я сейчас думаю?

—Ну?..—опять сказал Елкин, протягивая из-за костра руку и смотря теперь уже не на Марченко, а на его трубку.

Трубка у Марченко лежала в траве около камней.

Марченко молча подал ему трубку.

Елкин сунул трубку в рот и засопел ею торопливо с присвистом.

—Погасла? —спросил Марченко.

Вместо ответа Елкин только отрицательно покачал головою, не переставая сопеть трубкой.

Марченко крикнул и, наклонив голову, забарабанил пальцами по прикладу винтовки.

Винтовка лежала с ним рядом, стволом к ногам. Приклад приходился почти над локтем.

Марченко глядел на приклад немного с боку, скосив глаза. Несколько раз он принимался насвистывать что-то потихоньку, но сейчас же голос у него обрывался, и он опять крикал отрывисто и еще чаще и дробней, чем перед тем перебирал пальцами по прикладу.

— Думал я, — заговорил он, наконец, медленно поднимая глаза от приклада, —насчет того, какой у нас рай и какой ад.

На секунду он умолк, потом поднес указательный палец ко лбу и продолжал, сейчас же отнимая палец:

—Например—святые... Ихние святые такие, можно сказать, что даже понять нельзя, сказать... Одна жуть... Стало-быть, у них все по-особенному.

Он умолк опять и стал смотреть в огонь.

И вдруг всего его словно передернуло. Он затряс головой и произнес, кривя губы, будто видел в огне что-то, на что не мог смотреть без чувства гадливости и некоторого страха:

—Прямо—гадость...

И снова передернул плечами... И по лицу у него тоже пробежала судорожная дрожь.

—А ты их видел? —спросил Елкин.

—Святых-то?

—Да.

—Как же не видел! Видел я и говорю пану:

«— Ваше благородие, неужли же такие были?»

А они:

«— Спроси у него!»

Взяли и сейчас ему плеткой—тык в пузо. Потом говорят:

«— Это ихние черти».

Потом подумали немного.

«— А может, говорят, и святой!»

«— Отшельник?» —говорю.

А какой тебе отшельник! Рот, это до ушей, глаза как у рака, ножки маленькие-маленькие, как два хвостика.

Однако думаю:

У всякого свое... Да...

«— Отшельник?» —спрашиваю.

А они:

«— Лесовик».

Взяли и ушли.

Елкин выколотил трубку о каблук и подал ее Марченко.

—Может и отшельник, — сказал он совсем равнодушно, лег на спину, заложил руки за голову и, согнув одну ногу в колене под острым углом, закинул на нее другую.

—И как тебе сказать, —продолжал Марченко: —берет меня жуть. Как ночь, так сейчас и начинается. Думаю: вот тут мы сейчас сидим, а может когда они тут ходили. Может и сейчас какой где ходит. И не то что жутко, а как тебе сказать... Станешь засыпать, конечно перекрестись.

Господи Иисусе Христе... Да... И вот же, ей-богу, будто проваливаешься, проваливаешься все равно как куда в твань, в болото. И сейчас, значит, тут тебя лягушки облепят, всякие гады... Все равно как ползет к тебе что-то и кругом сырость и тьма и не знать что... Только не наше...

—Конечно, — откликнулся Елкин сонным голосом.

Левая нога, закинутая на коленку правой, сползла у него с колен, и он держал ее теперь, как и правую, согнув под острым углом.

Подметки его сапогов скользили по сухой, обгорелой траве, ноги выпрямлялись сами собой. Он чувствовал, что стоит ему только вытянуться—и он уснет сейчас же.

И он, едва сапоги начинали скользить, подгибал сейчас же ноги, то одну, то другую.

—Ты спишь? —окликнул его Марченко.



— Не, — отозвался Елкин.

Голос у него был все такой же сонный. Говорил он словно нехотя; слова у него сочились как вода.

— Спишь, вижу, — сказал Марченко.

Он недовольно шевельнул бровями и отвел лицо в сторону.

Потом брови у него сдвинулись, и лицо стало хмурым.

Он снова замолчал.

Но, видно, ему было не под силу сидеть так и молчать. Что-то бунтовало внутри его и рвалось изнутри наружу. Пока он только сдерживал себя, и то, что шумело и ныло у него в душе, лежало пока как под тяжелым камнем.

Но камень давил душу.

— Елкин!

— А?

— Я говорю, как же это?

И он приподнялся на локти и посмотрел на Елкина и потом через него вдаль, в тьму ночи.

— Люди же ведь они или нет?..

Елкин промычал что-то невнятно.

— Люди-то они люди, — заговорил Марченко, — а только я думаю так: есть мир, земля. А они совсем особо. Они чужие.

— Эге, — сказал Елкин, быстро поднялся, сел и стал протирать глаза.

— Чего «эге»?

Марченко нахмурился.

Елкин протер лицо и поглядел на него.

— Ты про ихних святых что ль?

— Тфу!..

Марченко сплюнул и замолчал.

— У каждого своя вера, — сказал Елкин.

Марченко продолжал молчать.

— Примерно скажем католики — продолжал Елкин, — или другие какие.

— Я не про то, — заговорил опять Марченко. — Я говорю: нельзя этого понять, т.-е. их. Ведь человек он?

—Тутошний, значить?

—Ну, тутошний человек, известно.

—А Бог у всех один?

—Один.

Елкин опять лег на спину.

—Ну, спи, —сказал Марченко: —я посижу.

Костер опять начал погасать. Но ни Елкин ни Марченко не подкинули в него дров. Елкин лежал навзничь, растянувшись во всю длину, одну руку подложив под голову, а другою прикрывая глаза.

Марченко, сидя на корточках набивал свою трубку, смотря неподвижным взглядом поверх трубки в догоравшие угли.

## II.

Минут через двадцать Марченко позвали в санитарную палатку.

Он растолкал Елкина и ушел.

На перевязочном пункте стояли три палатки: одна—для легко раненых, другая—для тяжело раненых, а третья, где находился «батюшка», для безнадежных.

Марченко не знал, что его заставят делать на перевязочном пункте.

Его не отправили ни в ту, ни в другую, ни в третью палатку.

Ему сказали:

—Марченко, слушай внимательнее, что тебе скажут.

—Слушаю-с, —сказал Марченко.

—Ты знаешь, что такое значить «харакири»?

Он подумал минуту и ответил:

—Никак нет!

Тогда ему объяснили.

Он понял не совсем ясно. Но он понял во всяком случае, что японцы в трудную минуту жизни распарывают себе живот.

Это привело его в большое недоумение.

Он слышал, что «банзай» по-японски значит «ура» или «с нами Бог».

Но зачем японцы кричат «банзай» перед тем, как распороть живот?

Будто это очень приятно Богу, когда распорешь себе живот.

И он ответил не сразу, когда его спросили:

—Теперь ты понимаешь, Марченко?

Это харакири ударило его как обух по голове...

Несколько секунд он стоял неподвижно, вытаращив глаза.

Слова говорившего с ним прозвучали в его ушах ясно и отчетливо и вдруг зашумели, и загудели в голове, как глухой звон далекого колокола.

Эти слова словно спугнули и заглушили, и залили как волной все его мысли.

Но он скоро оправился.

В первое мгновение из глаз его даже пропала, точно уплыла назад куда-то вдаль, фигура стоявшего перед ним человека в синем длинном сюртуке с серебряными пуговицами.

Потом пуговицы опять блеснули, и худое лицо врача словно стало вдруг к нему ближе, чем он видел его перед тем...

Ясно и отчетливо прозвучали опять в его ушах слова:

—Теперь ты понимаешь, Марченко?

Эти слова, потонувшие в его душе, словно вынырнули из глубины и отдались в ушах как эхо.

Конечно, он понимает.

И он ответил:

—Так точно, ваше скородие!

—Понимаешь? —переспросил врач.

Он повторил:

—Так точно, ваше скородие!

И выкатив глаза, уставился прямо в глаза врачу.

Он стоял неподвижно, вытянувшись и прижимая руки вдоль швов на штанах.

—Час тому назад, —продолжал врач, — к нам привезли одного раненого японца. Он—офицер.

Врач вскинул на него глаза.

— Слушаю-с, —сказал Марченко.

Он уже догадался, что ему хотят поручить что-то делать с этим офицером и ставят ему на вид чин пленника.

—Мы поместили его отдельно. Сестра не спала две ночи. Перевязки пока ему долго не потребуются, но я полагаю, что он, пожалуй...

И при этом офицер, сжав руку в кулак и выставив вперед большой палец, опустил руку и потом сделал ею движение снизу-вверх по животу...

—Вчера как раз у нас был такой случай. Понимаешь?

—Так точно.

—Ты за ним последишь.

—Слушаю.

Врач повернулся в сторону и крикнул:

—Иванов!

Из палатки выскочил фельдшер.

—Проводи солдата к японцу.

Фельдшер махнул Марченко рукой и пошел прочь от палатки, на ходу вытирая руки о края своего белого фартука, который он тоже подхватил на ходу.

Марченко направился за ним.

### III.

В пустой офицерской палатке, где лежал раненый японец, горел фонарь.

Фонарь стоял прямо на полу.

Неровное пятно желтого света маячило слабо около фонаря на земле.

В углах палатки густилась тень.

Ярко белела чистая, очевидно, только-что застланная, еще сохранившая следы складок полотняная простыня на походной койке.

Свет от фонаря падал прямо на простыню.

Японец лежал на койке навзничь, протянув руки вдоль тела поверх байкового серого одеяла.

Марченко, прямо как он вошел, бросилась кисть его руки, желтая, как сырой намокший песок.

Рука была неподвижна. Свет фонаря освещал ее немного сбоку вдоль, и в этом месте она была чуть-чуть посветлей...

Марченко перевел глаза на лицо японца.

Голова раненого глубоко утопала в подушке, и в тени его лицо казалось совсем коричневым, как прелое яблоко. Лоб чуть-чуть лоснился.

Гладко остриженная голова на темени будто провалилась, потому что сейчас же около лба в теменной впадине лежала тень.

Марченко видел, как тихо шевельнулись его веки и потом что-то блеснуло, как зёрнышко стекляруса, под веками и сейчас же потухло.

Марченко остановился у входа, опустил руки по швам и сказал, немного заикаясь:

— Здравия желаю, ваше благородие.

Он не привык рассуждать, глупо или умно он говорит, — он всегда говорил, что ему приходило в голову.

Лежи в палатке, вместо офицера, японский солдат, он, разумеется, заговорил бы с ним как-нибудь по-иному...

А что поймет ли его японец, или нет — в данную минуту это было для него все равно.

Но он заговорил бы с японцем непременно, потому что чувствовал, что не должен молчать... Едва он вошел в палатку и увидел японца, в голову ему опять полезли старые мысли целым ураганом...

А он не хотел этих мыслей.

И сейчас он отгонял от себя эти мысли этою своей фразой...

Как всегда, перед офицером, он вытянулся в струнку и вперил свои глаза в лицо раненого.

Он чувствовал, что делается что-то внутри его, — что-то клокочет и рвется наружу... Охватывает душу что-то непонятное, глубокое, беспредельное...

И он стоял, вытянувшись, прямо держа голову, стиснув зубы, почти затаив дыхание... Точно то чувство, которое охватило его всего в эту минуту, могло вырваться из сознания

вместе с дыханием...

Вон он, этот человек, маленький, желтый, совсем непохожий на других людей.

Чем он живет, зачем живет? Откуда появился в мир? Кто его Бог?..

Он закусил губу.

Ему уже казалось, что он нашел в себе ответы на эти вопросы... Они клокают в груди... Он теперь испытывал действительно, будто он вошел куда-то, куда он не может войти спокойно, потому что там, куда он вошел, гадко, как около ползучего гада.

Снова блеснули зернышки стекляруса, перекатились под коричневыми веками в его сторону.

Точно маленькая змейка свернулась под одеялом и смотрит.

Одеяло заволновалось на груди.

Марченко бросил взгляд на то место, где японец держал руку, желтую, худую, с длинными пальцами.

Руки уже не было.

Он перевел глаза на лицо.

Господи, сколько ненависти в этом лице, в этих глазах, ставших вдруг большими! Ненависть горела в глазах и озаряла лицо. В каждой морщинке, в каждой складке притаилась ненависть.

И вдруг японец сбросил одеяло.

Марченко видел, как японец повел глазами в его сторону и остановил их на нем... И теперь ненависть в его глазах была какая-то особенная, торжествующая и ликующая.

— Банзай!

Что-то блеснуло в руке у японца.

Марченко все понял.

Он бросился к нему и схватил его за руки. Крепко он стиснул обе его руки около кисти. Японец разжал пальцы... Марченко поспел как раз вовремя.

Из правой руки на одеяло выпало что-то маленькое, блестящее.

\*\*\*

На другой день утром Марченко говорил врачу:

Ваше скородие, не оставляйте более меня с ними.

Он даже руки поднес к груди и сжал их крепко, переплетя пальцы.

—Почему?

—Противно, ваше благородие.

И по лицу его видно было, что ему точно противно.

—Хорошо, —сказал врач.

## Охотники.

### I.

Берег был совсем недалеко.

Петров и Корень подняли весла. Весла слабо стукнули о борта лодки. Лодка продолжала подвигаться к берегу сама собой. Под носом тихо журчала вода, разбегаясь в стороны двумя бороздками. На концах намокших весел собирались капли и падали вниз через равные промежутки времени.

Вот и берег. От камышей на воде лежит черная тень. И самые камыши кажутся из-синя черными. Тихо, неподвижно стоят камыши.

Когда лодка вошла в тень, фигура Петрова, сидевшего на носу, вдруг затемнилась, стала тоже как тень, — смутною и неясною.

Он поднял весло, чтобы оно не цепляло за камыши, и широкий конец весла, сразу очутившись весь в свету месяца, заблестел на месяце, словно выточенный из мела.

Потом Корень видел, как тень надвинулась дальше по лодке, легла на его колени и медленно поплыла по коленям, захватывая его руки и обшлага рукавов.

Шурша камышами, лодка проползла еще немного и остановилась.

Справа и слева вдоль бортов тихо качались и дрожали камыши. Несколько примятых камышинок лежало на воде; их тягивало под лодку и колебало рябью.

Петров повернулся к Кореню и шепнул:

— Нужно подпихаться веслом.

Корень опустил весло в воду, и слышно было, как через секунду забулькала вода вокруг весла. Невидимые в темноте пузыри поднимались со дна и лопались на поверхности.

— Тина, — сказал Корень, — дюжо топко.

Он налег на весло грудью и руками.



Опять зашуршали камыши цепляясь о борта лодки. Верхушки камышей задевали Корень и Петрова по лицу, по щекам по ушам по лбу. Лодка стукнулась о берег.

—Держи, —зашептал Петров.

Корень еще сильнее налег на весло. Петров обеими руками схватился за камыши, потом встал, все держась за камыши, согнув спину и широко расставив ноги.

Лодка заколебалась, когда он поднялся; шлепающим звуком заплескалась вода под дном и внизу у бортов. Затем лодка стала совсем неподвижно: глубоко носом она загрузла в прибрежном иле.

Корень и Петров сошли на берег.

Вдоль берега сейчас же за камышами тянулась узкая песчаная полоса.

Дальше темнели невысокие скалы.

У подножья скалы, разбросанные там и сям, как надгробные плиты, различались на песке смутно и неясно серые гранитные камни.

Между камнями кое-где торчали былки чертополоха и еще какой-то травы, высокой, длинной, с узкими, свешивавшимися вниз листьями.

Кругом было тихо.

Высокие длинные стебли казались засохшими, мертвыми. Неподвижно висели узкие листья, неподвижно, как сонные, склонились вниз круглые головки чертополоха.

Неясные, такие же неподвижные тени расплывчатыми узкими полосами лежали от стеблей на песке и на камнях.

Около берега песок был мокрым. Нога вязла в нем почти по щиколку; в продолговатых глубоких следах, оставляемых сапогом, сейчас собиралась вода.

Только когда Петров и Корень подошли ближе к скалам песок стал суше.

Изредка под ногой чувствовался камень; нога скользила, визгливо скрипели крупинки песка, попадая между камнем и подметкой.

Приходилось неожиданно останавливаться на мгновение, переменять ногу, выбирая более устойчивое положение, балансируя винтовкой, наклоняясь то в ту, то в другую сторону, подаваясь корпусом то вперед, то назад.

Корень шел впереди, Петров—за ним.

Несколько раз, когда Корень спотыкался о камень, Петров наталкивался на него, стучаясь ему головой в спину, и сейчас же, вздрогнув, откидывался назад, быстро вытянув перед собой левую руку.

—О, чтоб тебе! —бормотал он.

Камни попадались все чаще и чаще.

Корень вдруг остановился, круто повернулся к Петрову и уставился на него, сдвинув брови и закусив нижнюю губу.

—Вот и пойдя, выбей его тут, —проговорил он и, отведя потом руку в сторону, громко хлопнул ладонью по ноге сбоку около коленки. —Ах ты, Господи!..

Он оглянулся кругом и вздернул плечи.

—Петров?

—Ну? — сказал Петров и повторил опять через секунду, взметнув глазами на Кореня:

—Ну?..

Корень молчал.

—Тьфу! — сплюнул он вдруг, повернулся так же круто, как раньше, и так же внезапно и пошел дальше.

Он теперь прибавил шагу.

Он не разбирал теперь, камень ли перед ним, выбоина ли, или ровное место.

Когда попадался камень, он не сворачивал в сторону, а шел прямо, вскакивая на камень, вскакивая потом на другие камни. Он только все плевался и бормотал что-то отрывисто и глухо.

Петрову даже казалось, будто он нарочно выбирает такие места, где побольше камней. Ступал он по камням твердо, плотно, всей ступней, будто хотел их вдавить поглубже в песок.

Будто он давил эти камни и вымещал на них злобу.

—Корень!..

Петров быстро присел... Корень был к нему спиной, но он все равно махнул ему рукой, самой кистью, поднеся ее близко к лицу, и потом поманил пальцем.

—Корень!.. Стой...

Корень остановился.

—Иди сюда.

Петров говорил шопотом, вытянув шею, поставив руку локтем на колено и держа кисть руки перед глазами растопырив пальцы.

Когда Корень повернулся, он опять поманил его:

—Иди, говорят тебе!..

Корень легко, почти бесшумно, на одних носках перескочил, согнувшись, через камень, потом через другой, согнулся еще больше и тоже, как Петров, присел против него на корточки.

—Чего ты?

Тревожно он оглянулся по сторонам.

—Огонь, — прошептал Петров, —там огонь.

И, схватив Кореня одной рукой за плечо, он протянул другую руку по направлению к скалам.

Между скалами вдали маячил неясно какой-то странный молочный мутно-белесый свет, похожий на свет бумажного фонаря.

—Видишь?

—Вижу.

Свет вдруг затемнился.

Потом блеснул опять.

—Должно, строение, —сказал Корень.

Петров кивнул головой.

Свет снова погас... снова вспыхнул.

—Пойдем, —шепнул Петров и поднялся.

Корень тоже встал.

—Пойдем.

Они опять двинулись вперед.

От скал веяло холодом.

Когда Петров и Корень очутились в полосе тени, падавшей от скал, холод их охватил сразу, будто они переступили порог погребя.

Их рубахи были потны и тоже сразу захолодели.

Холодный воздух забирался под рубахи, по телу пробегал озноб.

Они вошли в узкое извилистое ущелье. Там было совсем темно.

Только с одной стороны на выступах скал кое-где лежал свет месяца голубоватыми пятнами и полосами... К счастью дно ущелья было совсем ровное, как русло высохшей речки, и это несколько облегчало передвижение почти в абсолютной темноте, между нависшими каменными громадами.

## II.

Пройдя по ущелью саженей пять, Корень и Петров остановились.

Перед ними была почти отвесная скала.

Они давно уже потеряли из виду мутный, белесый огонек, тускло блесевший вдаль. Каждую секунду они ожидали увидеть его снова, но перед ними все время, пока они пробирались по ущелью, была глубокая тьма.

Теперь идти дальше было некуда...

Серая каменная грудь выдвинулась навстречу им из мрака и загордила дорогу.

Петров провел по скале ладонью.

Она была склизкая и мокрая, как стена в сыром подвале.

Он повернулся к Кореню и сказал:

—Шабаш!

Потом опять приложил ладонь к скале.

—И холодная ж...

Корень тоже подошел к скале поднял сначала одну руку, потом другую.

Петров слышал, как рукава его рубахи засмурывали по скале.

Сверху покатились мелкие камешки, песок.

Все так же темно было кругом. Петров стоял близко к Кореню, но различал его плохо в темноте... Только фуражка Кореня чуть-чуть белела да его рубаха, и когда Корень взмахнул руками, поднимая их кверху, его руки только на мгновение мелькнули в воздухе и сейчас же пропали.

Лишь спустя немного Петров опять различил их неясно и смутно на серой стене скалы... Но они теперь казались ему как руки призрака...

—Есть! —вдруг сказал Корень.

Опять посыпались песок и камни.

Фигура Кореня колыхнулась, потом продвинулась по скале немного кверху, словно вытянулась... И застыла, будто прилипла к скале.

Камни и песок продолжали сыпаться.

Мелькнули в темноте руки Кореня... Опять вздрогнуло его тело, опять вытянулось. Его рубаха сразу забелела почти на пол аршина выше.

Он взбирался вверх по скале...

—Сорвешься... Гляди, —зашептал Петров, нащупал ноги Кореня и привалился плечом к скале...

— Становись мне на плечо...

Он чувствовал, как Корень ерзает по скале ногой у него над головой.

—Ну? —шепнул он и сам подвел плечо под его ногу.

Корень ступил на плечо...

Потом стал подтягиваться кверху...

—Пускать? —спросил Петров.

—Пускай.

Петров откачнулся от скалы, поднял голову...

—Ну, что?

Корень теперь уже был вверху почти на высоте человеческого роста.

—Ничего... Крепко...

—Есть за что ухватиться?

—Есть...

А песок и камни все сыпались... Несколько песчинок попало Петрову в глаза. Он стал протирать глаза, отодвигаясь в то же время от скалы, потому что чувствовал, как ему то и дело попадал песок на голову, за воротник, на лицо и руки.

Песок и камни посыпались вдруг сильнее целым каскадом—точно дождь зашумел. Потом сразу стало тихо. Слышался только едва уловимый шорох.

—Петров!..

И сейчас же что-то заерзало с глухим шуршанием по скале совсем близко около Петрова, совсем у него над ухом.

—Дай плечо...

Петров, как раньше, прислонился плечом к скале, продолжая протирать глаза, отклонив немного голову в сторону.

На этот раз Корень только слегка коснулся его плеча и почти без шума спрыгнул вниз.

—Не долез? — произнес Петров, нагнул голову, прищурил глаза и потом мигнул веками и опять прищурился, и стал тереть левый глаз около переносицы.

Корень слышал, как он выругался про себя.

—Тьфу, ты, пропасть...

—Там фанза, —заговорил он торопливо, —тут, шагов двести...

Заметно было, что он волнуется.

Вдруг он схватил Петрова за плечо.

—Петров!..

—А?

—Ты думаешь, не слышно там, как сыпался щебень?..

Он тяжело перевел дух.

—Ух... и замаялся же...

—Ну, вот, — сказал Петров, — чего слышно...

Он, наконец, перестал тереть глаза.

—Как можно, чтоб слышно...

—А мне—и не приведи Бог... Сам лезу, а камни: тыр-тыр-

тыр, тыр-тыр тыр, — все равно, как гром... А как посыпались в последний раз— прямо прилип...

—Разве можно, чтоб слышно! —опять сказал Петров.

—А тут еще винтовка стучается, проклятая...

Корень замолчал.

— Фанза? —спросил Петров.

—Чего?

И вдруг Корень словно опомнился.

—Фанза... большая... три окошка с бумагой, и все светятся.

Он опять перевел дух.

— А часовых не видно?

—Не видать... А она как на ладошке... Белая вся... Большая фанза... Лошади около стоят.

—Много?

—Три лошади... Слышно, как фыркают. Далеко, а слышно...

Он опять умолк.

Потом взял Петрова за руку около локтя.

—Погоди...

И затаил дух.

—Слышишь?

—Чего?

Корень надавил пальцами на его руку.

—Во, во...

Петров молчал.

—Во! —снова вспыхнул шопот Кореня... Вспыхнул и погас.

—Надо лезть, — сказал Петров, — вот что.

Корень встрепенулся.

—Известно, надо.

И суетливо зашарил руками по скале, нащупывая место, куда бы поставить ногу.

—Готово, —шепнул он через секунду. —Тут приступочка, а сейчас другая... Можно и так, одному... плеча не надо... А ты за мной...

Проворно он стал карабкаться по скале...  
Опять посыпались вниз камни и песок.  
Через минуту фигура Коренья скрылась на вершине скалы.  
— Давай руку, — донесся оттуда его шопот.  
— Давай! — шепнул он опять через секунду.  
Петров видел, как что-то белое маячит на гребне скалы.  
— Сейчас, — откликнулся он.  
Не без труда разыскал он приступочку и потом другую приступочку повыше и стал взбираться.  
Из-под его ног то и дело срывались камни и летели вниз.  
Корень что-то шептал ему сверху, но он слышал плохо...  
Наконец, он разобрал, что ему шепчет Корень:  
— А лодка-то?.. Как ее отшибет волной?..  
Петров пробормотал ему невнятно:  
— Небойсь...  
— Небойсь?  
И Корень стал вдруг смеяться тихим долгим дробным смешком...  
— Чего ты?  
Переплетая слова со смехом Корень, ответил:  
— Охотники мы... Значит, нам наплевать... Ишь куда забрались... Ворон костей не заносил... А мы как у себя на печке... — И тут смех словно струей залил его слова. — Ты знаешь, как я тут?  
— Как?  
— На брюхе лежу... А ты ко мне лезешь... Ну, давай руку... Да гляди, не побей горшков... Кочерги не повали...  
И он опять засмеялся.

### III.

Дверь фанзы была открыта настежь.  
Широкая полоса света лилась чрез дверь. Точно серебряный ковер лежал на каменных ступенях. Ступени были широкие, шире, чем порог двери. Воздушная серебряная ткань белела как раз посередине ступеней.



В дверь видна была почти вся внутренность фанзы.

Высокий пожилой китаец стоял на коленях посредине фанзы на невысоком табурете в напряженной, неестественной позе.

К его рукам и ногам на тоненьких бечевках были привязаны большие, весом в несколько фунтов, камни.

На руках камни были прилеплены к указательным пальцам на самых кончиках пальцев, немного повыше ногтя...

Камни, видно, привязали только что.

Они тихо крутились, то завивая бечевку, то вдруг останавливаясь на мгновение и потом медленно начиная вращаться в другую сторону...

Тогда бечевка развивалась медленно, оборот за оборотом... И когда из одной бечевки становились две, еще более тонких, они сразу вздрагивали...

Опять неподвижно замирал камень и через секунду начинал снова вращаться еще медленней, еще тише, снова перекручивая бечевки...

На полу от камней лежали резкие черные тени.

Тени тоже двигались, ширились, расползались, опять суживались, опять становились шире.

Китаец держался совершенно прямо. Голова была чуть-чуть откинута назад... Глаза выпятились. Две слезы, застывшие блестели на ресницах. Подбородок дрожал непрерывной дробной дрожью... Эта дрожь пробегала от края подбородка до нижней губы, трепетала в углах губ, на скулах...

Жилы на лбу и на висках надулись.

В фанзе слышался говор нескольких голосов...

Разговаривавших не было видно... Только иногда на стене с боку китайца вдруг вырастала тень от человеческой фигуры, высокая, уродливая, до самого потолка, переходила и на потолок; потом сокращалась сразу, сбегала со стены и пропадала куда-то, будто растаяв мгновенно в ярком свете, заливавшем внутренность фанзы.

Минутами на стене появлялся огромный темный профиль с

расплывчатыми очертаниями или рука, —как огромная перчатка, сотканная из мрака...

Разговор шел ни на русском, ни на китайском, ни на японском языке...

Временами слышался смех. Иногда голоса умолкали, и тогда в фанзе звучал один голос, грубый, хриплый, отрывистый, как карканье вороны.

У задней стены в углу Корень с Петровым рассмотрели ружья.

Ружья тоже были не наши, не японские, — с длинным, без накладки, вороненым стволом с затвором, снабженным рычагом в виде шишечки.

Но Кореню и Петрову хорошо были знакомы эти ружья.

— Гляди, —шепнул Корень, —берданки.

Петров кивнул головой и от себя, также шопотом, заметил:

—Должно, хунхузы...

Корень зашептал снова:

—Человек, небось, пять.

—О, Господи! —вдохнул Петров.

Камни на руках несчастного продолжали крутиться.

Теперь он закусил нижнюю губу... Кожа на губе снизу побелела...

И вдруг из-под желтого, выставившегося наполовину из-под верхней губы зуба выступила капля крови.

Выступила и округлилась... Потом расплылось вдоль всей губы...

—Господи, Господи...

У Кореня и Петрова губы тоже были закусены...

Они уж не слышали ни смеха, ни противного отрывистого карканья.

Они видели только, как крутятся медленно безостановочно камни на тонких бечевках... Крутятся-крутятся, остановятся и опять начинают крутиться.

Опять выступила около зуба капля крови... Задержалась на мгновение и словно лопнула. Кровь проступила от зуба по

всей губе.

Петров вскочил.

—Господи, да что же это!..

Теперь он уж крикнул громко, резко, негодующим голосом... У него это вырвалось каким-то отчаянным воплем.

Корень вскочил тоже.

Взяв винтовки на руку, они пробежали небольшое расстояние, отделявшее их от фанзы, и ворвались в фанзу.

#### IV.

В фанзе были трое солдат-корейцев.

Корень и Петров застали их врасплох.

Двое из них кинулись было к ружьям, но Корень тут же приколол их обоих... одного—когда он выбирался из-за стола, а другого—в углу, возле ружей...

Третий не сделал никакой попытки ни к сопротивлению, ни к бегству.

Ему скрутили руки.

Потом Петров разрезал бечевки на руках и ногах несчастного китайца.

Китайца он усадил на лавку перед столом.

Бедняга прислонился спиной к стене и долго сидел неподвижно, дыша тяжело и быстро, беспомощно протянув руки вдоль тела. Потом поднял руки и стал дуть на пальцы, то на один то на другой...

Несколько раз он взглядывал на Петрова и Кореня и тряс головой и опять принимался дуть на пальцы. Всунул затем один палец в рот и стал сосать, морщась и махая другим пальцем...

Пальцы, видно, у него сильно горели.

Минут через двадцать он, однако, немного оправился, встал с лавки и стал ходить возле стола, опираясь рукой о край стола, сгибая ступни и колени, как расслабленные. Руки у него дрожали и подгибались.

Словно кости вышли у него из суставов.

—И за что?..—сказал Петров.

Китаец поглядел на него и улыбнулся.

Только улыбка у него вышла, какая-то дрожащая...

Он весь вздрагивал от времени до времени нервной, мгновенной, пробегавшей по всему телу дрожью... И все тряс головой.

—Я знаю русски, —сказал он.

—Говоришь?

Он кивнул головой, остановился, опершись о стол обеими руками и заговорил, все продолжая вздрагивать и трясти головой:

—Я помог бежать одному большому русски капитан... За это мучили...

И облизнул языком губы; потом сплюнул—должно-быть, он ощутил на губах и во рту соленый вкус от крови.

Наконец он оправился совсем.

Потянулся, расправил руки и подошел к углу, где стояли ружья...

Он взял одно ружье, осторожно отодвинул затвор, вынул патрон и опять поставил ружье на место.

Затем сел к столу и достал из-за рукава нож в желтом кожаном чехле...

Ножом он разрезал пулю в патроне крест-накрест с носика до самых краев патрона... Взял потом патрон за заплечики и, в первый раз теперь взглянув на связанного корейца (до сих пор он ни разу не обращал глаз в его сторону), потряс патроном в воздухе...

Глаза его сощурились, губы растянулись в кривую улыбку, обнажив желтые неровные зубы...

Он сказал что-то корейцу, медленно сдвигая и раздвигая зубы... А губы у него при этом, казалось, застыли, плотно прилипнув к деснам, растянувшись еще больше, так что даже края десны покраснелись из-под верхней губы.

Взяв опять берданку, он положил ее к себе на колени и вложил патрон.

Берданка теперь была страшным оружием в его руках...

Пуля берданки с крестообразным разрезом на конце наносит еще более ужасные поранения, чем прославившиеся в свое время пули «дум-дум» ...

—Пусть русски спит немного—сказал он Петрову—русски устал. Я буду караулить... Японцев далеко нет...Хунхуз тоже нет.

Но Петров отказался от этой услуги.

Он объяснил китайцу, что им пора домой и что корейца они тоже захватят с собой.

—Тогда и я пойду, — сказал китаец, — я буду его караулить.

Все вчетвером они вышли из фанзы.

Китаец стал сзади корейца и всю дорогу до реки шел за ним по пятам в расстоянии шага.

И ни Петров, ни Корень не видели, как в камышах он разрезал своим ножом веревку, стягивавшую руки пленника.

Он шепнул корейцу:

—Ты меньше всех издевался надо мной... Беги...

Петров и Корень в это время возились уж возле лодки.

Кореец бесшумно скользнул назад и выбрался из камышей...

Вон скалы... Вон она—свобода.

Китаец вскинул берданку... Зарокотал выстрел...

Прощай жизнь!

—Он разорвал веревку, —сказал китаец, когда к нему подбежали Корень и Петров, —моя сказал: пусть русски спит... он бежал, моя стрелял.

Кореец корчился и бился на песке...Китаец подбежал к нему и повернул грудь вверх.

Страшная кровавая рана зияла почти во всю грудь...

—Хо (По-китайски „хо“—хорошо, ловко. )... хорошая пуля...

## Темной ночью.

### I.

За стеной слышался чей-то громкий шопот:

—Акимов!.. Акимов...

И через минуту опять:

—Акимов!..

Потом заскрипела кровать... Кто-то шмурыгнул рукой по стене с той стороны и зачавкал спросонья губами.

Опять заскрипела кровать, а другой голос немного испуганно произнес тоже шопотом;

—А!

Снова послышалось сонное чавканье, снова скрипнула кровать, и вслед затем Савельев услышал, как Акимов, его денщик, вскочил с кровати.

—Доложи их благородно, — заговорил все также шопотом незнакомый Савельеву голос. — Слышь, Акимов!..

—Акимов! — крикнул Савельев.

За стеной на секунду стало тихо...

И в комнате Савельева было тоже тихо. Ясно, отчетливо затикали в этой тишине карманные часы Савельева, висевшие над кроватью...

И сейчас же их тиканье слилось с слабым протяжным скрипом—дверь в комнату Савельева отворилась.

Между половинками двери просунулась круглая стриженная голова.

—Ваше благородие...

Опять скрипнула дверь... В полутьме блеснула железная, обтертая от времени скобка двери...

Акимов осторожно, закусив верхнюю губу, вздернув брови и наморщив лоб, протискался между половинками двери, не растворяя их больше—словно сбоку двери стоял какой-нибудь предмет — стол или шкаф, мешавший распахнуть ее шире.

Он был в рубаше и в spodниках, отдувавшихся на коленях и едва доходивших ему до щиколоток. От spodников вниз висели завязки.

—Что там? —спросил Савельев.

—Из секрета человек пришел, ваше благородие.

—Позови!..

Должно быть «человек из секрета» слышал, стоя за дверью голос Савельева и, должно-быть, то, зачем он пришел к Савельеву и о чем сейчас должен был объяснить ему, самого его интересовало и интриговало сильно. Он кашлянул как-то по-особенному, словно уже стоял перед Савельевым и собирался ему «докладывать» и затем переминулся с ноги на ногу, скрипя сапогами.

Акимов чуть-чуть согнул стан и в тоже время нащупывал рукою дверную скобку... Дверь опять тихо отворилась. Фигура Акимова словно провалилась в дверь.

В комнате, освещенной одной только лампадкой был полумрак и, казалось, Акимов только на секунду ушел за дверь и опять появился на пороге, сразу преобразившись... Теперь он был в сапогах и черных шароварах...

На черном сукне шаровар смутно белели руки. Смутно белело лицо.

—Из секрета? —спросил Савельев.

—Так точно!..

—Что такое?

Савельев поднялся на кровати и сел. «Человек из секрета» ответил не сразу. Он поднял руку к лицу и кашлянул в ладонь. И сейчас же быстро опустил руку, словно испугался и замер на мгновение.

—А? —сказал Савельев.

—Женщина, —крикнув, будто с трудом выговорил солдат.

В комнате стало тихо.

Опять затикали часы.

—Ихняя, ваше благородие.

Рука у солдата снова подымаясь кверху, но он задержал это

движение и повторил, крикнув, как раньше, тоже словно одернув себя:

—Японская, ваше благородие... на коне...

Савельев чуть-чуть шевельнулся в его сторону.

—Допрашивали? — спросил он через секунду.

—Так точно...

—Ну?..

Солдат развел руками.

—Нельзя-с понять...

И быстро добавил:

—А по-русски, ваше благородие, говорит чисто. И я так полагаю, она не из простых...

Он снова кашлянул тихонько.

—Они-сь барышня.

—Где она?..

—Тут-с... Я, извольте видеть, стоял подчаском...

—Погоди, — перебил его Савельев и сам замолчал, вставая с постели.

—Может, ваше благородие, из шпионок?

Савельев застегнул мундир.

—Пойдем.

Он подошел к углу, где стояла шашка, прицепил ее, не торопясь и направился к двери.

Дверь перед ним распахнулась словно сама собой во всю ширину.

В сенях он увидел Акимова уже успевшего одеться. Акимов стоял, вытянувшись, держась правой рукой за скобку двери. На левой руке через локоть висела шинель Савельева.

Савельев прямо прошел к выходной двери.

Акимов повесил на гвоздь шинель и, быстро забежав вперед, распахнул выходную дверь в тот самый момент, когда Савельев собирался толкнуть ее носком сапога.

Глубокая тьма глянула на Савельева из двери.

Когда он переступил порог в лицо ему хлестнул ветер с мелким, как песок дождем.



Крыльцо было мокро. Прямо перед крыльцом блестела лужа.

Какая-то темная фигура маячила смутно налево от крыльца, где на земле тоже тускло блестели лужи.

Савельев обернулся назад и спросил тихо:

— Где она?

И сейчас же по лужам захлопали лошадиные копыта. Темная фигура подалась вперед, стала определенной, словно выплыла из мрака...

Савельев разглядел грудь лошади, её лоб и уши и коленные чашки; на груди, на лбу и на коленных чашках лежал слабый отблеск из окна.

## II.

Савельев зажег лампу и запер дверь своей комнаты.

Он подал стул этой стройной девушке, с большими карими глазами на немного бледном круглом лице с крупными губами и стал около стола.

Он стоял, опустив голову, опираясь одной рукой о стол, а другой подергивая усы.

Он не знал с чего он начнет допрос.

Несколько раз он взглядывал на девушку исподлобья и сейчас опять отводил глаза в сторону... Брови у него чуть-чуть вздрагивали, слабо обозначались на лбу почти незаметные морщинки, —словно легкая тень набегала на лоб...

Наконец он заговорил.

— Вы откуда?

И блеснул глазами снизу-вверх и немного вкось. (Он стоял к ней боком). Пальцы его левой руки медленно пока он смотрел на нее пристально и внимательно, поползли по усу; полуоткрыв рот он сунул кончик уса между зубами.

Она смотрела вниз, сложив на коленях руки.

Казалось, она рассматривала тоненькое золотое колечко у себя на пальце. Потом она подняла голову. Она смотрела на него так, как будто бы не слышала, что он сказал или прислушивалась к чему-то, может быть к звуку его

голоса, может-быть еще к чему-нибудь.

И ему казалось, что из её глаз уходит что-то в их темную глубину. Точно тонет в них что-то, какая-то мысль, которая сейчас, когда она сидела так, опустив голову и кругом было тихо, выплыла из души и пугливо опять скрылась, сияя умирающим ясным светом.

Казалось она сама его не видела и не замечала—по крайней мере в первое мгновенье.

Он хотел повторить свой вопрос и заметил вдруг, что она вздрогнула слабой дрожью и будто чуть-чуть метнулась назад. Ему показалось даже, что губы у неё полуоткрылись немного, будто она хочет говорить.

Но она не сейчас заговорила.

Секунду или две она сидела молча и совсем неподвижно.

— Что вы? — произнесла она тихо.

Глаза широко открылись.

— Я спрашиваю вас, откуда вы?

Она назвала какой-то незначительный городишка на одном из южных островов Японии.

Название города казалось ему совсем неизвестным. Но он порылся в памяти и вспомнил, что, кажется, встречал где-то это мудреное слово, может быть в газетах, может-быть на карте.

— Так, — сказал он и наклонил голову. Потом опять поднял голову.

— А зачем вы сюда прибыли?

Он ей смотрел пристально прямо в глаза, по-прежнему тебя ус концами пальцев.

— В «Красный Крест...»

Он невольно вздрогнул и выпрямился. Его точно шатнуло.

Он говорил уже с ней несколько минут, но, казалось, он только сейчас поймал тон её голоса. Как и тогда, в глазах, когда она подняла их на него, в её голосе теперь словно вспыхнуло что-то и быстро вдруг погасло...

И это то, что было в её голосе словно толкнуло его в грудь.

И, опустив опять голову, он постарался возобновить в памяти эту её фразу, произнесенную немного картаво (он только в эту минуту заметил, что она картавить). И когда он мысленно повторял слово за словом, что она сказала, ему чудилось, будто он слышит какой-то крик, или стон, или вопль...

Он взглянул на нее.

Она сидела перед ним, высоко подняв голову.

Она точно хотела ему показать себя всю.

Он видел, как нервно дрогнули её губы и веки. Из-под век сверкнули глаза горячим широким светом.

И постепенно все лицо осветилось... Точно блеснуло изнутри что-то ясное и светлое. Точно солнце взошло в душе и брызнуло огнем.

Он сказал неровным голосом:

—Вы что сказали?

Она поднялась.

—В «Красный Крест»!

Голос её зазвенел...

— Да ведь вы японка... Вы наш враг!

Она ответила словно заученным ответом, вся трепеща:

—Для страданий нет родины!..

Может быть это было несколько книжно, но слова у ней рвались из души, —он это видел, чувствовал сам своей душою...

Свет лился широкой зорей из её души, горел в глазах, звенел в голосе и вместе с ним вырвался из души этот крик...

Через полчаса ее нужно было отправить дальше по начальству...

Ее увезли.

А он не мог потом уснуть до самого утра. Кругом был мрак и тишина. Мрак на всем необъятном пространстве великой степи... Может быть, она—шпионка, может быть...

А если нет?

И ему стало необыкновенно легко, почти весело.

Кругом мрак, темная ночь. Ночь окутала эту дикую страну.  
А что-то светит в ней. Блестят кое-где искорки.  
Словно колыхало ему что-то душу...  
«Для страдания нет родины!»

## Биография

### Любич-Кошуров, Иоасаф Арианович

---

#### **Иоасаф Арианович Любич-Кошуров**

(1872, Фатеж — 1937, Москва) — русский писатель, очеркист.

Родился в 1872 году в городе Фатеж (Курская губерния) в бедной еврейской семье. Окончил начальное училище. В Москве поселился в начале 1890-х годов. В течение нескольких лет был журналистом-«мелочишником», помещая в юмористических журналах «Развлечение» и Будильник, рассказы и сценки, придумывая темы для карикатур. С 1895 года постоянный сотрудник Будильник (рассказы в форме монолога простодушного обывателя). Жил на окраине или в дачных местностях, часто меняя квартиры, имел проблемы с полицией из-за беспаспортности; бедствовал, временами добывая пропитание охотой в подмосковных лесах, вёл полунищенский-полубогемный образ жизни.

В конце 1890-х годов Любич-Кошуров оставил развлекательную юмористику и выступил, как беллетрист. В 1901 году в журнале «Муравей» он поместил цикл рассказов о «неудачниках», затем появляются сборники «Очерки Бронной» (1901) и «Картинки современной жизни» (1902), в которых проявились талант наблюдателя, чувство художественной детали. Герои рассказов и очерков Любича-Кошурова: газетчики-поденщики, типографские рабочие, безработные артисты, уличные скрипачи, клоуны. С сочувствием изображая «труждающихся и обремененных», Любич-Кошуров возмущен не столько социальным неравенством, сколько окаменением сердец: идея всеобщего братства и действительной любви к ближнему — основная в творчестве писателя.

В 1904-05 годах Любич-Кошуров написал свыше 30 рассказов о Русско-японской войне (сборник «В Порт-Артуре» и др.),

которую изображал в гуманистической традиции. Положительные герои – простые солдаты, сохраняющие живую душу в тяжелый испытаниях (рассказы «Георгиевский крест», «В землянке», «Сказки о жизни» и др.). Особой популярностью пользовался рассказ «Серый герой», выдержавший несколько изданий, причем автор всё время заострял мысль о типичности своего героя: «Самый обыкновенный, рядовой человек – сначала рядовой мужик, а потом рядовой солдат, каких у нас сотни и тысячи». Ряд рассказов посвящены событиям 1905 года: «Живая скрипка», (1906), «Роман сумасшедшего», «Иуда», «Анафема» (все три – 1908).

В начале 1900-х годов Любич-Кошуров выступил и как детский писатель, сотрудничавший в журналах «Детское чтение», «Детский мир», «Путеводный огонёк» и др. Большая часть его произведений для детей – повести и рассказы о «бедных людях», в основной своей части несущие религиозно-нравственную идею. В основе сюжета обычно нравственное потрясение и пробуждение в душе героя раскаяния и сострадательной любви. Написал также несколько приключенческих повестей (Например «В манчжурских степях и дебрях», 1905) и много сказок о животных, содержащих также полезные зоологические сведения, («Ворона и её знакомые», «Дядя Вак») и волшебных сказок (сборники «Зеленые святки», «Волшебная книга», «Золотая погремушка») – занимательных, эксцентричных, остроумных, проникнутых любовью ко всему живому и добродушным юмором.

Любичу-Кошурову принадлежат исторические повести для детей «Пожар Москвы в 1812 году» (1912) и «Тушинские волки» (1913), переиздававшиеся и в наше время. При этом писатель изложил собственную версию возникновения московского пожара, получившую отрицательную оценку критики. После 1917 года почти не печатался.

## Библиография

В Порт-Артуре : (9 рассказов из боевой жизни) / **И.А. Любич-Кошуров**. - Москва : Д.П. Ефимов, 1905.

Боевая жизнь : Пять рассказов из Рус.-Япон. войны / **И.А. Любич-Кошуров**. - Москва : Д.П. Ефимов,

В Манчжурских степях и дебрях : Повесть / **И.А. Любич-Кошуров**. - [2-е изд.]. - Москва : М.В. Клюкин, 1905.

За чужую жизнь : Рассказ **И.А. Любича-Кошурова**. - Москва : т-во И.Д. Сытина, 1904. - 36 с.; 18. - (Картины боевой жизни на Дальнем Востоке) Кошмар Ивана Ивановича: «Смена вех» 1922'7

Егоркин хунхуз : Рассказ **И.А. Любича-Кошурова**. - Москва : т-во И.Д. Сытина, 1904. - 36 с.; 18. - (Картины боевой жизни на Дальнем Востоке).

В боевом огне : Рассказ **И.А. Любича-Кошурова**. - Москва : т-во И.Д. Сытина, 1904. - 36 с.; 18. - (Картины боевой жизни на Дальнем Востоке)

Георгиевский крест : Рассказ **И.А. Любича-Кошурова**. - Москва : т-во И.Д. Сытина, 1904. - 35 с.; 18. - (Картины боевой жизни на Дальнем Востоке).

Раненый : Рассказ **И.А. Любича-Кошурова**. - Москва : т-во И.Д. Сытина, 1904. - 36 с.; 18. - (Картины боевой жизни на Дальнем Востоке).

Шпион : Рассказ **И.А. Любича-Кошурова**. - Москва : т-во И.Д. Сытина, 1904. - 35 с.; 18. - (Картины боевой жизни на Дальнем Востоке).

## Оглавление

В Маньчжурских степях и дебрях	5
Серый герой	112
В окопах	150
Под гром орудий	163
В землянке	176
Сказки о жизни	190
В боевом огне	204
В засаде	217
Георгиевский крест	229
За чужую жизнь	241
Раненый	252
Царство мертвых	261
Шпион	274
Егоркин хунхуз	290
Лазутчик	306
Чемодан с деньгами	317
В блиндаже	342
На разведке	355
Предатель	367
Харакири	376
Охотники	388
Темной ночью	402
Биография	409
Библиография издания	411

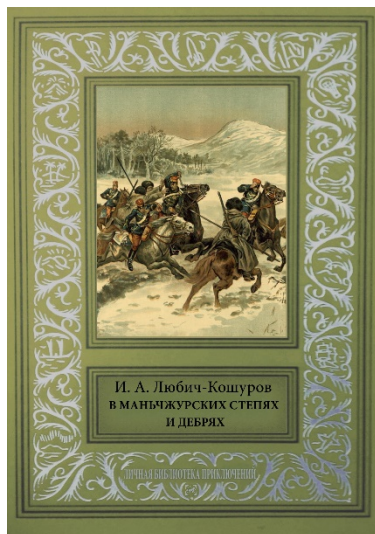


Электронное  
литературно-художественное издание

ЛИЧНАЯ БИБЛИОТЕКА  
ПРИКЛЮЧЕНИЙ

XXII

ПРИКЛЮЧЕНИЯ • ПУТЕШЕСТВИЯ • ФАНТАСТИКА



LEO

413